БОРИС ЗАЙЦЕВ



Белый свет
Проза

БОРИС ЗАЙЦЕВ

Белый свет
Проза



Москва
«Художественная литература»
1990

ББК 84Р6
З-17

Вступительная статья, составление
О. МИХАЙЛОВА

Оформление
А. РЕМЕННИКА

Иллюстрации
Н. КОСТИНОЙ

З $\frac{4702010000-423}{028(01)-90}$ без объявл.
ISBN 5-280-01868-6

«БЕССМЫСЛЕННОГО НЕТ...»
(О Борисе Константиновиче Зайцеве)

Он был во всех отношениях «последним» в русском зарубежье: умер в 1972 году, в Париже, не дожив двух недель до того, как ему должен был исполниться девяносто один год; долгое время состоял председателем парижского союза русских писателей и журналистов; пережил едва ли не всю «старую» эмиграцию.

В богатой русской литературе нашего века Зайцев оставил свой, заметный след, создал художественную прозу, преимущественно лирическую, без желчи, живую и теплую. Тихий свет добра, простые нравственные начала, особенное чувство сопричастности всему сущему: каждый человек — лишь частица природы, маленькое звено Космоса — «Не себе одному принадлежит человек».

Как прозаик Зайцев выдвинулся уже в начале 900-х годов. Основатель знаменитого литературного кружка «Среда» Н. Д. Телешов в своих воспоминаниях рассказывает:

«Однажды Андреев привез к нам новичка. Как в свое время его самого привез к нам Горький, так теперь он сам привез на Среду молоденького студента в серой форменной тужурке с золочеными пуговицами. Юноша талантливый,— говорил про него Андреев,— напечатал в «Курьере» хотя всего два рассказа, но ясно, что из него выйдет толк. Юноша всем понравился — и рассказ его «Волки» тоже понравился, и с того вечера он стал членом Среды и ее посетителем. Вскоре из него выработался писатель — Борис Зайцев» [1].

[1] Телешов Н. Записки писателя. Рассказы. М., 1987, с. 128.

В 910-е годы Зайцев был широко признан читающей Россней; его романом «Голубая звезда» (1918) восхищался молодой Паустовский: «Чтобы немного придти в себя, я перечитывал прозрачные, прогретые немеркнущим светом любимые книги: «Вешние воды» Тургенева. «Голубую звезду» Бориса Зайцева, «Тристана н Изольду», «Манон Леско». Книги эти действительно сияли в сумерках киевских вечеров, как нетленные звезды». А пьеса «Усадьба Ланиных» стала вехой для вахтанговцев (и сейчас на Старом Арбате, в витрине театра, красуется афиша тех времен, возвещающая о премьере спектакля, подготовленного молодым Вахтанговым).

Но главные книги Зайцева все-таки написаны за рубежом: автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба»; превосходные произведения, как мы именуем их теперь, художественно-биографического жанра — о Жуковском, Тургеневе, Чехове, о Сергии Радонежском. Великолепный перевод дантовского «Ада». Италию он любил и знал, пожалуй, как никто из русских после Гоголя. Дружил в эмиграции с Буниным, о котором оставил немало интересных страниц.

На первооснову его таланта повлияло обаяние родной природы, впечатления «малой родины». Этот тульско-орловско-калужский край, который он именовал «Тосканией нашей российской», Зайцев любил глубоко и нежно. И в ряде произведений своих, в том числе и в художественных биографиях Тургенева и Жуковского, посвятил ему благодарные строки: «Ока берет начало несколько южнее Орла. Худенькая еще в Орле и скромная, скромно восходит прямо на север, к Калуге. Медленно, неустанно пронизывает извивами зеркальными Русь чрез Рязань до Волги — светлая душа страны... В необъятной России как бы область известной гармонии — те места Подмосковья, орловско-тульско-калужские, откуда чуть не вся русская литература и вышла».

Детские годы писателя и связаны с калужской землей. Он родился 29 января 1881 года, в Орле, в дворянской семье, и годовалым ребенком был перевезен в село Усты Жиздринского уезда Калужской губернии. Отец, горный инженер, ездил отсюда каждый день на рудники бурого железняка; сын рос в русском приволье. «Все мое детство прошло — кроме семьи моей,— вспоминал много позднее Борис Зайцев,— среди простонародья. Был я среди них «барчук», но и простой товарищ детских игр».

Затем — гимназия и реальное училище в Калуге, тихом губернском городе, на высоком, живописном берегу любимой Оки. «Прорезает Ока чуть не всю среднюю Россию — на ней расположен Орел Тургенева, Лескова, Бунина, Леонида Андреева»,— говорил в последнем в своей жизни интервью слависту, ныне профессору Сорбонны Рене Герра Б. Зайцев, упоминая и любимых своих земляков и писателей.

В 1899 году он выдержал конкурсный экзамен для поступления в Императорское Техническое училище в Москве, а после исключения из училища за участие в студенческой забастовке поступил в

Петербургский Горный институт. Однако тяга к «писательству» оказалась настолько сильной, что молодой человек решил посвятить себя исключительно литературе.

Еще в гимназии, в 1897 году, Зайцев прочел сборник рассказов Чехова «Хмурые люди». Как вспоминал он, «этот писатель покорил. Тургенев великое прошлое, этот живой, свой, такой близкий по духу». Именно Чехову, в Ялту, с замиранием сердца послал юный студент одну из первых своих рукописей. В этой книге есть страницы, рассказывающие о встрече с Чеховым; сохранилась и чеховская телеграмма Зайцеву о его повести «Неинтересная история»: «Холодно, сухо, длинно, не молодо, хотя талантливо». Зная суровость, даже «свирепость» — беспощадность нелицеприятных чеховских оценок, э т у воспринимаешь как добрый аванс молодому литератору.

Начинал Зайцев в газете «Курьер», которая в сравнении с солидными московскими «Русскими ведомостями» была «моложе, левее и задиристей». В редакции сходились, встречались очень разные люди. Например, Бунин и критик-марксист Шулятиков или социал-демократ, будущий большевик и комиссар П. С. Коган. Но среди всех выделялся Леонид Андреев, с которым Зайцева связала прочная дружба. Сближало их многое, начиная с землячества и кончая общностью исканий, желанием нового в литературе, с отходом от традиционного реализма. В 1901 году Леонид Андреев напечатал в «Курьере» зайцевский рассказ «В дороге».

О рождении этого рассказа и об исканиях своих сам Борис Константинович в 1957 году вспоминал:

«Я начал с импрессионизма. Именно тогда, когда впервые ощутил новый для себя тип писания: «бессюжетный рассказ-поэму», с тех пор, считаю, и стал писателем. Мучительны томления юности, когда себя *ищешь*, не находишь, временами отчаиваешься, впадаешь во мрак и все кажется бессмысленным. Но уж, очевидно, через это надо пройти.

Мне было около двадцати лет. Писать хотелось, внутреннее давление росло. Но я знал, что не могу писать так, как тогда писали в толстых журналах «повести и рассказы». Долго довольно ходил вокруг да около, и наконец «это» пришло. Разумеется, новое уже носилось в воздухе. И собственная душа была уже душой XX, а не XIX века. Надо было только нечто в ней оформить» [1].

Как и Леонид Андреев, Зайцев считал, что прежний реализм в его привычных, «бытовых» формах изжил себя, 90-е годы девятнадцатого столетия казались унылыми: старые корифеи сошли со сцены (за исключением Л. Н. Толстого, сделавшегося как бы живой историей); новое виделось в символизме, импрессионизме. Громко звуча-

---

[1] З а й ц е в Борис. О себе.— Газ. «Русская мысль» Париж, 1957, № 70.

ли имена Бодлера, Верлена, Метерлинка, Верхарна, Ибсена, Гамсуна. В русской литературе заявили о себе Бальмонт, Брюсов, Мережковский, Федор Сологуб. Зайцева увлекали философско-религиозные сочинения Вл. Соловьева, который заметно повлиял на миросозерцание молодого писателя, а значит, и на его творчество. «Многое, очень многое сдвинул в моей душе,— говорил в интервью, данном Ренэ Герра в декабре 1970 года, Борис Константинович,— от пантеизма ранней юности моей повел дальше. Летом, живя в имении отца в Тульской губернии, в 70 верстах от Ясной Поляны Толстого, я зачитывался Соловьевым до восхода солнца. Косари выходили на покос, позвякивая косами, натачивали лезвия о бруски, а я выходил к крыльцу флигеля своего, приветствуя восходящее светило,—для меня символ Бога» [1].

Одновременно живая и прочная связь соединяла Зайцева с молодым реалистическим крылом русской литературы, в частности, с московским объединением «Среда», куда, помимо Телешова, входили Иван Бунин и его брат Юлий, Вересаев, Тимковский, критик Сергей Глаголь, наездами бывал Горький, реже — Чехов, Короленко, Куприн. И конечно, восхищал Леонид Андреев. Вместе с Андреевым Зайцев составил как бы левый фланг «Среды».

В амальгаме живых, первородных впечатлений Центральной России, книжных философских влияний, воздействия разнородных — подчас взаимоисключающих — новых веяний в литературе и складывались первые вещи Зайцева: «В дороге», «Волки», «Мгла», «Священник Кронид», «Деревня», «Миф» и т. д. Первая книжка рассказов, вышедшая в 1906 году, подвела некоторые итоги и вызвала одобрительный отзыв А. Блока в его известной статье «О реалистах»: «Есть среди «реалистов» молодой писатель, который намеками, еще отдаленными пока, являет живую, весеннюю землю, играющую кровь и летучий воздух. Это — Борис Зайцев» [2].

Пантеистическое начало в ранних произведениях зайцевских сильно заметно: от него чувство слиянности с природой, ощущение единого, живого и восходящего к Космосу мира, где все взаимосвязано — люди, волки, поля, небо. Отсюда и некая «безличность» зайцевской прозы, о которой писал в своей характерной, заостренной, даже утрированной манере Корней Чуковский: «Грибы и телята, и люди, и страусы, и собаки, и яблоки, и рыбы, и медведи,— все сливается для Зайцева в одно безликое, безглазое, «сплошное», животное, облепившее землю, текучее, плодоносящее, не оскудевающее чревом, без слов, без мыслей — прекрасное, упоительное именно своей «сплошностью», «безглазостью», «безмыслием» [3]. В то

---

[1] Интервью Б. К. Зайцева Ренэ Герра.— Русский альманах. Париж, 1981, с. 464.

[2] Блок А. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 5. М.—Л., 1962, с. 124.

[3] Чуковский К. Борис Зайцев.— В его кн.: От Чехова до наших дней. СПб. и М. (б. г.), с. 183.

же время зайцевский пантеизм, его «язычество», в котором Чуковский находил нечто уитменовское, рубенсовскую «животную» веру, воплощен с помощью нежных словесных красок, импрессионистического письма, подсвеченного мягким авторским лиризмом.

Оригинальность, самобытность первых произведений Зайцева широко открывают ему двери изданий: газет «Утро России» и «Речь», журналов «Правда», «Новый путь», «Вопросы жизни», «Золотое руно», «Перевал», «Русская мысль», «Вестник Европы», альманахов «Шиповник» и «Земля». Характерно, что его вещи печатаются в органах самых разных направлений — марксистской «Правде» и символистском «Золотом руне», либерально-радикальном «Русском богатстве» и неохристианском «Новом пути», который редактировал Д. С. Мережковский. Сам Зайцев не чувствовал себя жестко связанным с каким-либо из литературных направлений. Впрочем, он еще находился в пути, в движении, в поисках себя, шел через издержки и повторения, что отмечал А. Блок в статье «Литературные итоги 1907 года»: «Борис Зайцев открывает все те же пленительные страны своего лирического сознания; тихие и прозрачные. И повторяется»[1].

Движение Зайцева-художника, Зайцева-писателя в 1900-е годы можно определить как путь от модернизма к реализму, от пантеизма к идеализму, к простой и традиционной русской духовности, от Леонида Андреева и Федора Сологуба — к Жуковскому и Тургеневу, к Сергию Радонежскому, от «язычеких» метафор к спокойной уравновешенности и прозрачности слога. Сам он это превосходно ощущал и, оглядываясь на пройденное, подытоживал:

«Когда сейчас перелистываешь написанное до революции и следишь за своими изменениями во времени, то картина получается такая: возбужденность первых годов понемногу стихает. Стремишься невольно расшириться, ввести в круг писания своего не только природу, стихию, но и человека — первые попытки психологии (но всегда с перевесом поэзии). Отходит полная бессюжетность. Вместо раннего пантеизма начинают проступать мотивы религиозные — довольно еще невнятно («Миф», «Изгнание») — все же в христианском духе. Этот дух еще ясней чувствуется в первом *романе* «Дальний край» (1912), полном молодой восторженности, некоторого простодушия наивного,— Италия вносит в него свой прозрачный звук. Критик назвал бы «Дальний край» романом «лирическим и поэтическим» (а не психологическим). К этой полосе относится пьеса «Усадьба Ланиных», с явным оттенком тургеневско-чеховского (всегда внутренне автору родственного), и также с перевесом мистического над жизненным»[2].

---

[1] Блок А. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 5, с. 224.

[2] Зайцев Борис. О себе.— Газ. «Русская мысль». Париж, 1957, № 70.

Характерным примером этого «срединного» Зайцева может служить рассказ «Аграфена» (1909) — «житие» простой русской крестьянки, попавшей в город, в услужение, и воротившейся в деревню. Как бы русский вариант «Простой души» Флобера, на другой национальной почве возросшей. Пронеслись через ее душу бури чувств, испытания и несчастья, наступило успокоение, обретение света и осмысленности прожитой жизни. Противоположность, и полная, «Жизни человека» Леонида Андреева, с ее беспросветным мраком, отчаянием, бесцельностью существования. На примере этом, кажется, хорошо видно, как отходит Зайцев от модернизма к реализму, можно сказать, философского склада, всегда тяготевшего к вечным загадкам бытия.

Если говорить о дореволюционном творчестве Зайцева в целом, то итоговой по отношению к нему можно считать повесть «Голубая звезда», с ее центральным героем, бескорыстным и чистым мечтателем Христофоровым. Эту вещь, как сказал сам Зайцев, «могла породить лишь Москва мирная и покойная, послечеховская, артистическая и отчасти богемная». Дух и искания интеллигенции русской накануне великих социальных потрясений выражены в ней в слове прозрачном, создающем особенное, «зайцевское» настроение.

Здесь, очевидно, и проявляется тайна его художественного дарования, магия его воздействия на читателя. То, о чем позднее сказал поэт и критик Г. Адамович: «Он не резонерствует, он крайне редко заставляет своих героев рассуждать, высказывать отвлеченные мысли. Бунин тоже этого не любил, а Зайцев любит еще меньше. Но в искусстве создавать то, что прежде было принято называть «настроением», у Зайцева едва ли найдутся соперники. Он обладает какой-то гипнотической силой внушения, и как бы порой ни хотелось сопротивляться этому чуть-чуть прохладному благодушию, этой нежности и печали, в конце концов, закрывая книгу, чувствуешь, что зайцевская тончайшая паутинка тебя опутала. Зайцев на все глядит по-своему, обо всем по-своему рассказывает, и, хотим мы того или не хотим, этим «своим» он наделяет и читателя»[1].

События двух революций и гражданской войны явились тем потрясением, которое окончательно изменило и духовный, и художественный облик Зайцева. Он пережил немало тяжелого (в февральско-мартовские дни семнадцатого года в Петрограде был убит толпой его племянник, выпускник Павловского юнкерского училища; сам Зайцев перенес лишения, голод, а затем и арест, как и другие члены Всероссийского Комитета помощи голодающим). В 1922 году, вместе с издателем З. И. Гржебиным, он выехал в Берлин, за границу. Как оказалось, навсегда.

---

[1] Адамович Г. Борис Константинович Зайцев.— Газ. «Русская мысль». Париж. 26 февраля 1981, № 3349.

В отличие от многих других эмигрантов-литераторов, отдавших свой темперамент проклятиям в адрес России новой, события, приведшие Зайцева к изгнанию, его не озлобили. Напротив, они усилили в нем чувство греха, ответственности за содеянное и ощущение неизбежности того, что свершилось. Он, очевидно, много размышлял обо всем пережитом, прежде чем пришел к непреклонному выводу:

«Ничто в мире зря не делается. Все имеет смысл. Страдания, несчастия, смерти только кажутся необъяснимыми. Прихотливые узоры и зигзаги жизни при ближайшем созерцании могут открыться как небесполезные. День и ночь, радость и горе, достижения и падения — всегда научают. Бессмысленного нет» («Москва»).

Пережитое, страдания и потрясения вызвали в Зайцеве религиозный подъем; с этой поры, можно сказать, он жил и писал при свете Евангелия. Это отразилось даже на стиле, который сделался строже и проще, многое «чисто» художественное, «эстетическое» ушло — открылось новое («Если бы сквозь революцию я не прошел,— размышлял писатель,— то, изжив раннюю свою манеру, возможно, погрузился бы еще сильней в тургеневско-чеховскую стихию. Тут угрожало бы «повторение пройденного»).

Теперь повторение не грозило. Обновленная стихия сострадания и человечности (но никак не очернения или отчаяния) пронизывает прозу о пореволюционной России: «Улица Св. Николая». «Белый свет», «Душа» (все написаны в Москве в 1921 году). Одновременно Зайцев создает цикл новелл, далеких от современности,— «Рафаэль», «Карл V», «Дон Жуан» и пишет книгу «Италия», о стране, которую любил, превосходно знал (ездил туда в 1904, 1907, 1908, 1909 и 1911 годах). Но о чем бы ни писал — о Москве революционной или о великом живописце Возрождения, тональность была как бы единая: спокойная, почти летописная.

Он и революцию великую стремится рассматривать сквозь призму столетий и убеждается, сколь многозначна, поучительна история человечества.

«Что, если бы теперь Данте явился на Кисловках и Арбатах времен «великих исторических событий»?

Он жил в век гражданских войн. Сам был изгнанником. Самому грозила смерть в случае, если бы ступил на родную землю, флорентийскую (сожгли бы его — igne comburatur, sic quod moriatur). «Божественная Комедия» почти вся написана в изгнании.

Данте не знал «техники» нашего века, его изумили бы автомобили, авиация и т. п. ... Но борьба классов, диктатура, казни, насилия — вряд ли бы остановили внимание. Флоренция его века знала popolo grasso (буржуазия) и popolo minuto (пролетариат) и их вражду. Борьба тоже бывала не из легких. Тоже жгли, грабили и резали. Тоже друг друга усмиряли.

Четыре года назад профессор Оттокар, русский историк Флоренции, выходя со мной из отеля моего «Corona d'Italia», показывая на один флорентийский дом наискосок, сказал:

— В четырнадцатом веке здесь помещался первый совет рабочих депутатов.

Было это во время так называемого «восстания Чомпи», несколько позже Данте, но в его столетии. Так что история началась не со вчерашнего дня» («Москва»).

«Итальянская» тема в зайцевском творчестве проходит через всю его жизнь; но главной, всеопределяющей была, конечно, другая. «За ничтожными исключениями,— вспоминал Зайцев,— все написанное здесь мною выросло из России, лишь Россией дышит». Так появляются первые произведения, несущие в себе память о России — романы и повести «Золотой узор» (1926), «Странное путешествие» (1926), «Дом в Пасси» (1935), «Анна» (1929) и беллетризованные жизнеописания «Алексей, Божий человек» (1925) и «Преподобный Сергий Радонежский» (1925).

Это уже «новый» и «окончательный» Зайцев, пишет ли он о пережитом, отошедшем («Золотой узор»), или обращается к миру «русского Парижа», почему-то облюбовавшему квартал Пасси («Живем на Пассях»,— говорили эмигранты). Качество духовное перешло и в художественное, в эстетику. «Давно уже было отмечено,— утверждал рецензент, откликаясь на появление романа «Дом в Пасси»,— что он не «бытовик», что он создал свой «мир». Этот зайцевский мир более бесплотен и одухотворен, чем обычный мир. И Зайцеву сравнительно легко преобразить в свой «мир» эмигрантскую неустоявшуюся, не спустившуюся в быт, не отяжелевшую жизнь. Люди у Зайцева всегда были немного «эмигрантами», странниками на земле»[1].

Если говорить о позиции писателя, на расколовшийся, на отторгнутый от него мир взирающего, то это будет, говоря зайцевскими же словами, «и осуждение, и покаяние», «признание вины». Взгляд религиозный, хоть и «в миру» высказанный, кротость в соединении с твердостью взгляда. Это характерно и для первой крупной вещи, написанной в эмиграции,— романа «Золотой узор», и для небольшой работы «Преподобный Сергий Радонежский». «Разумеется,— комментирует Зайцев, тема эта никак не явилась бы автору и не завладела бы им в дореволюционные годы».

Читая жизнеописание знаменитого русского святого четырнадцатого века, отмечаешь одну особенность в его облике, Зайцеву, видимо, очень близкую. Это *скромность подвижничества.* Черта очень русская — недаром в жизнеописании своими приметами человеческими, самим качеством подвига ему противопоставляется другой, католический святой — Франциск Ассизский. Преподобный Сергий не отмечен особенным талантом, даром красноречия. Он «беднее» способностями, чем старший брат Стефан. Но зато излуча-

---

[1] Цетлин М. Борис Зайцев. Дом в Пасси.— Журнал «Современные записки». Париж, 1935, № 59, с. 474.

ет свой тихий свет — незаметно и постоянно. «В этом отношении, как и в других,— говорит Зайцев,— жизнь Сергия дает образ постепенного, ясного, внутренне-здорового движения. Это непрерывное, недраматическое восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг почувствовавшего себя Павлом,— не его путь».

Сергий последовательно тверд и непреклонен — в своей кротости, смирении, скромности. Когда братия монастырская вдруг начала роптать, игумен не впал в гнев пастырский, не принялся обличать своих «детей» за греховность. Он, уже старик, взял посох свой и ушел в дикие места, где основал скит Киржач. И другу своему, митрополиту московскому Алексию, не позволил возложить на себя золотой крест митрополичий: «От юности я не был златоносцем, а в старости тем более желаю пребывать в нищете».

Так завоевывает св. Сергий на Руси тот великий нравственный авторитет, который только и позволяет ему свершить главный подвиг жизни — благословить князя Димитрия Московского на битву с Мамаем и ордой татарской...

Преподобный Сергий Радонежский для Зайцева — неотъемлемая часть России, как и Жуковский, как и Тургенев, Чехов, которым он посвятил специальные биографические работы. И в этих книгах мысль о Родине, о России надо всем торжествует.

«Как в России времени революции был я направлен к Италии,— вспоминал Зайцев,— так из латинской страны вот уже двадцать лет все пишу о России. Не случайным считаю, что отсюда довелось совершить два дальних странствия — на Афон и на Валаам, на юге и севере ощутить вновь родину и сказать о ней. В «Жизни Тургенева» — прикоснуться к литературе русского золотого века, в «Преподобном Сергии Радонежском» — к русской святости. Даже роман «Дом в Пасси», где действие происходит в Париже, внутренне все с Россией связано и из нее истекает. Что же можно сказать о таких вещах, как «Анна», «Странное путешествие», «Авдотья-смерть» — пусть в них и много страшного, горестного, но если (по утверждению критики) это наиболее удавшееся из моих законченных писаний и наиболее зрелые — то и живопись фигур, и природа, и музыкальный фон их есть проекция каких-то русских звуков, ветров, душенастроений и благоуханий — в литературу. Если есть за что-то мне благодарить тут, то — Россию»[1].

Одним из главных художественных памятников России отошедшей, самым обширным из писаний Зайцева является его автобиографическая тетралогия «Путешествие Глеба» (1937), «Тишина» (1948), «Юность» (1950), «Древо жизни» (1954). Вместе с другими крупными писателями русского зарубежья, именно вдалеке от Родины обратившимися к впечатлениям детства, отрочества, молодости, создает он

---

[1] Зайцев Борис. О себе.

«историю своей жизни», «наполовину автобиографию». В списке этом выделяется, конечно, «Жизнь Арсеньева» Бунина, хотя и прочие книги отмечены блеском поэзии, сладким и горьким сном прошлого. Именно «издалека» Россия виделась значительнее, крупнее. Не случайно, думаю, что и «Детство Никиты» А. Толстого написано не «дома», а в Берлине, не говоря уже о купринских «Юнкерах» или замечательных книгах Шмелева «Богомолье» и «Лето Господне».

Главная мысль тетралогии (впрочем, как и всего позднего творчества Зайцева) может быть определена его словами, высказанными в одном из очерков о любимой (можно сказать, второй после России родины духовной) Италии: «Времени нет. Пока жив человек... Бывшее полвека столь же живо, а то и живее вчерашнего...» И в другом месте: «Все достойное живет в вечности этой». И хотя герой тетралогии — это второе «я» писателя (даже имя прозрачно намекает на другого русского святого, неразрывно с Глебом связанного,— Бориса, так же павшего от руки Убийц, подосланных Святополком Окаянным), подлинным центром всего произведения становится все-таки Россия, ее отошедшая жизнь и склад, ее люди и пейзажи, ее безмерность, поля леса, веси и грады.

Заключительные страницы последней, четвертой книги — «Древо жизни» навеяны путешествием Зайцева с женой в июле — сентябре 1935 года в «русскую Финляндию» — новая вспышка ностальгической тоски по Родине и признание в сыновней любви к ней. Сохранились письма той поры другу и любимому художнику — Бунину, где темы эти проходят лейтмотивом.

«Скоро уже два месяца, как мы в отъезде, дорогой Иван! — сообщал Борис Константинович в письме от 1 сентября 1935 года из Коломяк, на берегу Балтийского залива.— И недалеко время, когда будем «грузиться» назад. Пока что путешествие наше удалось *редкостно*. Начиная с безоблачного плавания, удивительного приема здесь и вплоть до вчерашнего дня, когда был совершенно райский осенний русский день. На Валааме провели девять дней. Много прекрасного и настоящего. (Остров весь в чудесных лесах, прорезан заливами и озерами. Луга, цветы, по дорогам часовенки. Скиты, старички отшельники — много общего с Афоном. Мы иногда целыми днями слонялись. Жаль только, что масса туристов. В мон[астырской] гостинице толчея.)

Уже три недели живем в Келломяках — в немолодом, огромном доме. Теперь тут пансион. В авг[усте] (первой половине) было порядочно народу, сейчас мы одни. У нас две комнаты (и отдельный крытый балкон в цветах) выходит в зелень. Это была усадьба. Перед моим окном сад, яблони, цветы, дальше сосны, дорога — море. Виден Кронштадт. Это очень волновало первое время. Теперь привыкли. Иван, сколько здесь России! Пахнет покосом, только что скосили отаву в саду, Вера трясла и сгребала сено, вчера мы с ней ездили на чалом мерине ко всенощной в Куоккалу, ременные вожжи, запах лошади, все эти чересседельники и хомуты... (Вечером

идешь по аллее: яблони, цветут настурции, флоксы, георгины. Вдали, в темноте, лампа зажжена на стеклянной террасе... Притыкино.) И еще: запахи совсем русские: остро-горький — болотцем, сосной, березой. Вчера у куоккальской церкви — она стоит в сторонке — пахло ржами. И весь склад тут русский, довоенный ...

Были ужасающие грозы — дней пять подряд. Сейчас хорошо! Мечтаю о сухом и солнечном сентябре, последние дни прекрасно. Хожу по лесу, собираю грибы (как Сергей Иванович Кознышев). Дятлы работают нынешней осенью замечательно! Эти прогулки доставляют давно не испытанную радость — от елей, мха, дятлов, грибов и всего того добра, чем так Россия богата. Да, тут я понял, что очень мы отвыкли от русской природы, а она удивительна и сидит в нашей крови, никакими латинскими странами ее не вытравишь» [1].

Именно неотступная мысль о России водит пером Зайцева; она подвигает его к созданию серии беллетризованных биографий — В. А. Жуковского (1951), И. С. Тургенева (1932), А. П. Чехова (1954).

Очень характерен тут самый отбор имен. Взяты зайцевские любимцы или земляки: тульские и орловские места многими драгоценными нитями связаны с жизнью и творчеством Жуковского и Тургенева, да и чеховское Мелехово не столь уж далеко. И Тургеневу, и Чехову Борис Константинович был многим обязан как художник, а Чехов, кроме того, был не только первый учитель, но и «судья», которому юноша послал свою рукопись.

Необычен, оригинален самый жанр, избранный Зайцевым. Это очень «личные» книги. На эту особенность указывала А. Шиляева, подчеркивая, что в беллетризованных биографиях «раскрывается также и привлекательный образ самого автора — верующего, благожелательного и гуманного человека, большого мастера слова, «поэта в прозе», внесшего неповторимое «свое» в сравнительно новый и экспериментальный в русской литературе жанр» [2].

Впрочем, это «свое» Зайцев, оригинальный художник и мыслитель, вносит во все, о чем пишет, даже если речь идет о далекой Италии. Это проявляется, в частности, в его горячем увлечении темой Данте, который, наряду с Тургеневым и Чеховым, стал его великим духовным спутником (исследование «Данте и его поэма», 1922; «Данте. Судьба», 1955; перевод «Ада», выполненный ритмической прозой в 1910-е годы, затем долго дорабатывавшийся и

---

[1] Новый журнал, 1982, № 140, с. 141—142. (Притыкино — имение отца, где подолгу жил Зайцев; Кознышев — персонаж романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».)

[2] Шиляева Ариадна. Борис Зайцев и его беллетризованные биографии. Нью-Йорк, 1971, с. 164.

опубликованный уже в Париже, в 1961 году). В бурной событиями биографии Данте Зайцев кротко искал исторические аналогии, не возвышая себя, но извлекая поучительные итоги и смиряясь, учась *прощать*.

О том, какое значение в жизни его имел Данте и перевод поэмы «Ад» (первая часть знаменитой «Божественной комедии»), Борис Константинович писал мне 3 декабря 1961 года:

«Вышел и Данте «Ад» — работал я над ним пять лет (1913—1918), кончен перевод 43 года тому назад и внутренне сопутствовал мне на всем пути моей жизни (поддерживал, утешал в беде). Когда книга вышла, наконец, больная моя жена, переписывавшая ее в свое время, поцеловала книжку и прижала к груди, в слезах. Да, этот Данте сопутствовал и в российских бурях, и здесь во время бомбардировок, когда я с рукописью спускался в подвалы (в 42 году весь перевод пересмотрен был строка за строкой с подлинниками). Теперь рукопись эта, даже по виду отдающая 14-м веком, покоится в торжественном Книгохранилище — к сожалению, не на Родине.

Вы видите, как я стал многословен, когда дело коснулось Данте, но я и Италию любил и самого старика (умершего в 1321 году полунищим, в Равенне, а после смерти «Божественная комедия» выдержала 400 изданий в одной Италии! Литература об этом одиноком человеке необозрима. Даже библиография необозрима).

Я отправил Вам этот «Ад» («Чистилище» и «Рай» мне не довелось перевести). Перевод Лозинского виртуозен, но Данте в нем мало.

Будьте здоровы, трудитесь на пользу Родины, любите кого и что надо.

«L'Amor che muove il Sole e e'altre stelle» — этим кончается «Рай», и это завет великого нашего предка и покровителя.

Всего доброго. Ваш Бор. Зайцев.

Чуть было не наврал в цитате. Всегда надо проверять по тексту, на память не полагаться.

«L'Amor che muove e'Sol e e'altre stellc». Пятистопный ямб.

«Любовь, что движет Солнце и другие звезды».

У Лозинского иначе, но вышло хуже из-за терцины («светила» — «стремила»). Я не стал переводить терцинами. У меня ритмическая проза, строка в строку с подлинником. По-моему, единственный способ».

Да, любовь — к человеку, к великой цивилизации и великой культуре, которая, по мысли Данте, движет Солнце и другие звезды, двигала и пером Зайцева.

Подобно великому флорентийцу, он испил горькую чашу изгнанника, но сохранил главное — внутреннюю свободу. И тогда, когда был вынужден покинуть Россию, и тогда, когда (вместе с Буниным) оказался в оккупации, после захвата гитлеровцами Франции. Об этом, о жизни при оккупантах, он писал мне 18 июля 1967 года: «Все мы жили

тогда несладко, и меня звали немцы печататься, и отказался, и никакого «героизма» здесь не было, но оба мы (с Буниным.— *О. М.*) выросли в воздухе свободы (не улыбайтесь, Вас тогда еще и на свете не было), и никто нам не смел диктовать что-то».

Этот замечательный писатель был в высшей степени наделен даром предугадывать будущее. Быть может, оттого, что трезво и спокойно оценил прошлое — ту прошлую, подобно «Титанику», затонувшую Россию, трагическую обреченность которой так хорошо осознавал.

«Тучи мы не заметили,— подытоживал он закономерность свершившегося,— хоть бессознательно и ощущали тягость. Барометр стоял низко. Утомление, распущенность и маловерие как на верхах, так и в средней интеллигенции — народ же «безмолвствовал», а разрушительное в нем копилось.

Материально Россия неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой, дух смятения и уныния овладевал...

Тяжело вспоминать. Дорого мы заплатили, но уж значит, достаточно набралось грехов. Революция — всегда расплата. Прежнюю Россию упрекать нечего: лучше на себя оборотиться. Какие мы были граждане, какие сыны России, Родины?»[1]

Вот она, быть может, святая святых Бориса Константиновича Зайцева, внутренний источник его тихого негаснмого света. Взять на себя ответственность, идти от своей вины и видеть в этом залог доброго будущего. Его медленная и упорная борьба за «душу живу» в русском человеке, его настойчивое утверждение ценностей духовных, без которых люди потеряют высший смысл бытия, а значит, и право именоваться людьми, обещают книгам Зайцева не просто возвращение в Россию, но исключительную возможность воздействия и в новой жизни.

Не о том ли писал он уже в далеком 1938 году?

«Возможно, приближаются новые времена — и в них будет возможно возвращение в свой, отчий дом.

Так вот что: блеск культуры духовной, в древности, своеобразие, блеск ее и в новое время, величие России в тысячелетнем движении и ощущение — почти мистическое — слитности своей сыновьей с отошедшими, с цепью поколений, с грандиозным целым, как бы существом. Сквозь тысячу лет бытия на горестной земле, борьбы, трудов, войн, преступлений — немеркнущее духовное ядро, живое сердце — вот интуиция Родины. Чужбина, беспризорность, беды — пусть. Негеройская жизнь, обывательская, но *над* нею нечто.

Думается и так: те, кому дано возвратиться на Родину, не гордыню или заносчивость должны привезти с собой. Любить не значит превозноситься. Сознавать себя «помнящим родство» не значит ненавидеть или презирать иной народ, иную культуру, иную расу. Свет Божий просторен, всем хватит места. В имперском своем

---

[1] Зайцев Борис. В пути, с. 24.

могуществе Россия объедняяла и в прошлом. Должна быть терпима и *не* исключительна в будущем — исходя именно из всего своего духовного прошлого: от святых ее до великой литературы все говорили о скромности, милосердии, человеколюбии.

Святые юноши — князья Борис и Глеб, например, первые страстотерпцы наши, подтвердили это самой мученической своей смертью, завещав России свой «образ кротости». Этого забывать нельзя. Истинная Россия есть страна милости, а не ненависти» [1].

В этом смысле, в заветах своих, в своих книгах Борис Зайцев, пусть неожиданно, но предстает для нас как бы писателем завтрашнего дня, писателем будущего, только нами открываемым. Немало великих уроков добра таят в себе его страницы, от которых веет тихим светом милосердия.

Олег Михайлов

---

[1] Зайцев Бор. Слово о Родине.— Газ. «Возрождение». Париж, 24 июня 1938 года, № 4137.

Голубая звезда

Повести и рассказы

ВОЛКИ

Там рощи шумны, фиалки сини...
Гейне

I

Это тянулось уже с неделю. Почти каждый день их обкладывали и стреляли. Высохшие, с облезлыми боками, из-под которых злобно торчали ребра, с помутневшими глазами, похожие на каких-то призраков в белых, холодных полях,— они лезли без разбору и куда попало, как только их подымали с лежки, и бессмысленно метались и бродили все по одной и той же местности. А охотники стреляли их уверенно и аккуратно. Днем они тяжело залегали в мало-мальски крепких кустиках, икали от голода и зализывали раны, а вечером собирались по нескольку и гуськом бродили по бесконечным, пустым полям. Темное злое небо висело над белым снегом, и они угрюмо плелись к этому небу, а оно безостановочно убегало от них и все было такое же далекое и мрачное.

Было тяжело и скучно в полях.

И волки останавливались, сбивались в кучу и принимались выть; этот их вой, усталый и болезненный, ползал над полями, слабо замирал за версту или за полторы и не имел достаточно силы, чтобы взлететь высоко к небу и крикнуть оттуда про холод, раны и голод.

Белый снег на полях слушал тихо и равнодушно; иногда от их песни вздрагивали и храпели мужицкие лошаденки в обозе, а мужики ругались и подхлестывали.

На полустанке у угольных копей иной раз слышала их молодая барыня-инженерша, прогуливаясь от дому до трактира на повороте, и ей казалось, что это поют ей отходную; тогда она закусывала губу, быстро возвращалась домой, ложилась в постель, засовывала голову между подушек и, скрипя зубами, твердила: «Проклятые, проклятые».

II

Был вечер. Задувал неприятный ветер, и было холодно. Снег был одет в жесткую сухую пленочку, чуть-чуть хряскавшую всякий раз, как на нее наступала волчья лапа, и легкий холодный снежок змейками курился по этому насту и насмешливо сыпал в морды и лопатки волкам. Но сверху снега не шло, и было не очень темно: за облаками вставала луна.

Как всегда, волки плелись гуськом: впереди седой мрачный старик, хромавший от картечины в ноге, остальные — угрюмые и ободранные — старались поаккуратнее попадать в следы передних, чтобы не натруживать лап о неприятный, режущий наст.

Темными пятнами ползли мимо кустарники, большие бледные поля, по которым ветер гулял вольно и беззастенчиво — и каждый одинокий кустик казался огромным и страшным; неизвестно было, не вскочит ли он вдруг, не побежит ли, — и волки злобно пятились, у каждого была одна мысль: «Скорее прочь, пусть все они там пропадают, только бы мне уйти».

И когда в одном месте, пробираясь по каким-то дальним огородам, они вдруг наткнулись на торчавший из снега шест с отчаянно трепавшейся по ветру обмерзшей тряпкой, все, как один, кинулись через хромого старика в разные стороны, и только кусочки наста помчались из-под их ног и шурша заскользили по снегу.

Потом, когда собрались, самый высокий и худой, с длинной мордой и перекошенными от ужаса глазами, неловко и странно сел в снег.

— Я не пойду дальше, — заикаясь, говорил он и щелкал зубами.

— Я не пойду, белое кругом... белое все кругом... снег. Это смерть. Смерть это.

И он приник к снегу, как будто слушая.

— Слышите... говорит!

Более здоровые и сильные, впрочем тоже дрожавшие, презрительно оглядели его и поплелись дальше. А он все сидел на снегу и твердил:

— Белое кругом... белое все кругом...

Когда взобрались на длинный, бесконечный взволок, ветер еще пронзительней засвистел в ушах; волки поежились и остановились.

За облаками взошла на небо луна, и в одном месте на нем мутнело желтое неживое пятно, ползшее навстречу облакам; отсвет его падал на снега и поля, и

что-то призрачное и болезненное было в этом жидком молочном полусвете.

Внизу, под склоном, пятном виднелась деревня; кое-где там блестели огоньки, и волки злобно вдыхали запахи лошадей, свиней, коров. Молодые волновались.

— Пойдем туда, пойдем, все равно... пойдем.— И они щелкали зубами и сладострастно двигали ноздрями.

Но хромой старик не позволил.

И они поплелись по бугру в сторону, а потом вкось через ложбину, навстречу ветру.

Два последние долго еще оглядывались на робкие огоньки, деревню и скалили зубы:

— У-у, проклятые,— рычали они,— у-у, проклятые!

III

Волки шли шагом. Безжизненные снега глядели на них своими бледными глазами, тускло отблескивало что-то сверху, внизу поземка ядовито шипела, струясь зигзагами по насту, и все это имело такой вид, будто тут, в полях, наверно знают, что никому никуда нельзя добежать, что и нельзя бежать, а нужно стоять смирно, мертво и слушать.

И теперь волкам казалось, что отставший товарищ был прав, что белая пустыня действительно ненавидит их; ненавидит за то, что они живы, чего-то бегают, топчутся, мешают спать; они чувствовали, что она погубит их, что она разлеглась, беспредельная, повсюду и зажмет, похоронит их в себе. Их брало отчаяние.

— Куда ты ведешь нас?—спрашивали они старика.— Знаешь ли ты путь? Выведешь ли куда-нибудь?— Старик молчал.

А когда самый молодой и глупый волчишка стал особенно приставать с этим, он обернулся, тускло поглядел на него и вдруг злобно и как-то сосредоточенно куснул вместо ответа за загривок.

Волчишка взвизгнул и обиженно отпрыгнул в сторону, проваливаясь по брюхо в снег, который под настом был холодный и сыпучий. Было еще несколько драк — жестоких, ненужных и неприятных.

Раз последние двое отстали, и им показалось, что лучше всего лечь и сейчас же умереть; они завыли, как им казалось, перед смертью, но когда передние, трусившие теперь вбок, обратились в какую-то едва колеблющуюся черную ниточку, которая по временам тонула в молочном снеге, стало так страшно и ужасно одним под этим небом, начинавшимся в летящем снегу прямо над

головой и шедшем всюду, в посвистывавшем ветре, что оба они галопом в четверть часа догнали товарищей, хотя товарищи были зубастые, голодные и раздраженные.

IV

До рассвета оставалось часа полтора. Волки стояли кучей вокруг старика. Куда он ни оборачивался, везде видел острые морды, круглые, блестящие глаза и чувствовал, что над ним повисло что-то мрачное, давящее, и если чуть шелохнуться, оно обсыплется и задавит.

— Где мы?— спрашивал кто-то сзади тихим, сдавленным от бешенства голосом.

— Ну-ка? Когда мы придем куда-нибудь?

— Товарищи,— говорил старый волк,— вокруг нас поля, они громадны, и нельзя сразу выйти из них. Неужели вы думаете, что я поведу вас и себя на гибель? Правда, я не знаю наверно, куда нам идти. Но кто это знает?— Он дрожал, пока говорил, и беспокойно оглядывался по сторонам, и эта дрожь в почтенном, седом старике была тяжела и неприятна.

— Ты не знаешь, не знаешь,— крикнул все тот же дикий, непомнящий голос.— Должен знать!— И прежде чем старик успел разинуть рот, он почувствовал что-то жгучее и острое пониже горла, мелькнули на вершок от лица чьи-то желтые, невидящие от ярости глаза, и сейчас же он понял, что погиб. Десятки таких же острых и жгучих зубов, как один, впились в него, рвали, выворачивали внутренности и отдирали куски шкуры; все сбились в один катающийся по земле комок, все сдавливали челюсти до того, что трещали зубы. Комок рычал, по временам в нем сверкали глаза, мелькали зубы, окровавленные морды. Злоба и тоска, выползавшая из этих ободранных худых тел, удушливым облаком подымалась над этим местом, и даже ветер не мог разогнать ее. А заметюшка посыпала все мелким снежочком, насмешливо посвистывала, неслась дальше и наметала пухлые сугробы.

Было темно.

Через десять минут все кончилось.

На снегу валялись ободранные клочья, пятна крови чуточку дымились, но очень скоро поземка замела все, и из снега торчала только голова с оскаленной мордой и закушенным языком; тусклый тупой глаз замерзал и обращался в ледяшку. Усталые волки расходились в

разные стороны; они отходили от этого места, останавливались, оглядывались и тихонько брели дальше; они шли медленно-медленно, и никто из них не знал, куда и зачем идет. Но что-то ужасное, к чему нельзя подойти близко, лежало над огрызками их вожака и безудержно толкало прочь в холодную темноту; темнота же облегала их, и снегом заносило следы.

Два молодых легли в снег шагах в пятидесяти друг от друга и лежали тупо, как поленья; они не обсасывали окровавленных усов, и красные капельки на усах замерзали в жесткие ледяшки, снегом дуло в морду, но они не поворачивались к затишью. Другие тоже позалегли вразброд и лежали. А потом они опять принялись выть, но теперь каждый выл в одиночку, и если кто, бродя, натыкался на товарища, то оба поворачивали в разные стороны.

В разных местах из снега вырывалась их песня, а ветер, разыгравшийся и гнавший теперь вбок целые полосы снега, злобно и насмешливо кромсал ее, рвал и расшвыривал в разные стороны. Ничего не было видно во тьме, и казалось, что стонут сами поля.

МГЛА

Мы выезжаем: восьмой час зимнего утра. В большом пустоватом доме, в столовой, горит еще свеча, стоит стакан стынущего чая со сливками, пахнет сапогами, табаком и охотой, а рядом, в кабинете со смятой постелью и чуть сереющими прямоугольниками окон, все опять начинает стынуть и холодеть без человека.

Минуем деревню, едем чуть заметно под гору. Сзади розвальней, на смычках, рысцой бегут собаки, кажущиеся темным пятном; в полутьме ясно представляю себе переднего — старого Добыча, мудрого, многоопытного, всегда думающего, и теперь, наверно,— в свинцовых потемках о чем-то размышляющего по-своему, по-собачьи — смутно, затемненно. Может, даже и сейчас он понимает, за кем мы едем, с кем придется иметь дело. Дрожь пробирает; не холодно в сущности, но как-то суровы и угрюмо пронизывающи всегда эти утренние, зимние полупотемки. Кружась по голому полю, налетает безвестный, сейчас же и пропадающий ветер: пахнет он остро и вкусно, точно, правда, снег имеет запах. Тонко и жалобно звенят стволы ружья, а вправо и влево синеет неприветный хмурый снег и

ровный ход розвальней, неясные тени собак, сзади, силуэт кривоногого Гришки «за кучера», нежное гуденье стволов, человеческие запахи: папиросного дыма, овчины моего полушубка,— все это тает в беспредельных, серо-синеватых тонах. Точно по странному, бесконечному, от века существующему морю плывет наша призрачная скорлупка.

Совсем уж почти рассвело, когда мы подъехали к «заказу». Слезаем. Далеко видно со взгорья. День теплый, сыровато-туманный. В далеком свинцовистом воздухе, над вылезшими из мутно-белого снега пятнами лесочков перетягиваются и лениво ворочаются хмурые небеса, и на всем лежит этот таинственный, мглисто-сизоватый налет уходящей ночи. Кажется, будто и лесочки, как огромные лесные звери, только что проснувшиеся, потягиваются и зевают. Что-то темное, мрачно-сладострастное подкатывает к сердцу. И собаки беспокойны, все тянутся в одну сторону; трудно держать их на смычке, а у мудрого Добыча от частого разгоряченного дыхания падают капельки с языка. Вот он подымает на меня свою седеющую морду с прокушенным ухом. Как мы понимаем с ним друг друга!

Лошадь привязана в кустах. Гришка ведет гончих на смычках в обход, я лезу по колено в снегу.

Вот «лаз»: извилистая лощинка в лесу, сходящемся мысочком — нельзя будет «ему» миновать меня. Так и напорется.

Почему-то вспоминается мне опять Добыч; иногда он тоже охотится. Молодежь гоняет, а он, не торопясь, трусцой забежит наперерез, станет на лазу и ждет зайчишку. Так же этот волк цапнул вчера мою Затейку, и теперь, слегка подраненный, залег где-то в чаще заказа. И равно меня, собак и волка охватил этот далекий, неясно маячащий горизонт. Слышно, как сороки стрекочут вдали; вот даже видно, как они ныряют в воздухе, длинными, бело-черными стрелками. Хитрые, неприятные птицы — несмотря на кажущуюся веселость: в самых далеких глухих чащах, где гниет и разлагается что-нибудь, они беззаботно трещат и перепархивают с ветки на ветку.

Но вот собаки гонят. Низкий, мерный бас Добыча похож на набат, а вокруг толпятся и прыгают наперебой веселые, как перезванивающие колокола, голоса молодых.

Далеко! «Он» после выстрела рванул задом в сторону, присел на мгновение... я тоже пригнулся, как будто этим можно было пригвоздить его к земле. Но нет, все-таки он справился и побежал. Бежал он странно, запинаясь как-то, но все же резко. Я понял, что он пойдет лощиной; лощина — полудугой,— надо наперерез. Задыхаясь, помчался я к розвальням; как-то странно было: виднелись опять лесочки на горизонте, пушистый снег был не по-утреннему бел и беззвучен, и хотя в ста шагах была лошадь с розвальнями, казалось, что никого нет, кроме нас с волком. Все вокруг молчало, но имело иронический вид.

Трудно бежать по снегу; собаки и те устали.

Гоню Серенького. Целиком, без дороги, захлебываясь от волнения, мы скачем по белому снегу, под загадочно-серым небом, где совсем ничто не звучит: жалкий мой выстрел был похож на щелк пастушьего кнута. Выходит так, будто навалили в гордом, пустынном месте пухлый слой белой ваты, чтоб разные чудаки не мешали звуками этому небу и этой земле, которая туда глядит. Вот и овраг. Спрыгиваю с саней, бросаюсь стремглав в низкие кустики, опускаюсь на одно колено в снег,— жду. Бежит по дну оврага рысцой, устал. Снегу внизу много — пар валит от него. Сейчас, сейчас! Ружье наперевес, темно-стальные стволы с крохотной мушкой чуть чертят концами в воздухе, сердце стучит толчками, в глазах зеленеет... Почти шагом выбирается на ту сторону,— остановился. Но расстояние... Делать нечего, ложе у щеки, мушка чуть-чуть ездит по его серому боку... Удар!

Простым глазом видно, как хлестнуло его, как мучительно он перевернулся, завертелся на месте и все-таки рванул бежать.

Я сжимал все мускулы в себе, корчился от желания схватить его, в слепой ярости бросался вниз за ним в овраг, что-то кричал. В горле хрипело, пальцы хрустят, рот дергается, что-то безумное владеет мной.

Когда я выбрался на ту сторону, он был уже шагах в двухстах. Он плелся трусцой, по дороге, а наискось, по цельному снегу, тянули за ним собаки; но они едва двигались от усталости, и он видимо уходил. С той стороны Гришка во весь опор гонит Серенького. Прыгаю к нему в розвальни — начинается гонка. Впереди он, мы видим по дороге пятна крови. Гришка хлещет Серенького, я в диком азарте впиваюсь глазами в эту

ковыляющую, серую фигурку впереди... Что-то ночное, жуткое, похожее на те таинственные утренние полупотемки, в которых мы ехали сюда, наполняет мою душу и толкает вперед по белому полю за ненужным волком. Вот уж он недалеко, впереди две фигуры — рудокопы возвращаются со своих «дудок».

— Дер-ржи! Др-ржи-и-и!.. Бей его, ворочай его-о-о! Ворочай его-о!

Фигуры суетятся, чем-то машут... Волк все ближе и ближе; видимо, он не хочет или не в силах уж сворачивать с дороги, где бежать ему легче. Что-то взметывает над фигурками, волк приседает серединою спинного хребта, на секунду приостанавливается, потом круто поворачивает в снег и, увязая по уши, из последних сил лезет куда-то.

Опять я грудью пробиваю себе дорогу в снегу, опять Гришка с Сереньким сзади, а волк ползет шагах в полутораста впереди... Сзади слышно, как Гришка ругает рудокопов, и в торжественном полусумеречном воздухе странно слышать грубые слова.

— Не уйдешь, не уйдешь! — бормочу я про себя. Вот мы выбираемся на край пологой покатости, это долина Березянки: направо, вдалеке, мельница, прямо внизу, — вспухшая к оттепели, со свинцовыми пятнами воды Березянка. Правый берег обрывист, дальше синий, мрачный бор. Все это вижу я смутно, как во сне: до того ли мне теперь?

Видимо, он изнемог; я тоже измучен, но уже теперь ясно — кто-нибудь из нас должен свалиться...

Почему-то он тянет прямо к мельнице; если ему удастся доползти до бора, он спасен; я знаю это и жму его к крутому, со снежными навалами, правому берегу, где трудней выкарабкаться. Вот мелкие озерца, проступившие темноводяными пятнами, сейчас и сама речка. Где снег посуше, *его* след чист, с ярко-красными каплями крови, по мокрому кровь ржавеет и расползается как «сиена» на сырой бумаге. Озирается; как будто приостановился и оглядывается: прямо впереди, за узенькой речкой вогнутый сугроб снега с нависшей коркой наста. На мельнице что-то шумят, сзади тоже слышны голоса.

Изо всей силы взметывает через речку вверх... Видно, как снег под ним обваливается пластами... Уши прижаты назад, все тело сжалось для скачка, все, все для него теперь в том, чтобы выпрыгнуть на тот берег.

Прыжок — но это уж и не прыжок, а предсмертная судорога,— вместе со снегом оседает и он сам назад — и конец. Теперь он сидит: передние лапы стоят, зад беспомощно увяз в снегу, морда обращена ко мне, а я все ближе и ближе и все ясней вижу эту шилообразную, оскаленную морду с треугольными, прижатыми назад ушами. У раненых ворон бывают такие глаза — помню, в детстве я боялся их: ужасно это предсмертное сверканье, эта непримиримая ненависть.

Но он мой, мой! Теперь уж его серое тело крепко сидит на мушке моего ружья,— какое наслаждение! От первого выстрела, как от удара плетью, он весь передергивается, морда никнет в снег... Но он жив; он судорожно вытягивает еще в стороны то одной, то другой лапой. Увязая по пояс в снегу, подбираюсь ближе... Теперь уж, в десяти шагах, картечь шлепает тесной кучей, шерсть в одном месте разлетается, как пух из подушки, закоптелый пыж валяется вблизи на снегу, и противное, истерзанное мясо вылезает, кровавя снег вокруг...

Мы одни: я и он. Гришку я услал на мельницу; собаки, фыркая от неприятного волчьего запаха, побрели за ним.

Он лежит все там же, где его застала смерть,— я повыше, на снежном гребне, которого он так и не одолел. Спускаются сумерки. Их наступление напоминает беззвучный, причудливый и таинственный полет летучей мыши над опустелыми ригами. И вдали, где узкие ленты лесов тонут в неясной мути, возникают невнятные, сумеречные отзвуки белых полей; колеблясь, тают они в воздухе. Язык их темен, мрачен и малопонятен, как далекий плеск моря. Все темнеет; ветер шуршит коричневыми листьями на меже; облака сошлись на небе уродливыми грудами,— бросают тягостный, аспидно-фиолетовый отсвет вниз. Пустынно и дико кругом.

Скоро приехал Гришка; мы взвалили волка на розвальни и поехали. Стемнело. Я вытянулся на спине, во весь рост в розвальнях, придерживая левой рукой волка, который лежал со мной рядом и тоже как будто смотрел в небо. Впрочем, оба мы одинаково ничего не видели там и не могли ничего увидеть и понять. Глухая

страшная ночь чернела вокруг нас и над нами, и было все равно, смотреть ли вверх, вниз или еще куда. Все вокруг было одинаково непонятно и враждебно нам. Волк начал уже коченеть, и странно было в темноте трогать пальцами его жесткую шерсть, торчавшую космами и выросшую будто на мертвом теле. На раскатах он откатывался, так что я должен был обнимать его, а потом, когда розвальни становились на место, ударял меня своим угловатым, неприятно твердым телом.

Дома, в огромных нежилых комнатах, стояли те же холодные потемки, и весь дом, ветхий, поскрипывавший от ветра, полуслепой — с двумя-тремя светившимися окнами, выглядывал жалкой развалиной. Волка трогали, ахали, щупали; только старая, почти лысая кухарка Аграфена, которая прожила уже около восьмидесяти лет, всматривалась в него угрюмо и молчаливо.

На улице же в это время выл и крутил уже яростный ветер и дергал ставни окон. Много позже, когда все в доме спали, я отправился через целую вереницу пустых, гулких комнат в залу посмотреть, заперта ли балконная дверь.

Толкнув ее, я вышел на балкон. Снег слабо белел на нем, а дальше чернела, как переходимая бездна, бесконечная бушующая мгла, то свивавшаяся вихрями, то удушающе налетавшая спереди, с воем охватывая всего, с головы до пят.

Вспоминая нашу пустынную борьбу там, в безлюдном поле, я не испытывал ни радости, ни жалости, ни страсти. Мне не было жаль ни себя, ни волка, ни старую кухарку Аграфену, но не было бы странно и то, если б в этой бездонной тьме я увидел неподвижное лицо Вечной Ночи с грубо вырубленными, сделанными как из камня огромными глазами, в которых я прочел бы спокойное, величавое и равнодушное отчаянье.

АГРАФЕНА

I

На дальней заре своей жизни, семнадцати лет, стояла Груша в поле, ранней весной. Пели жаворонки, было тихо и серо — апрель, под пряслом бледно зеленела крапива. Груша слабо вздохнула и пошла тропинкой от деревни к большаку. И когда она до него дошла, издали, от лесочка лёдовского зазвенели колокольчики.

Сквозь светлую мглу утреннюю трудно было сразу разобрать, кто едет, но, видимо — тарантас, тройка; вероятно, из усадьбы господской кто.

Груша скромно шла сбоку большака, по тропинке богомолок; почему-то заиграло и забило ее сердце. Вот уже ближе, можно рассмотреть Азиата на пристяжке, как он шеей дугу вычерчивает, кучер Иван — ясно: едут со станции, везут... Через две минуты увидела и кого везут: в синей студенческой фуражке с белым верхом и темно-голубыми глазами «он» — худой и тоненький, с острым лицом и нежным цветом на щеках. Как ни быстро все было, успели они все же увидеть друг друга, обменялись вспыхивающим взором — и укатила тройка, только веселую серую пыль подняла. А Груша вдруг покраснела густо, малиново, когда уже никого не было, и стала что-то смеяться; обрывала полынь с канавки и пугала воробьев на дороге.

День же светлел, над озимью текли стекловидные струи; овсы зеленели, были черны пары.

II

С этих пор началось для нее новое. Та усадьба, куда раньше ходила она на поденную — обыкновеннейшее поместье,— стала особенной. Там где-то вглуби сидел «он», синеглазый и тонкий, занимался со своими книжками, но каждую минуту мог выйти к молотильному сараю, где возили золотую солому, в поле, к скотному.

Идя по полям, где весна расстилала свои зеленеющие одежи, думала Груша все об одном: вдруг его встретит. И это давало заманчивую силу путешествию с холстами к сажалке, где плескались утята — желтые, в пуху, или бродяжничанью в березовом леску за вениками.

Иногда по ночам он ей снился — в синеющей дымке; утром она просыпалась счастливая и измученная, в светлом тумане слышанных слов, счастья, дрожи.

А потом опять шла на работу, вспыхивая и глубоко рдея, и тайком высматривала, где бы можно было его видеть. Оказалось — он взялся бродить с ружьем за усадьбой, особенно по вечерам, на тягу. Уже не раз видали его над речкой или на бугре у мельницы, там он сидел, и охотился ли, ястребов стрелял или про что думал свое, сказать было нельзя: сидит и смотрит, бродит, песенку насвистывает и глядит далеко, точно и не сам он тут.

Так было и в тот вечер апрельский, алый и нежный;

чуть вились комары, березки стояли в зеленом дыму, а Груша с бьющимся сердцем перебиралась через речку в рощу березовую, по шатучим кладкам. Было прозрачно; в плавной воде мелькнуло слабое Грушино отраженье, легко она перемахнула и с холодом в ногах пошла, похрустывая веточками под ногой, туда, где он. Он опирался на ружье — тоненький ствол чернел в деревьях — и ждал вальдшнепов...

— Здравствуйте, Груша!

— Здравствуйте!..

Она замялась. Точно что-то сказать хотела, да не могла.

— За охотой ходите...

Он улыбнулся. Стоял, краснел тоже, и вблизи от него, в зеленой мгле цвели ее милые карие глаза.

— Да, за охотой. Вальдшнепов караулю.

Он все улыбался, потом вдруг взял ее за руку. Она чуть отшатнулась, он прислонил ружье к березке, смутно обнял ее и глубоко поцеловал в губы.

III

Краснел май, пролетая в огненных зорях, росах; кукушки медово куковали, точно окуковывали молодую жизнь. Солнце вставало пламенным и пахучим, глубокими ароматами дымились луга под ним и скаты розовели, окровавившись «зарей», медвянолипкой пурпурной травкой.

Очень ранними утрами нарывала Груша ландышей, белеющих и одуряющих, и бросала тихонько в «его» окошко во флигеле; ей казалось, что с ними идет от нее особенный душевный привет. И целый день в одинокой комнате сладко пахло белым, нежным.

Встречались они мало; больше он сидел за делом — «книжки читает», как говорили в усадьбе: около флигеля запрещалось громко разговаривать.

Но в июне начался покос, и он иногда приходил работать. Это было немного смешно — слишком он не умел справляться с вилами, навивкой возов, но когда на лугу, где Груша с девками сгребала сено, появлялся он, в белом кителе и с опаленным зноем лицом, сердце Груши, как всегда, падало. «Господи, надорвется», — думала, — а он, напрягая все тонкое тело, с раскраснелыми щеками, подымал на вилах стопу сена. «Ахнет, сразу сердце оборвется, и конец». Но он не умирал, а посмеивался ей ласковым взглядом, и хоть она и от того раза почувствовала к нему тайную, трепетную

близость, все же был он и безмерно далек. И когда после полного блестящего дня она возвращалась домой и ложилась спать в риге, мечтая о нем, тонкая грусть оплетала ей душу; весь он казался ей тогда царевичем из сказки,— тем, чего не бывает и о чем томятся.

Уже кончался покос, часто по небу июньскому плыли белые, круглые облачка. Им выпало вместе ехать за реку, за оставшейся копенкой.

Груша вспыхивала и гнала рысью; телега гремела, они оба смеялись, так его бросало из конца в конец. Седые березы, под которыми они катили, струились длинными ветвями-прядями, будто посмеиваясь: «знаем, мол, молодых этих ребят. Дай отъехать подальше, целоваться будут». И они на самом деле целовались, убирая эту бедную копенку,— шалили, вздрагивая и краснея.

Воз был почти уже навит, они устали и рядышком сели в тени за ним. Лошадь стояла покорно, душно пахло сеном, солнце сгибалось книзу. Незаметно наступил тот кроткий, предвечерний час, когда золотее все, умереннее и в зеркальной глубине светлого неба как бы чуешь правду чистую и бесконечную.

— Умучились вы очень, ветерком бы обдуло,— сказала Груша и глянула робко, будто стесняясь, что он так работал.

— Ничего, пустое.

Они сидели. Под тихую жвачку Прахонного умолкали их души. И снова, как в ночных мечтаниях, вдруг охватила ее темная печаль: точно облако встало. Что-то было в ней, а сказать она не умела, боялась.

Он сорвал травинку и откусывал кусочки. Потом сказал:

— Отчего так бывает, смотришь на небо, и облачка такие,— кажется, когда-то в детстве видел это,— а когда, не помнишь. И как тогда чудесно было... Вот и лето, и все, а тогда было другое.

Груше с этими словами показалось, что опять он не веселый и смеющийся, а тайный, далекий,— такой, как когда читает книги или смотрит часами в одно место.

— Вы на то лето опять приедете?— вдруг спросила она — и под сердцем прошло что-то. Он не ответил, потом произнес:

— Может быть.

«Может быть». А может, и нет?

Груша молчала. Долго они сидели так, без слов, а потом вдруг теплые слезы, светлые и соленые, подступили ей к глазам, с такой силой она поняла — никогда, никогда не быть им вместе, не знать счастья, кроме

сейчашнего,— что уткнулась ему в рукав и плакала обильно, долго.

Понял и он; улыбался ласково, печально и гладил ее по затылку. Потом слабо поцеловал и встал.

IV

В августе убирали овес; было тихо, тепло, даже душно; много сереньких дней, когда куропатки срываются в кустах из-под ног и чертят воздух острыми крылами; а вечером спокойная луна, лилово-дымчатая, восходит над полями в меланхолии. Тогда унылее и пахучей полыни над дорогами, и над кладбищем деревенским низко плывет лунь.

«Он» в такие вечера блуждал по дорогам на велосипеде; заезжал вдаль, к одинокому лесочку на взгорке, среди нив, клал коня рядом и глядел подолгу на гибнущий закат, на деревню, где жила Груша, и вид безмерных родных равнин вызывал одно, всегда одно и то же. Иногда поджидал у сворота тропинки Грушу, когда она возвращалась домой; спрятав велосипед в овсах, шел с нею рядом. Она напевала, а спелые овсы шелковели вокруг, сухо шелестели; иной раз тихую ночную птицу вспугивали они, двое, из-под ног.

Убывали дни, становилось их меньше до конца. Чаще пело Грушино сердце о разлуке. Точно сильнее и глубже вошел он в нее от этого, и когда, распрощавшись у риг, добредала она до дому, то глядела на загадочные облака над солнцем угасающим и думала, что так же растает и он, так же золотой, недосягаемо-чудесный,— и снова сладкие, смертные муки томили ее, по ночам она не спала, и отблеск того же нездешнего, светивший в нем, почил на ней.

А в последний вечер, когда целовал он ее на прощание и овсы шептали, обняла она его колени и не могла оторваться. После он уплыл в вечернюю мглу, а она стояла на коленях и молилась вслух полям, овсам, небу, Богоматери кроткой и милостивой, посетившей в тот вечер нивы. И ее голос был услышан; ее детское горе исходило слезами; как таяли облачки,— таяла скорбь в ее сердце, оставалась заплаканная душа, посветлевшая и опрозраченная.

Он же покинул в это время те края, не возвращался больше и пребыл таинственным посетителем, пришедшим в жизнь Аграфены на ее ранней заре, чтобы растаять синеватым туманом, оставив за собой любовь, томленье, тихие восторги и несколько не слишком щедрых поцелуев.

V

Прошло четыре года. Аграфена жила в маленьком городе, занесенном снегом и тихом, у молодой барыни. Она была замужем, но с мужем разошлась и детей не имела; жить же в этой светлой квартирке, где всюду были белые отсветы снега из окон, ей нравилось.

Сильно топили; было тепло, а там, за стенами, стлались далекие снега, полусонный город, мятели; здесь же бродила легкой походкой маленькая барыня, выкармливая грудного, а другой мальчик ходил в гимназию — первый класс.

А Аграфене думалось, что, живя здесь, хлопоча в кухне, таская дрова, свежепахнущие, веселые, она ведет благочестивую, спокойную жизнь.

По субботам, отпросившись у барыни, бегала наискось в церковь, через заснеженную улицу, увязая, обдаваемая острым и жгучим зимним духом, пила его, как дивное вино, в церкви скромно становилась сбоку, слушая «Свете Тихий...».

Пел хор гимназистов; светло мерцали и струились свечи, золотели, мгали. Сердце ее обнималось тогда благоговейной ясностью; и среди тихих напевов нежданно вставал некто дивный и грозный; случалось,— вдруг пред лицом этих риз на иконостасе, от голоса отца Дмитрия, высокого, тонкого, похожего будто на Христа, веяло таким безмерным, что она в ужасе спрашивала себя: верю или не верю? Вдруг, если не довольно верю, не живу с мужем, посты плохо чту,— вдруг тогда и конец, и спасенья нет, ад и проклятье?

С этими вопросами обратилась она раз к барыне:

— У вас, может, у господ, и вовсе в Бога не веруют, а нам как?

Барыня улыбнулась, как всегда задумчиво и к Аграфене ласково:

— В Бога я верю, Аграфена, вы не думайте. Насчет ада плохо умею сказать; объяснить не могу, а наверно, думаю, что нет. Нету такого ада, незачем: и здесь на земле достаточно.

Аграфена ушла к себе мыть чашки, все о том же думая: «на земле достаточно...» Так и барыня: спокойная, не сердится никогда, детей ласкает, а сама думает, и точит в ней что,— под глазами круги, блекнет здесь одна в этой тиши. Ночью, крестясь на лампадку, Аграфена слышала, как ворочалась, вздыхая, барыня; будто длинное что, неизбывное, томило ее; и в те

долгие ночи зимой должна была она его изжить. Аграфена вздыхала, широким мужичьим крестом крестясь «за спокой» доброй барыни.

VI

Подошли Святки; бело-тихие, точно приплыли по безбрежным снегам. Барыня делала елку Коле; никого не было, кроме Аграфены; елка светло сияла в скромной квартирке. Барыня улыбалась, радовалась, что нравится Коле, и как всегда — бледная тень ходила по ее прозрачному лицу, а соседки-кухарки говорили Аграфене: «Вот смотри, к вам и отец Дмитрий не пойдет, потому твоя барыня безмужняя». И дальше рассказывали, все по-разному, одно: сзади лежала сердечная история.

Отец Дмитрий, однако, был; служил молебен, кропил, и не только Аграфена молилась, но крестилась и барыня.

Разоблачившись, отец Дмитрий завтракал; они с барыней говорили — как два вежливых и всегдашних противника.

— У вас здесь весьма тихо, напоминает женский монастырь.

Барыня улыбалась.

— Это и есть монастырь.

Во взглядах отца Дмитрия было одновременно почтительное и внутренно-неодобряющее.

Потом опять забелели снега; синела по ночам лампадка в большой детской, барыня целые ночи бродила с грудным: он пищал, кис, было безмолвно, и если ночь выпадала лунная, голубело и там, в тихо сверкающем снеге; таинственное, слышное только ей одной, наполняло тогда квартиру и город; вспоминалось о далеких днях — любви и невозможности, и хотелось сесть в этой светлой ночи в волшебные сани, унестись по белеющим полям вместе с тем, который...

В кухне спала Аграфена; барыня, подходя к двери, улыбалась на нее; иногда даже смотрела по нескольку минут. «Знала она или не знала такое?» И вдруг ей казалось, что она прозревает одним взглядом в жизнь этой Аграфены, и остро, подробно видит, что дано ей испытать, испить и пережить.

Тогда она ходила подолгу с грудным из угла в угол, погружаясь в лунные колонны и выходя из них, и седая печаль повивала ей голову: печаль, ровесница самому миру.

VII

Ветры подули, потекли снега, мощный и веселый дух ходил над землей, трубя и играя. Масленица была пышная, с роскошными лужами на улице, весенними ночными бурями и дождями. Не могла уже Аграфена быть монашкой зимней; бурно закипало по ночам сердце, томилась она и заплакала даже раз — ручьями, неизвестно о чем.

Но судьба ей была дана: в те же дни встретилась она с кучером Петькой, только что попавшим сюда на службу. Он был молод, черноус и остр. На дворе его боялись и не любили; очень больно умел сказать, сплевывал гениально, и когда мчался в санках на Звездочке, глядеть дух занимало.

Аграфена так и зевала на него раз, когда он въезжал домой на взмыленной лошади, а он цыкнул, ловко перебрал вожжой, чтобы не задавить, и прорезал у самых ее ног, так что шарахнулась даже в подъезд.

— Эй, ты, малина!

И по тому, как он сказал это, поняла она,— что бы ни велел этим голосом — удаль, наглость, сила в нем,— все она сделает.

К вечеру понадобилось достать дров из сарайчика; сумеречилось, синевело, чуть желтели огоньки фонарные; легким ходом пробежала Аграфена к знакомому месту, вся вздрагивая, внутренно холодея; вот и дрова, милые такие, пахучие — и там у каретного кто-то возится, пахнет оттуда дегтем, шорником, шлеей...

— Али потеряла что, молодка?

Острый запах цигарки, картуз ловкий, крепкие, как из жил, руки.

— Так уж, потеряла или нет, про то вам знать не приходится...

— Ой ли?

И все ближе он, жутко, голова мутит,— ясно: не уйдешь.

— Ой ли?

Дверка захлопнута, н как он дрожит, как целует, как наверное она знает, что уж это не то, что тогда, тихой весной, здесь кровь и огонь, огонь и беспощадность.

Через четверть часа бежала Аграфена через двор с дровами, домой, легко-пьяная и не себе уже принадлежащая. А Петька сплевывал, курил цигарку у ворот, и жадный, победный огонь лился из его глаз: весь свет казался ему добычей, а борьба — жгучей и опьянительной.

VIII

Летели дни, так же ходила барыня с ребенком, теплом веяло с неба, зазеленело все,— Аграфена горела. Казалось, не было лет сзади, нету впереди ничего, да и не надо — вся полна собой, кровавой своей любовью.

Поздно вечером, когда все засыпало, она тушила огонь на кухне и сидела в забытьи, глядя на звезды, а потом легко, сомнамбулически, ведомая властью светил любовных, выскальзывала на двор и, крадучись, к сеновалу. Здесь волны сена. О, как оно пахнет! И пока она лежала, в трепете ждала, майский месяц выползал из-за сада, заглядывал золотым лучом в слуховое оконце: там он видел слушавшую Аграфену, потом ловкие шаги — он.

Так, в майской тьме, задыхаясь на сене, трепеща от любви, зачала Аграфена новое бытие. Она почуяла это в такую же жгучую ночь, и Петру не сказала. Но уйдя от него, когда забелел восток, пошла не к себе на кухню, а за сарай, в сад. Тут было тихо; матовой пеленой одели росы траву, молодые яблони стояли все в цвету,— белыми предутренними кораблями. Только вдали, где старая береза подымалась у забора, вдруг слабо завела свое курлыканье горлинка. Под сердцем Аграфены билась жизнь. Она стояла, точно предстала перед Богом, как покорный сосуд, скудельный сосуд Его благодати и ужаса, и некто тихою десницей навсегда отмахнул от нее время, когда была она беззаботной.

IX

С того дня Аграфена стала спокойнее, строже; даже барыня удивлялась: «Вы будто, Аграфена, поумнели»,— говорила и посмеивалась. Аграфена краснела слегка, молчала. Но в душе у нее вставало нечто, чего раньше она не знала: будто тень от дальнего, жуткого доходила ей до ног и стремилась охватить всю: «Петя меня любит, надо б свадьбу сыграть, а чего-то боязно».

На дворе над нею зубоскалили, говорили, что вешается Петьке на шею, да Петька не такой дурак, чтобы дать себя бабе в кабалу: пусть бы глядела, не равно другую подцепит.

— Все, милая, изменщики они, все ироды, была б моя воля, всех бы их на каторгу наладила.

Аграфена сердилась:

— Петя не изменщнк. Не лисица какая-нибудь.

Лысая кухарка охала. Мало верила Петру, как н другим.

— Присматривай, девушка, присматривай. Наше дело женское.

И правда — этого Аграфена не могла отрицать — Петр стал как-то ускользчивей, мимолетней; в его острых глазах мелькало как бы чужое, тайное и скрываемое.

— Петя, знаешь ты, я за тебя в огонь и в воду, на адскую муку согласна. Вот дослужим здесь, повенчаемся, в деревню поедем... Господи, мальчик наш будет розовый, назову его Кириллом, буду люльку качать, ясного моего сокола поминать.

И она припадала к его ногам, плакала, целовала руки, но он был равнодушен.

— Наживу денег, уйду на Волгу. Эх ты, кура, кура.

И ласкал буйно, небрежно, точно правда рожден был для другого: блеска, шума, вольно-безбрежной разбойницкой жизни.

Аграфене же нравилось все, даже что ее не замечал. Надрожавшись от восторга, жутн за ночь, она шла в белую кухню и, слушая, как медленно ходит из угла в угол с грудным барыня, тяжело и сладко засыпала: без сновидений, с глубоким томлением.

X

В ночь начала нюня, как назначено было, накинув платок и дрожа, озираемая тем же месяцем, что в днн счастья н зачатия заглядывал на сеновал,— Аграфена кралась туда же, к своей заветной лесенке на сенник; как раньше, сопели внизу коровы, телятки бормотали детскими губами н чуть скрипели досточки лестницы. Вот и сено — душное и пьянительное, как сладкое луговое вино,— и то место, за поперечной балкой, что было ими облюбовано и где любили они так бурно. Но что? Или слух изменяет? Движенье. Возятся, хохочут. Поцелуй, такой же, там же...

— Петя!

Смолкли.

Голос — злой, чужой.

— Какого дьявола по сеновалам шляешься? Или в службу нанялась?

— Петя...

Но остановилось сердце, нету ему ходу — видит она с ним там другую, блудящую девку Федосью, и он лезет от нее лохматый, с сеном в волосах.

— Прочь пошла, слышишь — вон!

— Петя, Петюшка, разве ж тебя не любила? Разве душу тебе не дала, Петя, родненький, за что?

Он не слушал. Схватил сильными руками и столкнул вниз с крутой лесенки, так что упала оземь, разбила верхнюю губу. И лежала долго в забытьи. А он запер дверь.

Много позже встала она медленно и пошла домой. Там сидела тихо, всю ночь у окна; было безмолвно в ее душе, стояла пустота, палимая бесплотным огнем. И только временами чуяла жажду какую-то, пила; потом слабо задремала, перед рассветом, сном тонким и больным, готовым каждую секунду лопнуть: проснувшись — сразу вспомнила, что выедено все у ней внутри и одна зияет огненная рана. Тогда стала плакать — медленными, безграничными слезами. Так застала ее барыня, выйдя утром в сереньком своем халате, бледная и сухенькая.

И как была она женщина, сразу поняла все.

— Не плачьте, Аграфена, не тужите. Вот полюбите еще, новое счастье узнаете.

Барыня положила руки на Аграфенину голову и говорила что-то глазами. Светлыми и скорбными, прошедшими через многие печали мира и вынесшими из них свое знание.

Так познала Аграфена первую свою женскую муку, огнепалимую и ненасытную. Муку отверженной.

XI

К новому году Аграфена родила. В это время она уже не жила у прежней барыни, которая внезапно уехала куда-то и навсегда пропала с ее глаз. Также не было и Петра; он ушел оттуда еще летом, чужой и недругом. Но теперь все это было для нее далеким, щемящим, над чем время возводило свои усыпляющие терема.

С девочкой на места не брали, поэтому пришлось отдать ее в деревню. Это тоже было горько, но необходимо. И Аграфена снесла это твердо, только бледнела.

Оставшись же одна, она стала внутренно собранной, готовой на нелюдимую тяжелую жизнь, и вступила в кочевое состояние женщины, переходящей от хозяев к хозяевам, видящей разные семьи, разные драмы, счастья и предательства,— но хранящей суровую отчуж-

денность и только временами плачущей, в одинокие ночи, о невозможном.

Так блуждала она довольно долго. Понемногу годы, утомляя своим волнообразным всплеском, качая на своих гребнях, ввели ее в возраст тридцати лет, когда жизнь кажется наполовину прожитой, в голове пробегает волос серебряный — глубже в лоб врезается морщина.

XII

Теперь место Аграфене вышло в доме госпожи Люце, в том же городе. Она была кухаркой; жила в подвальном этаже, в тесной кухне и видала оттуда медленную жизнь, протекавшую вокруг и наверху.

Госпожа Люце имела мастерскую; в ней шили и вязали чулки, жили мастерицы, и сама «тетушка Люце» вела скромное существование, весь день работая над сматыванием ниток. Хотя все с ней были приветливы, Аграфена дичилась и старалась быть в стороне, внизу у себя. Там жила старая няня, взрастившая госпожу Люце, и ее старик муж, Мунька. Этот походил на снежно-серебряную копну; двигался медленно, иногда в низенькой закопченной кухоньке разговаривал с Аграфеной. На нее это действовало тяжело: стоит Мунька старый-старый, восьмидесятилетний, как древнее привидение, и бормочет:

— Было это в пятьдесят пятом году. В Останкине тогда жил покойный император, Александр Второй.

Или:

— Много наших под Силистрией легло. И мы там с барином были.

Темная тень — годов, императоров, битв, войн ложилась тогда на душу Аграфены. Казалось страшным дожить до такой старины; и когда не спалось, мысль настойчивей направлялась к тому: как же? Когда? Что будет «там»? И вначале, как ни билась, дух немел перед возможностью не быть, перед тем, что же будет, когда не будет ее? Прежние мысли об аде, о том, что «вдруг есть Бог» и покарает за грехи, ушли давно; с течением времени стал также проходить тот дикий ужас — а если убьют, от болезни внезапной умрешь, сгоришь,— от которого она холодела раньше.

Теперь, с годами и размышлениями, смерть представлялась надвигающейся мерным и торжественным ходом. Она шла неотвратимо, как крылатая царица, звучала бархатно-черным тоном. Но на фоне этого

мрака просветленнее, трогательней сияли видения прежних лет: дальний роман среди полей, с полузнаемым *им*, весною тихой, апрелем: слабо мерцающая где-то сейчас детская жизнь. Как давно было все это!

Теперь Аграфене казалось, что ее жизнь примет ровное и бедное течение, будучи отдана этой девочке; но ей было назначено за первым переломом бытия узнать еще огни и печали передвечерия.

XIII

В ноябре, среди ранних диких мятелей в дом госпожи Люце приехала барышня Клавдия с братцем. Клавдия приходилась тетушке родственницей, сняла комнату себе и братцу отдельно—и стала ходить в музыкальное училище, а братец в гимназию. Клавдии поставили пианино в комнату, и теперь нередко в пустынной квартире бывал Бетховен и старые немцы. Под их звуки тетушка мерней вертела колесом и туманнее думала о днях былых, когда с покойным ныне мужем они вели ясную жизнь, в любви и дружбе.

Также в Аграфенину кухню сходили эти голоса. Она мало их понимала, но почему-то от того, что барышня умела играть, она казалась Аграфене не совсем обыкновенной: точно жило в ней смутное и слегка загадочное. А в то же время и простое: сбегала вниз к ней, могла хохотать, картошку ела с плиты недоваренную, наверху же вносила в жизнь тетушки некоторый кавардак. Но страннее всего был братец, совсем молоденький. Тоненький, тихий, часами просиживал он в своей комнате, что-то всегда рисовал, тщательно прятал, молчал и иногда вдруг густо и беспричинно краснел.

— Нашего Костю никогда не слыхать,—говорила тетушка.—Право, жив ли, мертв ли, не узнаешь.

Клавдия улыбалась—точно была с ним в заговоре.

— Он думает.

— Ах, Клаша, все-такось рано с этих пор думать.

Братец же, если слышал, что при нем о нем говорят, имел неопределенный и полуневидящий вид, а потом, допив чай или кончив обед, вежливо благодарил и уходил в свою комнату. Занимался уроками, потом много мучительно рисовал, потом читал, ложился спать.

Утром в потемках вставал и шел в гимназию; и ноябрьские дни, заметая снегами улицы, свинцовой вереницей брели над городом; ведя нить жизни дальше, в глушь, в черноту ночей.

XIV

Аграфена уставала. Сзади стояли годы, оттуда сочилась черная влага, стекала в душу и скоплялась едкими каплями. Теперь она не могла бы рыдать, исходя в буре слез, сухая печаль ложилась вокруг рта кольцом, въедающимся и маловидным снаружи.

Мысли о смерти приходили чаще; что-то недвижное и седое загораживало дорогу, тускнело все прежнее; прожитая жизнь казалась ненужной. Временами приятно было глядеть на камни, стены — как они тихо лежат и как долго! Как покойно! А иногда вдруг, перед вечером, когда бедные, северно-розовеющие тучки нежданно разлегались над закатом, что-то манило и слышны были точно слова — детские и обаятельные. Становилось возможным невозвратное; на минуту сердце замлевало, будто ожидая чего. Но закат гас и опять только закопченная кухня, темень, Мунька. Сверху музыка Клавдина, томная и родная тучкам умирающим, да невидимый братец.

Мунька умер в очень глухую ночь. Уже много дней был он плох, лежал и стонал, закатывая глаза. Всем было ясно, что нельзя ему жить больше: отмерил восемьдесят лет и уходи. Няня давно приготовила ему смертные одежды, но по ночам о нем плакала. Он же лежал как серебряная копна, что-то бормотал и слабел, слабел.

В три часа с четвертью Аграфена вдруг, в беспроглядной тьме соскочила с постели; жарко было, заливалось сердце бешеной дробью...

— Бабушка! — крикнула она няне.

Не ответили.

В соседней камере хрипело и возилось, свет вдруг резко ударил сквозь щель, лег тоненькой жилкой, и оттуда быстрые слова:

— Кончается. Барыню буди.

В тоске кинулась она наверх.

— Барыня, голубушка, Мунька кончается!

Тетушка Люце спала на широкой постели, со слабым отсветом лампадок; старинно и печально было в этой комнате. Стояло древнее трюмо, резное и в ночном поблескиванье призрачное; пахло сладковатым.

— Царство небесное, Господи, упокой душу!

И как старый человек, видавший много видов, стала тетя Люце на колени.

Сразу зашумели в доме, и, пробегая мимо комнаты братца, Аграфена машинально отворила дверь и вошла. Он сидел на кровати, тоненький, белый, встревожен-

ный; сзади мгновенно пал кусок света, бросил его в глаза Аграфене, и потом, когда она притворила, худенькое белое виденье с голыми ногами запало ей вглубь, вызвав странный темный удар.

— Что такое?

— Мунька помер.

Но теперь она не думала уже о мертвом; смутная сладость пронизала ее глубоко, до костей, и на черном фоне ночи, смерти, страха, вдруг поплыло нагое тело, девичьей белизны, с тонкой, чуть рождающейся прелестью мужчины.

Аграфена выскочила и сбежала вниз; увидев в кухне огонь, свет в Мунькиной комнатке, его самого недвижно лежащим с тонкой повязкой смерти — она зарыдала, сама не зная от чего.

Древняя няня молилась, в дверь выглянула Клавдия в ночной кофточке, потом проковыляла тетя Люце. Ночь шла. Ее великие панихиды простирались завыванием ветров, свистом метели и безмерным мраком. Так продолжалось до утра.

XV

В сороковой день смерти Муньки няня с Аграфеной ездили на кладбище. Извозчику было шестьдесят, он знал все про всех в городе, и ему можно было бы не говорить, куда, собственно, едут. День был зимний. Глубокие снега, как и прежде, укрыли город; тихие санки плыли по ним. Аграфена глядела по сторонам. Давно не бывала она так далеко от своей норы, и теперь, когда с окраинных улиц виднелась вдали Ока, зимне-синеющие просторы и горизонты, леса в снежных инеях — ей вдруг представилось, что жизнь широко раздвинута, там на огромных пространствах также обитают люди, также можно куда-то уйти, стоять в снеговых полях, дышать острым и опьяняющим воздухом прежнего.

От этих мыслей у ней затуманилась голова. Между тем близко было кладбище. Оно лежало почти за городом, на широкой возвышенности, господствуя над всем. От инеевых деревьев оно казалось белым облаком.

С большой тишиной и серьезностью вошли женщины в его ворота; на них не было ничего написано, но сразу другой воздух охватил; еще прозрачнее, суше, таинственней. Особенно деревья обольщали; о, как они

замлели под белейшими ризами! Они рождали тишину и мир, холодный мир.

«Какой там Мунька теперь?» И нельзя было поверить, что не такой же, не хладно-серебряный, не пронизанный молчанием снегов и инеев.

На могиле женщины совершили обряды; были тут поминальные яства, кутья и изюм; птицы — красногрудые снегири — перепархивали в ветвях, осыпая белый туман; ожидали, когда они удалятся.

— Ты, милая, уйди теперь, дай мне одной побыть.

Старческими коленями стала няня в снег и начала молиться. Аграфена бродила меж могил и чувствовала себя в странном, морозном раю; точно вся полегчала и опрозрачнела. У ограды дальнего конца она остановилась. Над ней вились щеглы, она оперлась на снежный парапет и глядела долго на заречные дали. И вдруг в тишине снегов нежащее, острое виденье выплыло изглуби и наполнило ее сладкой болью. В этом не было ничего странного, но как раз та секунда сказала ей с беспредельной ясностью, что близко, близко...

Назад с кладбища Аграфена возвращалась одна. Проходя по плотине мимо катка на пруду, осененного вязами, она увидела братца; он скользил уверенно и стройно на американских коньках, а перед ним, убегая, несясь, летела девушка в бархатной шапочке. Аграфена чуть приостановилась; затем продолжала путь.

XVI

В воскресенье, с самого утра, Аграфена почуяла тоску. Она была одна; все ушли, и ее мысли, бродя за плавными снежинками, летевшими с неба пеленой, погружались во мрак. Тогда ей пришло на ум, что она может пить. Первый раз в жизни в тот день она пила и узнала туманный хмель, сладкую призрачность, встающую из него — глубокую его рану.

К вечеру хмель ушел. Но остался трепет и как бы буйность. В полусумерках вернулся братец, и, как ей показалось в передней, острая мужская дрожь пробежала по нем. С тайной сладостью стала она мечтать, сидя в своей комнате, вспоминала, как хмур и беспокоен он, как таит в себе вскипающее, и опять с болью плыли перед ней ноги, белые, белые, как у девушки.

В поздний час, за полуночью, она, задыхаясь, кралась через черный дом, полный сна, к его комнатке. Как и тогда — отворила, замкнула и дрогнула: заскрипела пружина на постели.

— Кто тут?

— Я.

Стало тихо, она подошла, прильнула, потопила его в себе — режущей сладостью утоляла свою любовь — такую плотскую, бо́льную такую, темную, непонятную любовь.

Когда ранним утром, вблизи рассвета она уходила, серели пятнами окна; на постели лежало измученное тело — белый цвет и дикий, теплый запах зверей стоял. А она не могла наглядеться на него, не могла натрепетаться от острого, сорванного цветка: рождающегося мужчины.

Потом она проходила по пустым комнатам, на рассвете. Холодная тень, цвета пепла, легла ей на душу. Нечто темное встало, загородив дорогу.

Так взяла она его.

XVII

Очень скоро узнала, что не на радость. По-прежнему был братец худ и жалобен с виду, а теперь стал еще и стыдиться. Когда, встречаясь днем, она длинно взглядывала на него, он вспыхивал и нырял скорее в свою комнату, а еще хуже получалось, когда приходил кто-нибудь.

К Клавдин часто забегали подруги: молодые барышни и гимназистки. Была между ними и та, с кем она его видела в зимний день на катке. С нею он почти не говорил; бледнел в ее присутствии, смущался. Аграфена, подавая, унося, рассматривала их обоих тяжелым взором, и мутное чувство селилось в ее сердце: сидят, смеются, может, любить уж начинают друг дружку, а того не знают, с кем он по ночам... Медленная злоба затопляла ее. О, как ненавидела она этих легоньких барышень, с духами и тонкими ножками,— кому и жить только, чтобы целоваться да на балах плясать — пусть бы сошли к ней, в подземную кухню, хлебнули ее горечи.

Когда братец бывал в гимназии, она, убирая его комнату, не раз разглядывала его вещи, и скоро увидала, что в бумагах появилась тайная карточка, портрет той. Аграфену обожгло, но она сдержалась и молчала, он же, как прежде, трепетал и бледнел, ходил на каток чаще, и по тем улицам, где ничего ему не надо было.

Перед масленой однажды к вечеру налетели рои барышень, гимназисток: устраивался бал. «Стрекочут,— думала Аграфена,— все стрекочут». Как всегда,

в этом было крайнее неодобрение. Весь вечер после них Клавдия с братцем разговаривали; волновались, спорили даже, что и как снаряжать. Аграфена же хмуро ворочалась, не могла заснуть, и опять мысль о вине и горьком хмеле вставала в ее мозгу.

В день бала братец с утра был не свой: точно решалось что-то для него. Напяливал мундир, доставал белые перчатки и душился. В восемь часов заехала та, и как вошла в комнату в платье своем белеющем, с легким духом вокруг и тоненькими девичьими ножками — показалась Аграфене невестой: сияющей и ослепительной.

— Ну, хороший мой человек, покажись! — Доброе лицо тетушки Люце расцвело улыбкой.— Хорошо оделась, ангел мой, очень хорошо!

Потом она лукаво глянула на братца.

— Вот бы, Костя, тебе невесту такую. Я бы благословила.

Костя вспыхнул, повалил стул и выскочил из комнаты.

Через четверть часа они уехали. Аграфена была бледна.

Белое облако молодости, сияний, люстр приняло их. В бледнозеркальном воздухе они носились до утра среди блистающих колонн, в вальсах и нежных танцах. Робко благоухала любовь. Ее окутывали тучи тканей, прозрачных и мятущихся, и вся эта юность была одним взлетывающим существом, в золоте огня.

Аграфена же томилась в черном прозябании, без сна. Тяжкие волны били в ее мозгу; сердце источало кровь. И когда силой воли унимала она его на мгновенье, с великой силою чувствовала, что иначе быть не может; надежды ей нет. Тогда будто черную сетку накидывали на нее, душили и стягивали, ей хотелось громко кричать, криком отчаянья и безнадежности,— добиваемого зверя, которого подымают на рогатину.

Братец возвратился на рассвете туманный счастием и полупьяный им. Аграфена деревянно отворяла дверь.

— Хороша невеста-то?

Он ничего не ответил, прошел к себе.

XVIII

Темны были ночи Аграфены, черны, черны. Дикие мятели крутили на улицах, собираясь погрести под собой город и бедную жизнь; но сердце, гибнущее в любви, мрачнее снежных ночей.

— Чем меня приколдовал, ангел мой белый, голубь сизокрылый? Голубь мой, Господи, пей мою кровь, жизнь мою возьми, всю меня!

Опять туман опьянял, братец отдавался, и шли буйные ночи и дни беспросветные, на дне которых вечно одно: не любить, не любить!

Иногда, измучившись вконец, Аграфена молила Бога, чтобы растоптал он ее жизнь, взяла скорее смерть — кончилась бы мука.

Но смерть не шла, братец не имел сил рвать, уступал голосу тела пробуждающегося и днем ненавидел еще острей, еще жестче был.

А уж в доме знали о их связи — кто посмеивался, кто шипел; не было недостачи в шпионах. Сама Клавдия стала серьезней: раз Аграфена услышала кусочек фразы, которая не ей предназначалась, Клавдиной подруге, сидевшей с ней в столовой:

— Одну любит, а с другой живет.

Аграфена остро почуяла беду в этих словах; но, привыкши терпеть, не дрогнула и вошла спокойно.

Прошла неделя; стоял Великий пост. Снова, как тогда, в роковой день, Аграфена осталась одна в доме. В первый раз походило на весну. За день растопило даже лужи, розовый закат сиял в них пятнами, и опять багрянец над липами голыми сквозь сетку грачей говорил о несбыточном, пронзительном...

Вдруг звонок в прихожей. Аграфена кинулась. Он, братец. Но какой! Что с ним? Отчего губы дрожат и такой блеск, зеленый, в глазах?

— Мне тебя нужно, Аграфена.

Молча прошли к нему в комнату.

— Я давно знал, что подлец. Слышишь? Давно.

Аграфена качнулась, слабо, и взялась за ручку кровати.

— Я все время был подлецом. Я люблю не тебя... понимаешь, не тебя... Мучился... Хорошо это — тебе и ей разом в глаза смотреть? Легко? О-о...

И дальше — слова. Бессвязно, больно, а она все стояла, все смотрела, и стекленели ее глаза. Как чужая понимала она его, будто из другого государства.

А, однако, поняла. Да, душа его давно томилась одиноко, ио теперь загажена его любовь, та тоже знает, чем был он, не мог он больше так, впотьмах, сказал...

Тут упал он на подушки, на свою кровать-ложе,

рыдая мальчишескими рыданиями. Аграфена же стояла, онемелая и мертвая, и не знала, что делать.

Он вскочил.

— Вон! Уходи, не могу, вон, вон.

И опять упал. Она ушла. Это был конец.

XIX

После того дня Аграфена смолкла сразу.

Братец заболел, скоро его увезли на неделю из города отдохнуть, а она прожила еще некоторое время у госпожи Люце в оцепенении.

Стояла ранняя весна; звонили звонаря к вечерним, от тихого звона тянуло давно забытым, детским, что безвестными тропами ведет к покаянию.

Аграфена говела. Скромным вечером, купив вербочек с белыми пушками, она пошла к исповеди. Небесные отсветы, розовые пятна облаков бродили по иконостасу. Там она на коленях перед стареньким отцом Досифеем поведала свои печали, плакала и взывала к Богу, прося дать сил. Отец Досифей крестил ее крестом в светлом курении ладана и голосом ясным, давно изведавшим, дал облегчение душевных тягот.

— Возвратись к дочери, ты мать, твое сердце полно чистой любви к ребенку. Проведи оставшуюся тебе часть жизни в служении ему.

Аграфена ушла светлая, тихая. Дома лежало письмо из деревни, где писали, что там становится трудно, девочка выросла, нуждается в уходе.

Аграфена сочла это за голос Провидения, таинственно воззвавшего к ней и направляющего в ему лишь ведомый путь.

Она пошла к госпоже Люце и сообщила, что оставляет место. Потом взяла свои вербочки, погрузила в стакан с водой и снесла в комнату братца, поставив на стол. Этим молчаливо хотела она дать чистое ныне, братское и страдальческое лобзание юноше, тайно сжегшему ее сердце. Она постояла довольно долго так, около этого бедного букета, и ее простая душа в тот миг расставания таинственно обручилась с душою жениха, прихода которого она так долго, тщетно ждала.

Опустившись на колени, она поцеловала край одеяла с постели, те места пола, где ступали его ступни, перекрестила все углы комнаты и вышла. Больше в эту сладкую и бóльную комнату она не возвращалась.

Через два же дня, когда госпожа Люце нашла себе вместо нее другую, она, собрав убогий свой скарб, навсегда покинула тетю Люце: и этот дом, и этот город.

XX

Уже в вагоне третьего класса, проезжая мимо полей и дымно-зеленых весенних лесов, она поняла, что тяжелое и огромное осталось сзади; а сейчас так тихо и просто покойно на душе, как не запомнит давно. «Ну, были разные дела, а теперь ничего нет, вот под яровое пашут, грачи ходят по комьям, зеленя взошли. Хорошие зеленя, нельзя ничего сказать, хорошие».

Напротив на лавке сидела баба во вдовьем платочке, черном с белым. Аграфене показалось, что и она теперь такая же вечная вдова. С этим нечто белотраурное, ясное произошло в ее сердце.

От станции Ферязи до родной деревни считали тридцать верст. Она купила на базаре вдовий платочек, надела зипун, как богомолки, палку выломила толстую и боковой тропкой большака, священным путем странников, меряющих родимые пустыни, тронулась в путь.

О, ты, родина! О, широкие твои сени — придорожные березы, синеющие дали верст, ласковый и утолительный привет безбрежных нив! Ты, безмерная, к тебе припадает усталый и загнанный, и своих бедных сынов, бездомных Антонов-Странников ты берешь на мощную грудь, обнимаешь руками многоверстными, поишь извечной силой. Прими благословения на вечные времена, хвала тебе, Великая Мать.

Так брела Аграфена, широко ступая ногами в лаптях, упираясь рукой в длинный посох. И ее душа была раскрыта, детскими глазами глядело в нее вечносинеющее небо, и ветерок-ласкатель звенел в ушах, опьянял. В горле стояли слезы; временами они текли из глаз, падали на землю и были очень, очень соленые; а их спутниками на лице шли морщины, прокладывавшиеся по нем, как овраги.

На полпути, у взгорья, откуда были видны с детства любимые Усты, село-приход, она приотдохнула под екатерининской березой. Вынула хлеб, пожевала и слегка заснула. Не прилегла даже, а полусидя, прислонясь к зеленому откосу. На лице ее в это время была спокойная улыбка, чуть печальная.

И в тот весенний час, в полдне пути от дому, случайно задремав на большаке, она видела торжественный сон: мимо, по бледно-зеленым зеленям, мед-

ленно и нестрашно шла черная монашка. В руках у нее сосуд. Подошедши, спросила: «Ты раба Аграфена?» Она ответила: «Я». Монашка постояла, медленно голову склонила, как бы приветствуя ее, и, неся свою чашу, как она ясно помнит — полную до краев, последовала дальше. Все это длилось недолго, через мгновение она проснулась. Солнце шло уже книзу, надо было торопиться. Взяв котомку и палку, полная странным сном и ясностью великой, Аграфена зашагала далее.

XXI

Она вернулась в Кременки на закате дня. Попрежнему лежала маленькая деревня на склоне косогора, в одиу линию домов и глядела окнами за овраг, в сады арендатора. Такая же липкая и черная грязь была на улице, гусиная травка пустила свой зелененький ковер под вербами, ковыляли желтые утята, и неизвестные Аграфене дети кучкой глядели на нее, как желторотые скворцы.

А вот дом, что взрастил ее,— старуха мать к ней кинулась.

— Красавица ты моя, думала ль тебя увидеть уж? Все ждала, все глаза выплакала, тебя ждучи. Эх, состарилась, ласточка, уходилась.

— Теперь навсегда к вам, маменька,— Аграфене сладко и жутко, что ее, такую пожилую, обнимают и плачут с ней, как с ребенком.— Буду век свой с вами коротать. Что Анютка-то? Здорова ль?

А Анютку она не узнала б, если бы не здесь встретила. Только на мгновенье опять острым ножом полоснуло былое, Петр... но сейчас же ушло, и она матерински ласкала ее.

Ужинали, захлебываясь в рассказах; тут узнала она, как было трудно матери, как билась, недоимки выплачивала,— ио теперь Аграфена решила, на свои мужицкие, могучие плечи она возьмет хозяйство и выведет на путь.

После ужина долго не могла спать. В небе слабо сияли звездочки весенние, она вышла и прошла к ригам. Здесь тогда отуманивали конопельиые духи, до этих риг провожал он ее тайной тропой. Теперь они угласто вырезались на закате гасшем, что алел с прежней нежностью, обольщением. Струйка дальних журавлей тянула к западу; их клекот, утопавший в красной мгле, был похож на зов: из дней далеких, прекрасных.

Аграфене жилось дома хорошо. В давно незнаемой работе, под вольным небом, она трудилась честно; ее тело, уставая за день, казалось ей легким. Как бы сохнуть начинало оно. Загорало под солнцем, принимало прекрасную силу крестьян. Она легко вскакивала в колымажку, держала ручку сохи и босиком, полурысцой поспевала за боронами. Крылатые дни неслись вереницей, благоухающей и здоровой. Колосилась рожь, догорал красный май; июнь жег сочным пламенем, вспаивал луга поемные, куда выезжали всей деревней повозками на несколько дней; там жили, как цыгане, косили и везли все сразу. Потом сухой июль; месяц белого жара, страды, бабьей муки. В длинной белеющей рубахе, обливаясь потом, жала Аграфена свою полосу, а Анютка подсобляла, таскала жбаны кваса из деревни и потом вязала. А дальше, в летнезолотеющие вечера июльские, они навивали снопами огромные возы и мирно везли их в риги. Анютка сидела наверху, напевала; кусала колосики, внизу шагала Аграфена, ласково и с думой глядела на нее: вот виден милый ей очерк, тонкой двенадцатилетней девочки. И пройдет четыре года, пять, как мать погрузится она в муки и восторги любовные, как мать припадет к чаше — что дано будет испить ей там? Кто скажет?

Подобные мысли туманили голову Аграфены; но о себе она знала, что такая жизнь, как она ведет,— без счастия и мыслей о нем, суровая рабочая жизнь женщины, отдающей себя,— есть наилучшая, честнейшая и самая ясная жизнь, как ни глубока печаль, коренящаяся в темных ее истоках.

XXII

В звонкий сентябрьский день, когда дымчаты дали, опалово-лиловое разливается в воздухе и кротки поля сжатые, Аграфена вела Анютку в усадьбу: старая барыня вызвалась отправить ее в город в школу вместе со своей воспитанницей. Ночью Анюта плакала, и сейчас покрасневшие ее глаза были овеяны ветром, на них набегала слеза.

Аграфене странным казалось подходить к той усадьбе, где когда-то, так давно, протекала ее любовь. Все поветшало; но бессмертно пахло осенью, амбарами, ссыпаемым зерном, молотьбой; барыня встретила их у мучных закромов, в черной кофте, с всегдашне спокойным и умным лицом. Аграфена поклонилась.

— Здравствуйте, вот девочку привела.

— Ну и хорошо.

Анютка стеснялась немного, ио барыня опытиоласковой рукой погладила ее, ободрила.

— Вот и хорошо. Кончит школу — место получит, в учительницы или еще куда.

Аграфена провела в имении с час; встречалась со знакомыми рабочими, признала даже Дамку, обратившуюся из щенка в старую, обильную сосками бабушку. Чувство тишины и тонкой печали, бледной и бесплотной, стояло в ее душе. Жаль было Анюту, она нежно ее целовала и, накоиец, сдав вериой женщине Саше, поблагодарив барыню, тронулась.

Чуть видные, молочно-пепельные облачка тянули в небе; гроздья рябин краснели, внизу лежал пруд: кристальиый, глубокий,— зеркало. У его берега ие могла Аграфеиа ие остановиться, и, смотря на прозрачные отраженья в нем — деревьев, облаков, иа свой зыбко-облегчеиный облик, глянувший из глубины, прожила она мгновения бессознательной мудрости, когда вся жизнь взглянула в ответ оттуда, чуть заволокиутая легкой слезой, но также обожествленная и просиянная. Ее дни, скорби, утраты, та печаль расставания, что глодала ее сейчас, на мгновение были прииняты в светлое лоио. И там преобразились.

Помолчав, вздохнув, улыбнувшись, она продолжала путь. Когда подходила к Кременкам, розовая заря разлеглась на западе; от иее веяло тоикой, скорбной осенью.

XXIII

Наступила зима, с ией деревия стала строже и моиотоиней. Мать много болела, Аграфеие одиой приходилось нести бремя тягот. Это ее закаляло. Волосы ее седели, ио нечто морозиое и суховатое в ней появлялось. Будто становилась она прозрачнее, всегдашний внутренний траур выводил иа лицо ясиые морщииы, спокойную приветливость.

По Аиюте она скучала, хотя знала, что ей живется не плохо; получала от нее иногда письма, которые читать было большой радостью. Но приходилось искать чужой помощи в чтеиии — «пусть, пусть свету глотиет, думала, не то, что мы, темные, будет».

А сама работала. Зима вышла тяжелая. Уже в ноябре лег сиег, и к святкам Кремеики были занесены по уши. На улице ухабы изрыли дорогу так, что у самой Аграфениной избы была крутая яма; все хаты

ощетинились соломой, которую набивали от крыши до полу, прорезая в ней для окон узкие люки; через них бедно лился внутрь свет. И долгие ночи проходили в завываниях мятелей или грозном блистании звезд на небе, чуть не трескавшемся от морозу. Большие морозы выпали на тот год; бродячие странники, число которых увеличилось заметно, замерзали на дорогах. Погибло шестеро детей из Осовки, шедших за три версты в школу.

Нередко по ночам Аграфене не спалось. Много дум приходило ей в голову, и характер их бывал серьезен. С большою силою она убеждалась, что эта часть ее жизни есть и последняя, но сколько ни думала о Боге, смерти и будущей жизни, никогда не могла додуматься до ясного. Иногда выходила на мороз, и зрелище синих, пылающих светил и глубокой порфиры неба, священных костров-созвездий, говорило о великом и ангелическом. Чувство твердости, вечности наполняло ее.

Вспоминала она также свой дорожный сон; образ темной монахини, встретившейся на большаке, принял в ее сознании отблеск апокалипсиса.

Главной же точкой, как и в прежнее время, все была Анюта, дорогая и единая дочь, светлое упование стареющей жизни. О ней думала она еще чаще, нежели о смерти. Ее судьба была неизвестна и минутами радовала, минутами пугала.

XXIV

Так прожила она — ровно и холодно — пять лет. Успела за это время схоронить мать, видела, как безбрежная река уносит одних, старит других, сводит на брак юные пары, поселяет страдания в крепкосжившихся, увлекает с родины, привлекает давних бобылей и скитальцев,— и в своем безмерном ходе не знает ни границ, ни времен, ни жалости, ни любви, ни даже, как казалось иногда, и вообще какого-нибудь смысла.

Анюта тем временем вернулась милой девушкой и по хлопотам барыни получила место — сиделицей винной лавки в деревне Гайтрово, в пяти верстах.

XXV

Аграфена оставила свой дом и поселилась у ней. Смотрела за хозяйством, была как бы престарелой ключницей-матерью.

С Анютой жила подруга — Маня. Обе служили. Обе носили похожне голубенькне платьица, выдавали красноносым мужикам водку, хохотали весело, а потом Аграфена степенно поила нх чаем из пузатых чашек: сннх с золотыми крестами. На святках ездили по очередн в гости, летом гуляли с учителем, пели во ржах «Укажи мне такую обитель». «Хохотушки, молоды,— Аграфена улыбалась.— Ну, дай им Бог, дай Бог». Но этот учитель сразу стал ей неприятен.

«Долгогрнвый,— решнла,— н что патлы жнрные — нехорошо».

— Мамаша, знаете, Иван Васильевич замечательно образованный человек. Он читал даже Каутского.

«Чнтал, читал,— Аграфена соображала свое, и мнення не меняла.— Хоть бы Господа Бога».

Девушки над ней смеялись весело и любовно; Анюта прнбавляла:

— У меня мать консервативного образа мыслей. А он демократ.

Друг Каутского мог говорить разные вещи н бывал у них часто. Аграфена находила — чересчур часто. Анюта сначала хихикала, потом стала тише и серьезней, краснела н по ночам не спала долго — ворочалась, вздыхала. Аграфена соображала все это и тоже отмалчнвалась. Но тревога подымалась в ней. Перед утром просыпалась она иногда, отирала пот со лба и внутренно крестилась; дай Бог Анюте, дай Бог.

XXVI

Хорошо в светлом лете ласточкам носиться над полямн, ржам шуметь сухим шорохом и глубокие думы думать тысячью колосьев; так же счастливы темносиние васильки в хлебах. Так же девичье сердце овеяно вечным и сладким безумием любви. Сплетя венок из васильков н скромной кашки душистой, девушка ходит тайными тропами среди ржей, обнимая его, и в ее глазах — Анютнных — цвет анютиных глазок; давно выцвело ее голубое прежде платьице, одевая сероснневатым тоном. Ее жнзнь раскрыта перед ней как великая небесная книга; за руку с милым, с другом Каутского, она убежала бы на край света. Но лучше — сбежать с зеленого откоса просто к иве, пруду серебряному н туда бросать венок и хохотать...

Венок тонет. Почему? О, думать об этом некогда, столько еще счастья впереди.

Так идет в полях, отражая вечные образы любвн,

любовь дочери — там почти, где много лет назад загадочно и обольстительно любила мать. А мать все это видит старою душою — как мелькает Анютин венок васильковый во ржах, как всегдашняя Офелия сидит у пруда; и матери кажется, что это ожили ее года, пришла далекая ее весна, и многолетние глаза вбирают со слезой — прощальный свет полей, солнца, которых скоро не будет.

XXVII

«Ты жила свои дни, девушка Анна, в любви; это были твои ранние дни — и опьяняющие. Но они прошли. Великое предначертанье повернуло от тебя лицо любви, любивший тебя полюбил другую. Это горе упало на твою детскую душу огненным попалением; а уже ты носила под сердцем росток нового человека. И не смогла снести этого. Кидалась к старой матери. Мать прокляла принесшего тебе несчастие; она ласкала тебя и утешала и на бледной заре сторожила твой сон. Ты спала бредя. Мать же в этих твоих стенаниях узнавала свою прежнюю муку и черные дни; острые ножи резали ее сердце. Так ты лежала сутки, в то время как твоя подруга уехала с человеком, любившим тебя ранее, и обручилась с ним кольцами».

«На вторые сутки, также перед зарей, мать задремала; проснувшись слегка, она увидела у твоего изголовья черную женщину в одеянии монашенки, в руках у которой был сосуд с темной влагой. И ты, Анна, припала к этому сосуду, жадно и долго пила. Он был опорожнен. Тогда монашенка медленно отошла и сказала матери: «Подаю тебе знак». Мать снова заснула. Ты же встала и прошла в предутренней росе к серебряному пруду,— к той ветле, где сидела с ним. Там, подойдя, ты бросилась в светлую водную глубину. Она приняла тебя, и ты погибла. Мать же продолжала дремать в странном сне, как бы зачарованная. Когда проснулась, то сразу все поняла и ринулась искать тебя. Нашла твой белый платочек у омута и остановилась как вкопанная».

XXVIII

Любовь и смерть Анюты были для Аграфены как бы сном. Но и протирая глаза не могла она не убедиться, что все это на самом деле. Мужики сбежа-

лись, с лодки достали багром труп Анюты, уже слегка повитый водорослью. Прибежал батюшка; охал, утешал, но Аграфена не слушала. И не могла плакать. То, что наполняло ее, не равнялось слезам, а стояло за горизонтом человеческих слов и чувств. Она молча склонилась к умершей.

Два дня лежало тело Анюты у матери. Она сидела с ним рядом, молчала и не пускала никого. Ей казалось, что сейчас она знает нечто, чего сказать никому нельзя и чего все равно никто не поймет. Бледный же взор покойницы, быть может, понимает. Так сидя, она смотрела, как несколько дней назад, когда Анюта была еще больна. Тайна их немого разговора осталась между ними.

Потом надо было хоронить. Священник отказался. Аграфена отнеслась к этому равнодушно. На краю кладбища, за оградой, вырыли могилу.

Туда, без креста сверху, легла Анюта. Мать собственными руками засыпала над ней землю, вырубила из бедных берез два стволика, в белой естественной одежде, сбила крестом и водрузила. На него повесила малый венок. Затем долго ходила, ища дубовых ветвей. Нашедши, прибавила туда рябины и повесила также. Рябина алела вечной кровью на зелени дуба. Это нравилось Аграфене. И еще нравилось — старый святой обычай — насыпать зерен скромных на гребень могилы и давать ими пищу птенцам. А самой — сидеть поодаль и видеть, как вечные ветры овевают это место, как заходит солнце и прощально золотит дубовый венок — лавры смерти.

Так испила Аграфена последнюю чашу жизни. После долгих лет, мук любви, ревности, рождения и материнства, страха смерти и печали прохождения она узнала скорбь разлуки. Но ее душа, опрозрачневшая и закалившаяся, не была наклонна к отчаянию. Она была почти готова к последнему очищению; одна часть ее присутствовала уже не здесь.

XXIX

Было утро. Тайное, тихое. Солнце медленно вышло к миру и сквозь бедные облака одело землю в светло-перловые облачения. Они реяли над полями бледно-зелеными, бродили мягкими пятнами.

Аграфена, возвращаясь в Кременки, все не могла вспомнить, где, когда было то же. И вдруг на повороте дороги, сразу волшебным манием раскрылась перед ней

ее жизнь, и предстала светлая заря, семнадцатилетняя, когда на этом месте впервые увидала она синеглазого посетителя ее жизни. Сейчас, немолодой женщиной, подавленной тягостями, она вдруг затрепетала, как от таинственного тока, пришедшего к ней из тех дальних глубин. Волнение ее росло. Задыхаясь, Аграфена остановилась: вдруг показалось ей, что земля под ногами легче, все легче, волны божественного, ослепляющего нисходят навстречу.

Тогда она пала на колени, и внутреннее видение осенило ей душу; вся жизнь явилась ей в одном мгновении; все любви и муки понялись однинокими ручьями, сразу впавшими в безмерный и божественный океан любви и данными ей как таинственные прообразы Любви единой и вечной. Из-за знакомых, дорогих когда-то лиц, к душам которых ее душа была прилеплена земной основой, восходя небесной к небу, выплыло новое, потопляющее всех единым светом Лицо, принимающее в сверхчеловеческое лоно.

«Господи, Господи, ты явился мне, ты все у меня взял, вот я нищая перед тобой, но я познала тебя в великой твоей силе, Господи, я вижу твою славу, Господи, возьми меня, я твоя, я тебя люблю».

В эти минуты она познала свою жизнь до последнего изгиба, приняла ее и сознала, что на той высоте, куда взнесло ее сейчас божественное дуновение, жить она больше не может.

XXX

Весь тот день, весь вечер провела Аграфена молча. Строго, торжественно было в ее душе.

Она умылась, одела чистую белую рубашку и легла на ночь, скрестив руки. Теперь она знала все и ждала.

Пред зарей закричали петухи. Стало сереть, серебриться, дымно-розоватые пятна выступили над садами. Улица была тиха. Спали собаки, куры; пыль в серебре росы лежала на улице толстым слоем.

Тогда сквозь утреннее безмолвие неспавшая Аграфена услыхала приближение. Повернув голову, так что стал виден угол переулка, она заметила, что, не подымая уличной пыли и не будя собак, под молчащими ветлами к ней идет черная фигура. Она ее узнала. И еще ступенью ровнее стало в ее душе. Монахиня приближалась. В руках держала сосуд. «Здравствуй, раба Аграфена».— «Здравствуй».— «Готова ли?» — «Готова». Монахиня ей поклонилась. «Вкуси». Аграфе-

на медленно приподнялась, припала губами к чаше и долго пила. «Слышишь ли мою сладость? Идешь ли?» — «Слышу,— ответил наполовину не ее голос.— Иду».

Монахиня подала ей руку, она взяла ее — медленно-медленно затянулось все туманными завесами, как бы сменялись великие картины, бренные на вечные, и чей-то голос сказал: «Вот идет та, которую называли бедным именем Аграфены, вкусить причастия вечной жизни».

Это были последние слова.

ГОЛУБАЯ ЗВЕЗДА

I

В комнате Христофорова, в мансарде старого деревянного дома на Молчановке, было полусветло — теми майскими сумерками, что наполняют жилище розовым отсветом зари, зеленоватым рефлексом распустившегося тополя и дают прозрачную мглу, называемую весной.

Перед зеркалом, запотевшим слегка от самовара, Христофоров оправлял галстук. Он был уже в сюртучке, довольно поношенном — собирался выходить. Голубоватые глаза глядели на него, порядочная шевелюра, висячие усы над мягкой бородкой. Он поправил узел галстука, завязывать которого не умел, улыбнулся и подумал: «Чем не жених?» Он даже ус немного подкрутил.

Затем взял ветку цветущей черемухи — она лежала на столе,— понюхал. Глаза его сразу расширились, приняли странное, как бы отсутствующее выражение. Он вздохнул, надел шляпу, пальто, и по скрипучей лесенке спустился вниз. Пересек большой двор — здесь на травке играли дети, у каретного кучер запрягал пролетку,— быстрым, легким шагом зашагал к Никитскому бульвару.

В Москве сезон кончался. Христофоров шел на небольшой прощальный вечер в пользу русских художников в Париже; его устраивала московская барыня из тех, чьи доходы обильны, автомобили быстры, туалеты неплохи. Христофоров мало знал ее. Лишь недавно встретил у знакомых своих, Вернадских; и тоже получил приглашение.

Дом Колесниковой ничем особо не выделялся —

двухэтажный особняк в переулке, с лакеем в белых перчатках, с чучелом тигра на повороте лестницы; лестница хороша тем, что рядом с перилами шла кайма живых цветов в ящиках и кадках. Колесникова встретила его в зале, где люстры уже сияли, были расставлены стулья и стояла эстрада для чтецов, музыкантов. Хозяйка — дама худая, угловатая и не вполне в себе уверенная; ей хотелось, чтобы все было «как следует», но неизвестным представлялось, удастся ли это. И, пожалуй, ее осудит острословка Сима, миллионерша первоклассная и меценатка.

— Ах, вы сюда, пожалуйста,— сказала она Христофорову, указывая на гостиную, за эстрадой.— Пойдемте, там и ваши знакомые есть...

Колесникова провела его в гостиную, где густо стояла мягкая мебель, без толку висели картины, горело много света и сидели нарядные дамы. Христофоров слегка смутился. Ему именно показалось, что никого он тут не знает, но он ошибался: сделав общий поклон, тотчас заметил он в углу Вернадских — Машуру и Наталью Григорьевну. Наталья Григорьевна, представительная дама, седая, разговаривала с высокой брюнеткой в большом декольте. Машура молчала. Она была в белом с красной розой на груди — тоненькая, с не совсем правильным, остроугольным лицом; почти черные глаза ее блестели, казались огромными.

Увидев Христофорова, она улыбнулась. Наталья Григорьевна подняла на него свои светлые, несколько выцветшие глаза. Он подошел к ним.

— А я думала,— сказала она, протягивая руку,— что вы не соберетесь. Значит, и вы пустились в свет. С вашим-то затворничеством туда же.

Она засмеялась.

— Вы знаете,— обратилась она к соседке,— Алексей Петрович одно время проповедовал полное удаление от мира, как бы сказать, полумонашеское состояние.

Соседка взглянула на него и холодновато ответила:

— Вот как!

Их познакомили. Она называлась Анна Дмитриевна. Христофоров сел на край кресла и сказал:

— Одно время действительно я жил очень замкнуто. Но теперь — нет. Вы знаете, Наталья Григорьевна, эту весну я, напротив, даже много выезжал.

Анна Дмитриевна вдруг засмеялась.

— Отчего вы так странно говорите? Точно...— она продолжала смеяться.— Простите, но мне показалось... как-то по-детски...

Христофоров слегка покраснел.

— Я не знаю,— сказал он и обвел всех глазами.— Я, может быть... не совсем так выражаюсь.

— Не понимаю, как это надо особенно выражаться...— Машура тоже вспыхнула. Глаза ее блеснули.

Анна Дмитриевна слегка откинулась на кресле.

— Виновата. Кажется, я просто сболтнула.

— Алексей Петрович говорит,— сказала Машура, сильно покраснев,— так, как нужно, то есть какой он есть. Его учить незачем.

Наталья Григорьевна засмеялась.

— Вот и неожиданно разговор принял воинственный характер.

Она была в черном платье, с большим бантом у подбородка. В ее седых, хорошо уложенных волосах, в очках, в дорогом кольце, духах — ощущалось прочное, то, что называется distinguée. Глядя на нее, можно было почувствовать, что она прожила жизнь длинную и чистую, где не было ни ошибок, ни падений, но работа, долг, культура. Она много переводила с английского. Писала о литературе. Дружила с Анатолем Франсом.

Разговор пресекся. Вечер же начался. Певица пела. Беллетрист с профилем шахматного коня, во фраке, скучно бормотал свою меланхолическую вещь. Приехал актер, знаменитый голосом, фигурой и фраком. Он ловко заложил руки в карманы, слегка дрыгнул ногой, чтоб поправить складку на Делосовых брюках, и, опершись на камин, сразу почувствовал, что все в порядке, все его знают и любят.

Христофоров наклонился к Машуре и спросил:

— Я не вижу Антона. Его нет здесь?

Машура несколько закусила губу:

— И не будет.

Актер вышел, читал Блока. В дверь виднелась его сухая, крепкая спина, светлая шевелюра, а дальше, в зрительном зале все полно было сиянием люстр, белели туалеты дам, отсвечивало золото канделябр и кресел. Когда начали аплодировать, Машура сказала:

— Вы же знаете его. Вдруг рассердился, сказал, что к таким, как Колесникова, не ходят, одним словом, как всегда.

Она вздохнула.

— Я ответила, что со мной так нельзя разговаривать. Он ушел, не простился. А я, конечно, отправилась. Да,— прибавила она и улыбнулась,— я совершила еще маленькое преступление: занесла вам ветку черемухи.

Христофоров засмеялся и чуть смутился.

— Я очень рад, что вы...

— Какой у вас странный домик! Мне отворила квартирная хозяйка, старушка старомодная, в шали, там в комнатах киоты, лампадки, половички по крашеному полу. Когда я подымалась к вам по лесенке, на перилах сидел кот... Правда, похоже на келью.

— Я люблю тихие места. Да потом, это мне и по средствам. Ведь вот тут,— он с улыбкой оглянулся,— здесь, вероятно, человек, снимающий в передней пальто, богаче меня.

Машура взглянула на него ласковыми, темными глазами.

— Было бы очень странно, если б вы были богаты.

Мимо них прошла Колесникова, обмахиваясь веером.

Она благодарила знаменитого актера, слегка наклоняясь к нему угловатой, худой фигурой.

— Если б Антон узнал, что я у вас была,— продолжала Машура,— он бы меня знаете как назвал...

Она опять покраснела от недовольства.

Христофоров смотрел куда-то вдаль, в одну точку. Голубые глаза его расширились.

— Я иногда гляжу на Антона,— сказал он,— и думаю: он не скоро угомонится.

Машура вздохнула.

Начался последний номер — мелодекламация,— то, что любят в провинции. Виолончель тянула свои, якобы поэтические, фиоритуры; актриса в тысячном белом платье *бросала* в публику фразы, затем изображала нежность, умиление, вновь рокотала. Все это имело успех.

После актрисы публика стала разъезжаться. Свои остались. Свои делились на две части: участники и знакомые. Их пригласили ужинать. В один конец сажали актеров, писателей, лиц с *именами*. Там и вино стояло получше. Родственники и знакомые занимали другой фланг. Христофоров, Вернадские и Анна Дмитриевна оказались в середине, на водоразделе титулованных и разночинцев. Христофоров присматривался с любопытством. Когда нынче он говорил, что стал выезжать, это было верно лишь отчасти, в сравнении с прежней его жизнью — в деревне, в тихих провинциальных городах, где приходилось ему работать и в земстве, и давать уроки, жить вообще жизнью более чем скромной. Часть же этой зимы он провел в Москве, получив временную работу. И видел народа больше; но совсем все же не знал того круга, который здесь собирался.

Против него сидела Анна Дмитриевна. С ней рядом офицер генерального штаба, которого он заметил еще на концерте: человек высокий, сухощавый, стриженный бобриком, с нездоровым цветом лица и темными, без блеска глазами. И он, и Анна Дмитриевна много пили. Она смеялась. Он же был сдержан. Вино, казалось, на него не действовало.

Христофоров спросил о нем Наталью Григорьевну. Та поморщилась.

— Говорят, из хорошей семьи, и вначале подавал надежды. Но потом какая-то темная история по службе... Его фамилия Никодимов. Нет, не моего романа. Ведет предосудительную жизнь. Настоящий...— она засмеялась.— Un dépravé. Не понимаю Анну Дмитриевну.

И видимо не желая продолжать, она свела разговор на то, о чем порядочные люди в Москве говорят каждый апрель и каждый май: кто куда едет на лето. Христофоров узнал, что нынче они будут под Звенигородом, сняли имение, что там красиво, тихо, хотя есть и соседи — Анна Дмитриевна, например. Тут же она добавила, что есть свободная комната: будет отлично, если он к ним приедет — лучше бы надолго.

Христофоров благодарил. О лете совсем он не думал, считал, что само как-нибудь выйдет, как и все почти в жизни. Но сейчас ему было приятно, что именно Вернадские его зовут. Много раз уже, в его бродяжной, нескрепленной жизни, приходилось ему гостить и жить у разных людей. Он знал, как берут свой чемоданчик и являются под благосклонный кров. Но кров Вернадских был особенно приятен.

Било два, когда Христофоров выходил из подъезда. Вернадские уже уехали. Вслед за ним выходила Анна Дмитриевна, Никодимов и еще целая компания. Автомобиль ждал их. Ехали за город, встречать рассвет. Когда Христофоров шагал уже по переулку, машина, тяжело шурша, обогнала его.

— Прощайте! — крикнула Анна Дмитриевна.— Дитя, не сердитесь!

Он снял шляпу и помахал. Автомобиль умчался. Христофоров шел с непокрытой головой. Ночь была синяя, прозрачная и теплая. На востоке светлело. Там виднелась крупная, играющая звезда. Христофоров поднял голову. И тотчас увидел голубую Вегу, прямо над головой. Он не удивился. Он знал, что стоит ему поднять голову, и Вега будет над ним. Он долго шел, всматриваясь в нее, не надевая шляпы.

II

В дни начала июня дом Вернадских принял тот вид, какой имеют многие дома с наступлением лета: мебель в чехлах, гардины убраны, портреты, картины на стенах затянуты кисеей. Это значит, что Машура с Натальей Григорьевной после долгой, сложной уборки выехали наконец на Брестский вокзал и в купе первого класса, сдав многочисленный багаж, катят мимо разных Кунцевых и Филей к станции, откуда извозчичья коляска отвезет их в новое летнее пристанище.

Дорога на лошадях приятна и разнообразна; небогатые нивы, леса, иногда хвойные; зажиточные села с хорошими избами; много шоссе; есть старинные, знаменитые подмосковные с парками и прудами — к ним ведут иногда березовые аллеи: в селах новые школы, столбы на перекрестках с надписями о дорогах — те мелочи, что говорят о некой просвещенности.

Вечерело. Из-за поворота в лесу вдруг открылся вид на Москва-реку, луга и далекий Звенигород. В густой зелени горела золотая глава монастыря. Закатным светом, легкой, голубеющей дымкой был одет пейзаж. Коляска взяла влево, песчаным берегом; лошади перешли в шаг. Подплывал паром. Кулик летел над водой.

— Здесь очень хорошо,— сказала Наталья Григорьевна.— Мне очень нравится.

— Да.

Машура не была нынче разговорчива. Она несколько устала. На побледневшем лице глаза казались еще темнее.

— Обрати внимание на эти луга. Прямо с нашей террасы откроется вид на много верст. И потом, здесь чрезвычайно здоровый климат.

Наталью Григорьевну, приемную свою мать, Машура очень уважала. Тут была и любовь: но с детства любовь поставили так, что бурно выражаться, в нежности, она не могла. И иногда Машуре хотелось, как и сейчас, чтобы мать была немного менее основательна, спокойна. «Свежий воздух, климат, полезно»,— слова мелькали в ее мозгу, ничего не говоря. Ей все равно было, полезна жизнь здесь или нет.

На заре въехали в старую усадьбу, бывшую вотчину Годуновых — уже смеркалось. Огромный деревянный дом казался мрачным; мебели было мало. В зале с поскрипывавшим паркетом, за круглым столом они ужинали при свечах. Свежие редиски с маслом казались вкусны; на свечи летели ночные бабочки, в углах

было полутемно. Заря из темно-красной переходила в холодноватую мглу. Будто жутко стало Машуре — нежилое, ветхое надо обогреть, прежде чем станет своим. Все же, поужинав, она спустилась в сад. Росла тут трава, кое-где цветы, какие кому вздумается. Такие же и дорожки: будто их никто и ие делал, пролегли они, как Бог иа душу положит. За садом канава в березах, а там луга. Машура вышла в иих. Было росисто. Над Москвой-рекой стоял туман, деревня смутно темнела. Там наигрывали на гармонике. Машура не знала, хорошо ей сейчас или плохо. Новое место, новые луга, усадьба, неизвестные ели высятся там, правее. Завтра взойдет солице, и иовые места откроют новую свою, дневную душу.

«Вот Алексей Петрович сразу понял бы тут все,— вдруг подумала оиа.— Почему Алексей Петрович? А про него сказал один знакомый: в нем есть священный идиотизм,— она засмеялась.— Ну, это пустяки! Вовсе не идиотизм, а что ои немного фантастический, это верно».

В доме два окна светились. Одно распахнулось, и голос Натальи Григорьевны ие очень громко, ио как раз, чтобы слышно было, крикнул:

— Машура! Пора домой.

— Иду-у!

С детства Машура зиала, что оиа Наталье Григорьевне подчиняется. С детства порядок и серьезность внушались ей, хоть ие всегда успешно.

Прибредя домой, она прошла в комиату матери. Наталья Григорьевна, в чепце, в очках и безукоризненном белье лежала в постели и читала роман друга своего, Франса. Машура поцеловала ей руку.

— Ты все бродишь,— сказала Наталья Григорьевна,— пора бы и ложиться. Завтра тебя не подымешь.

— Нет, милая мама, подымете, когда понадобится.

— Мне не понадобится, ио для твоей же пользы.

Машура раздевалась в комнате рядом. Уже заплетя косы, дунув на свечу, чтобы ложиться, она спросила из темноты:

— Мама, а тут не страшно?

Не отрываясь от чтения, Наталья Григорьевна ответила:

— Нет.

Машура перекрестилась, натянула одеяло на худенькое плечо и опять спросила:

— Антон ие говорил, когда приедет?

— Разве можно придавать значеиие его словам? Сказал, что не скоро.

— И очень буду рада,— холодно ответила Машура.

«Конечно,— думала Наталья Григорьевна уже в темноте,— эти взаимные qui pro quo и пертурбации необходимы. Все же характер Антона»... Она вздохнула и вспомнила об Анатоле Франсе. Вот где культура, порядок, уравновешенность! Тут ей представилось, что трудное слово *культура* можно по-новому определить. Старческой рукой зажгла она вновь свечу и, надев очки, записала в книжечку афоризмов и наблюдений: «Культура есть стремление к гармонии. Культура — это порядок». Записью она осталась довольна и спокойно отошла ко снам.

Хотя с вечера голова немного ныла, Машура хорошо спала, встала в добром настроении. Надела белую матерчатую шляпу, добыла лопату, скребок и к запущенному саду стала применять то, что ночью мать назвала культурой. Чистила дорожки, вскопала клумбу. Наталья Григорьевна поощряла такие дела,— находя, что общение с землей полезно для молодежи: укрепляет тело, облагораживает душу.

Сама она занялась домом; надо было и его подтянуть. Наталья Григорьевна не хлопотала и не суетилась; она действовала. Под ее умелым водительством переставили мебель; что нужно — добавили: появились скатерти на столах, на окнах портьеры, букеты сирени в вазах. Было разобрано белье. Платье развесили по шкафам.

Перед завтраком, когда меньше всего о нем думали, вкатил на велосипеде Антон. Он был в каскетке, поношенной летней паре, запыленный. Пот катился со лба. Поставив велосипед, он снял фуражку и отер разгоряченное лицо. Антон несколько сутулился, но стоял твердо на коротковатых ногах. Он был некрасив — с широким лбом, небольшими глазами, сидевшими глубоко; не украшал его и нечистый цвет лица — что-то непородистое, тяжеловатой выделки в нем чувствовалось. Отец Антона был дьячок.

— Насилу вас нашел,— сказал он Наталье Григорьевне, здороваясь.— А, и Машура занялась хозяйством. Дело.

Машура подошла и просто ему улыбнулась.

— Как видишь.

— А я, извини меня, ведь нынче тебя и не ждала,— сказала Наталья Григорьевна.

— Имели полное основание. Я не хотел приезжать, но потом передумал...— Он густо покраснел и как будто на себя рассердился.— Да, а потом приехал.

Позвали завтракать. Завтрак был умеренный, свежий и вегетарианский, во вкусе дома.

— А,— сказал Антон, улыбнувшись,— у вас все то же, овощи, спасение душ...

— Нет, не спасение,— ответила Наталья Григорьевна,— а просто нахожу это здоровым.

Антон давно бывал у них, еще вихрастым гимназистом, когда вместе с Машурой состоял старостой гимназического клуба. Уже тогда он был серьезен, головаст, давал уроки, помогал матери и стремился на физико-математический факультет. Но и теперь, считаясь женихом Машуры, изучая интегральное исчисление, целиком не мог привыкнуть к дому Вернадских. Что-то его удерживало. Он уважал Наталью Григорьевну, но ненавидел Анатоля Франса, бельевые шкафы в их доме, дворню, сундуки и порядок, олицетворением которого считал хозяйку. Кроме того, ему казалось, что он плебей, parvénu. Он, вероятно, не прощал Наталье Григорьевне ее барства.

И теперь, когда она говорила о профессорах, университете, его будущей работе, ему казалось, что это все — приличия, чтобы его занять и выказать внимание.

После завтрака Антон прилег в гостиной на диване. Обычные, очень частые мысли проходили в его мозгу. Казалось, что его не ценят; Наталья Григорьевна недовольна, что он близок к их дому; даже Машура его не понимает. Что именно в нем понимать — он затруднился бы сказать, но что он существо особенное — в этом Антон был уверен.

Однако он заснул самым крепким и негениальным образом и проспал часа два. Проснувшись, зевнул и встал. В доме было тихо — чувствовалось, что никого нет, пахло сиренью от букетов, чуть навевал ветерок из балконной двери; шмель гудел; в бледных, перламутровых облаках стояло солнце — неяркое и невысокое. Антон вдруг улыбнулся, сам не зная чему. Захотелось видеть Машуру; он не знал, где она; просто вышел в сад, взял направо, прыгнул через канаву и направился к недалекому лесу. Пахло лугами; откуда-то доносились голоса; будто телега поскрипывала. У опушки леса виднелось белое платье.

Лес был — ельник; тропинка выводила к обрыву над речкой, притоком Москвы-реки. Песчаный скат шел к воде, в нем стрижи устраивали ямки и торчали корни сосны. Машура босиком, слегка подоткнув юбку, стояла по щиколотку в воде и подымала камни. Иногда рак оказывался там. Она хватала его под мышки и бросала в лукошко с крапивой.

Антон сел на обрыв, спустив вниз ноги.

— Ты устраиваешь деревенскую идиллию?

Машура подняла на него лицо, трепещущее оживлением, весело ответила:

— Раков ловлю.

— А я заснул, проснулся и не могу понять, где я.

— Ложись опять. Ты утром был хмурый. А сейчас какой?

Антон усмехнулся.

— Сейчас я, кажется, приличен.

Он лег недалеко от обрыва на мелкие, сухие хвои. Справа даль голубела, шли луга, виднелся Звенигород. Слева темной чащей стояли елки на пустынной, иглами усеянной земле. Там было мрачно. С лугов же тянуло теплом, благоуханием, какое-то благорастворение было в этом месте. Внизу видел Антон излучину речки, с настоянной, темно-коричневой водой, где голыми, покрасневшими ногами действовала Машура. Ему было очень покойно тут.

Позанявшись своей забавой, пришла Машура, натянула чулки, села рядом. Он положил голову ей на колени. Ее руки пахли водой, раками, водорослями. Она гладила ему волосы и говорила:

— Хорошо, что сейчас ты милый, и ты правда мой милый, такой Антон, как надо быть. Настоящий мой жених. А когда не настоящий, я тоже знаю. И не люблю.

Антон слегка фукнул.

— Белым-то нас всякий полюбит. Ты полюби черным.

— Что ж, и черным...

— Всяким?

— Всяким...

Машура задумалась, по ее худому, нервному лицу прошло как бы напряжение.

— Но и я не все понимаю, иногда мне кажется, что между нами, мною и тобой, уже роковое, судьбой назначенное, как знаю я тебя почти ребенком. А иногда думаю: навсегда ли?

— Скажи,— спросил он вдруг,— правда, что этот... Христофоров к вам приедет?

— Да, хотел. Почему ты спрашиваешь?

— Нет, ничего. Просто вспомнил.

Он взял Машурину руку, поцеловал в ладонь и долго рассматривал.

— Мне всегда нравилась твоя рука. Пальцы длинные, тонкие.

Он вздохнул и сказал уже несколько иным тоном:

— Белая кость!

Машура опять задумалась.

— А что, если я очень легкомысленная?— вдруг спросила она.— Ты меня невестой считаешь...

Он вспыхнул.

— И перестал бы считать, если б...

Он не договорил.

Некоторое время они молчали. Что-то тяжелое переливалось в Антоне. Видимо, он себя сдерживал.

— Удивляюсь,— сказал он наконец,— если ты меня действительно любишь, почему же такие мысли...

Тут как будто Машура смутилась.

— Ах, это, конечно, чепуху я говорю.

Когда они шли домой, Антон вдруг сказал ей, просто и глухо:

— А я думаю, что один человек уже тебе нравится.

Машура высунула ему кончик языка, фыркнула и, подобрав платье, помчалась к саду.

Дома ждал самовар, чай с очень белыми сливками, Наталья Григорьевна. А в сумерках еще малое событие произошло в усадьбе, бывшей вотчине Годунова: на паре лошадей, в тележке, с мужиком на козлах подкатил голубоглазый Христофоров. Он был в широкополой шляпе, синей рубашке, на которую надел ветхое летнее пальтецо; усы свешивались вниз, глаза глядели обычно — приветливо, по-детски. Назвав мужика «вы, кучер», заплатив, Христофоров, слегка запыленный, с небольшим чемоданчиком, другом бродячей жизни, предстал Антону, Машуре и Наталье Григорьевне.

III

Христофоров, как ему и полагалось, занял низенький мезонин. Здесь быстро он освоился, вынул вещи, разложил книжки; цветы в вазочке появились на столе — и нечто от Христофорова сразу определилось в его жилище. Было оно в этих цветах, в снимке боттичеллиевской Весны на стене, в книгах, чемоданчике, в штиблетах на ластике, выглядывавших из угла комнаты.

В жизнь дома он вошел удобной частью; был незаметен, нешумлив, неутомляющ; гулял иногда с Машурой и Антоном. С Натальей Григорьевной мог поговорить о Шатобриане.

Антон чувствовал себя с ним неровно. Что-то в Христофорове ему не нравилось, почти раздражало. Не

любя кого-нибудь, он обычно резко задирал. Задирать Христофорова было нелегко, за полной его нечувствительностью. Быть добрым и простым — тоже не выходило. Антона злило спокойствие, как бы безоблачность этого человека.

— Я знаю,— говорил он Машуре раздраженно,— что он у червяка попросит извинения, если наступит. Люди, которые всегда, во всем правы! Невыносимо!

Машура смотрела на него с усмешкой.

— Ты бы лучше хотел, чтобы он всегда был не прав?

— Не подумай, пожалуйста, что я *чрезмерно* им интересуюсь,— сказал Антон подозрительно.— Мне, в сущности, до него очень мало дела.

— Я ничего не думаю,— ответила Машура,— но ты к нему несправедлив.

— Ну конечно, я во всем виноват!

Антон вспыхнул, и разговор прервался.

Иногда он садился на велосипед и уезжал на станцию, откуда с поездом в город. Без него в доме сразу становилось тише, иногда Машура ловила себя даже на том, что несколько она отдыхает, легче нервам. Это было отчасти и нехорошо; ее изумляли отношения с ним. Уже давно привыкла она считать его своим и себя — принадлежащей ему. Тогда откуда же эта неловкость? Как бы затрудненность в чувствах? «У него нелегкий характер,— решила она, стараясь себя успокоить,— но, конечно, я должна его поддерживать».

Странным казалось ей то, что с Христофоровым ей было легче, свободнее, хотя понимала она его еще менее, чем Антона. Иногда, ложась спать, она улыбалась в темноте: «Он странный, но страшно милый. И страшно настоящий, хотя и странный».

Случалось ей видеть, как в знойный полдень подолгу он сидел над гусеницей, ползшей по листу; без шляпы бродил по саду, с расширенными зрачками. Обедая на балконе, внимательно наблюдал, куда летит горлинка, точно ему это требовалось. И с той же внимательностью, нежностью переводил взгляд на Машуру.

— Вам всё нужно, все нужны? — улыбаясь, спрашивала Машура.

Он отвечал спокойно и приветливо:

— Я люблю ведь это... все живое.

В мезонине у него была подвижная карта неба. На каждый день он мог определить положение звезд. Вечерами очень часто выходил в сад, всматривался в

небо, как бы сверяясь, все ли на местах в его хозяйстве.

Это заметила и Наталья Григорьевна.

— У вас со звездами какие-то особые отношения,— сказала она раз шутливо.

— Дружественные,— ответил Христофоров так серьезно, будто правда звезды были его личными знакомыми.

Однажды вечером они сидели с Машурой на террасе. Христофоров был как-то тих и задумчив весь этот день.

— Когда же Антон вернется?— спросил он.

Машура сдержанно ответила:

— Не знаю.

Он помолчал.

— Мне кажется, что он не особенно хорошо себя чувствует.

Машура слегка вздохнула и спросила:

— А как вы себя чувствуете?

— Я — отлично,— тихо ответил Христофоров.— У вас здесь мне очень хорошо. Но думаю все же, недолго тут пробуду.

С лугов тянуло сыростью и сладкой свежестью. Москва-река туманилась.

— Почему недолго?

— Знаете,— сказал Христофоров,— мне всегда приходится кочевать. То тут, то там. У меня нет так называемого гнезда. Кроме того, что-то смущает меня здесь.

— Как странно... Что же может вас смущать?— спросила Машура с качалки слегка изменившимся голосом.

Христофоров опять ответил не сразу.

— Не могу объяснить, но мне кажется, что я не должен жить у вас.

— Ну, это глупости!

Машура привстала, явное неудовольствие можно было в ней прочесть. Даже глаза нервно заблестели.

— Вы все выдумываете, все разные фантазии.

Расширив зрачки, Христофоров смотрел вдаль не отрываясь.

— Нет, я ничего не выдумываю.

Машура подошла к нему, взглянула прямо в лицо. Его глаза как будто фосфорически блестели.

— Нет, правда,— тихо спросила она,— что вас смущает?

Христофоров взял ее руку и молча пожал.

Машура сбежала в цветник, остановилась.

— Это что за звезда? — спросила она громко.— Вот там? Голубоватая?

— Вега,— ответил Христофоров.

— А!..— протянула она безразлично и пошла в глубь сада. Сделав небольшой тур, вернулась.

Христофоров стоял у входа, прислонившись к колонне.

— В вас есть сейчас отблеск ночи,— сказал он,— всех ароматов, очарований... Может быть, вы и сами звезда или Ночь...

Машура близко подошла к нему и улыбнулась ласково.

— Вы немного... безумный,— сказала она и направилась в дом. С порога обернулась и прибавила:

— Но, может быть, это и хорошо.

Машура не скрывала,— она тоже была взволнована. Весь этот разговор был неожидан и так странен...

Она пробовала читать на ночь, но не читалось. Спать — тоже не спалось. За стеной мирно почивала Наталья Григорьевна. В комнате было смутно; ветерок набегал из окна. С лугов слышен был коростель. Долетали запахи, тайные вздохи ночи. Машура ворочалась.

Около часу она встала, накинула капот. Ей хотелось двигаться. Прислушиваясь к мерному, негромкому храпению за стеной, она с улыбкой подумала: «Ни к чему, оказывается, доброе мамино воспитание!» Все же выходила потихоньку, чтобы ее не разбудить,— не через балкон, а с другой стороны, где был подъезд. Тут росли старые ели. Среди них шла аллея, по которой подъезжали к дому. Машура направилась по ней. Было очень темно, лишь над головой, сквозь густые лапы дерев, мелькали звезды. Над скамейкой, влево, светился огонек папиросы. Машура быстро прошла мимо, среди тьмы парка, к калитке, выходившей в поле. Тут стало светлее. Вилась дорога; побледневшие перед рассветом поля тянулись. Отсюда завтра должен приехать Антон. Машура оперлась на изгородь, смотрела вдаль.

Сзади послышались шаги. Она обернулась. Это подходил Христофоров. Папиросу он держал в руке, несколько впереди себя.

— А я и не сообразил, что это вы,— сказал он, тихо улыбнувшись.

— Ночь проходит, еще час, будет светать,— ответила Машура.

— Почему вы нынче спросили о звезде Веге? — вдруг сказал Христофоров.

Машура обернулась.

— Просто... спросила. Она бросилась мне в глаза. А это что, важно?

Христофоров не сразу ответил. Потом все-таки сказал:

— Это моя звезда.

Машура улыбнулась.

— Я и не отнимаю ее.

Христофоров тоже усмехнулся.

— Значит,— продолжала Машура,— мама права, когда говорит, что со звездами вы лично знакомы.

— Не смейтесь,— ответил Христофоров.— Лучше поглядите на нее. К счастью, и сейчас еще она видна. Вглядитесь в ее голубоватый, очаровательный и таинственный свет... Быть может, вы узнаете в нем и частицу своей души.

Машура молча смотрела.

— Я не смеюсь. Правда, звезда прелестная. А почему она ваша?

Но Христофоров не ответил. Он показал ей Сатурна, висевшего над горизонтом; остро-колючего Скорпиона; Кассиопею — вечную спутницу неба, крест Лебедя.

Когда они возвращались, светлело и под елями.

Жаворонок запел в полях. Далеко, в Звенигороде, звонили к заутрене.

Христофоров напомнил, что давно уже они собирались сходить в монастырь — старинное, знаменитое место.

— Да, хорошо,— ответила Машура.— Пойдем. Вот Антон приедет.

Она была рассеянна. Спать легла с еще более странным чувством. Ночь без сна, разговоры с Христофоровым, волнение. Нет, тут что-то есть, почти против Антона. Она очень устала. Засыпая, подумала: «Если б я рассказала ему, он бы страшно рассердился. И если бы он был тут... ну, какие глупости... ведь я же ничего против него не сделала».

С этим она заснула.

Антон приехал утром, по той самой дороге, откуда она его ждала, на том же велосипеде. Машура была с ним ласкова — задумчивой, подчеркнутой ласковостью. Но о прогулке с Христофоровым не сказала.

IV

В монастырь собрались через несколько дней. Прежде Антон сам предлагал сходить туда, но теперь возражал; и в конце концов — тоже отправился.

Они вышли утром, при милой, светло-солнечной погоде. Дорога их — лугами, недалеко от Москвы-реки, мелким своим течением, изгибами, ленью красящей здешний край. Берега ее заросли лозняком; стадо дремлет в горячий полдень; легкой рябью тянется песок, белый и жгучий; у воды пробегают кулики, подрагивая хвостиками. Дачницы идут с простынями, выбирая место для купанья. На песке голые мальчишки.

Вдали лес засинел над Звенигородом; раскинулся по холму сам городок, и древний собор его белеет. Домики серые и красные, под зелеными крышами, среди садов, вблизи монастыря, глядящего золотыми глазами из дубов. Старый, маленький город. Красивый издали, беспорядочный, растущий как Бог на душу положит; освященный древнею, благочестивою культурой.

Было далеко за полдень, когда Машура и Антон с Христофоровым подымались к монастырю. Путь извивался; налево крутое взгорье, с редкими соснами и дубами; на вершине стена монастыря, ворота, купола, церкви — как в сказках; направо — дубовый лес. Несколько поворотов — взобрались наконец: монастырская гостиница. Двухэтажный дом со старинными, стеклянными сенцами, с половичком на крашеной лестнице, длинным коридором с несвежим запахом — все то, что напоминает давние времена, детство, постоялые дворы в провинции, долгие путешествия на лошадях.

Заняли комнату с белыми занавесочками, портретами архиереев и архимандритов. Обедали на свежем воздухе, в тени дубов, за врытым в землю деревянным столиком; внизу виднелась речка, поля и заросшие лесом холмы. Тянуло прохладой. Монах медленно подавал блюда.

Антон был хмур.

— Собственно,— сказал он,— я не совсем понимаю, зачем мы здесь. Самый обыкновенный монастырь.

— Ты сам говорил, что здесь очень хорошо,— ответила Машура.

— Хм! Когда я это говорил? И в каком смысле?

Машура не возражала.

— А мне очень нравится,— сказал Христофоров, обтирая усы.— Между прочим, не посмотреть ли сейчас, после обеда, собор, там, в городе.

Антон заявил, что идти сейчас никуда не намерен, тем более «тащиться по жаре Бог знает куда».

Христофоров было отказался, но Машура решила, что непременно пойдет. Темные глаза ее заблестели, прониклись трепетом и раздражением. Антон сказал, что ляжет спать. Пусть они гуляют.

— Все ведь это нарочно, все нарочно,— говорила Машура через полчаса, идя с Христофоровым.— Ах, я его знаю!

Христофоров как-то стеснялся.

— Может быть, мы напрасно идем.

— Я иду,— холодно ответила Машура,— посмотреть старинный собор. Мне это интересно.

Собор стоял выше города, на площадке, окаймленной лесом — белый, древне-простой, небольшой, с нехитрой звонницей рядом.

Машура с Христофоровым сели в тени, на ветхую лавочку. Вниз тянулся Звенигород. Москва-река вилась; далеко, за лугами, в лесу белел дом с колоннами.

— Удельный город,— говорил Христофоров.— Эти места видели древних князей и татар, поляков, моления, войну... Сама история.

— Здесь очень хорошо,— сказала Машура.— Смотрите, какой лес сзади!

Площадка опоясывалась каким-то валом — похоже, остатками старинных укреплений. За ними лес стоял, густой, смолистый, верно, не раз сменявшийся со времен св. Саввы. Тянуло свежим, очаровательным его благоуханием.

— Времена Петра прошли тут незаметно,— продолжал Христофоров.— Потом Екатерина, помещики. Этот край весь в подмосковных. Знаменитое Архангельское недалеко. И другие. Жизнь отвернула новую страницу, новый след. Может быть, и наш век проведет свою черту. А мы,— сказал он тихо, и глаза его расширились,— мы живем и смотрим... радуемся и любим эти переливы, вечные смены. И, пожалуй, живем тем прекрасным, что... вокруг.

Машура не ответила. Не то чтобы она была поглощена чем, все же как-то замкнулась, собралась.

По дороге назад Христофоров сказал:

— А остаток лета придется мне проводить в Москве.

Машура несколько задохнулась.

— Вы... наблюдатель... созерцатель... вам все равно, где, с кем жить. Следите за переливами... Что ж, вам виднее.

Христофоров ответил тихо и очень сдержанно.

— Я уезжаю не потому, что я наблюдатель.

Машура пожала плечами.

— Тогда я ничего не понимаю.

— Прав — я,— ответил Христофоров мягко, как бы с грустью.— Поверьте!

Когда они подходили к гостинице, у подъезда стоял автомобиль. Высокий офицер и господин в штатском говорили с монахом. В автомобиле сидела дама. Машура сразу узнала Анну Дмитриевну.

Анна Дмитриевна улыбнулась.

— А, и мы! Паломничеством занимаетесь?

Машура сказала, где они были. Господин в штатском обернулся.

— Черт возьми, почему же нас не пускают? Нет, скажите, пожалуйста, мне очень это нравится: святое место, мы приехали отдохнуть, и вдруг — нету номеров!

Он был худой, седоватый, с изящным лицом. Синие глаза смотрели удивленно. Подойдя к Машуре, он поклонился, назвал себя:

— Ретизанов.

И все улыбался, недоуменно, как бы обиженно.

— А нам больше повезло,— сказал Христофоров.— У нас есть комната, мы бы могли ее предложить.

Машура подтвердила.

— Так у вас есть комната? — закричал Ретизанов, все держа перед собою канотье.— Дмитрий Павлович,— крикнул он офицеру,— у них есть комната!

Никодимов подошел, вежливо поклонился. Глаза его, как обычно, не блестели.

— Вы нам очень поможете,— сказал он.

Анна Дмитриевна вышла из автомобиля.

— Ну, милая вы голова,— сказала она Ретизанову,— почему же вы думаете, что в монастырской гостинице *обязаны* иметь для вас помещение?

— Нет, это странная вещь, мы приехали, и вдруг...

Ретизанов развел руками. Он, видимо, был нервен и легко, как-то ребячески вспыхивал.

Антон не очень оказался доволен, когда к ним в номер ввалилась целая компания. Он сказал, что был уже в монастыре и там ничего интересного.

— Я бывал тут давно,— тихо сказал Христофоров,— но сколько помню, напротив, монастырь мне очень нравился.

Антон взглянул на него своими маленькими, острыми глазами почти дерзко и фыркнул.

— Может быть, вам и понравился.

— Я смертельно пить хочу,— сказала Анна Дмитриевна,— пусть святые люди дадут мне чаю, выпьем и пойдем рассудим, кто прав.

Автомобиль попыхтел внизу и въехал во двор; розовый дом напротив сиял в солнце. Коридорный, времен давнишних, в русской рубашке и нанковых

штанах, принес на подносе порции чаю; приезжие пили его из чашек с цветами, рассматривая душеспасительные картинки на стенах. Воздух летнего вечера втекал в окошко. Ласточки чертили в синеве; за попом, проехавшим в тележке, клубилась золотая пыль.

Машура и Христофоров вышли со всеми. Антон почему-то тоже не остался. Через небольшую поляну подошли к монастырским воротам — с башнею, образом над входом. Внутри — церкви, здания, затененные липами и дубами; цветники с неизменными георгинами. Недавно началась всенощная. В открытые двери древнего храма, четырехугольного, одноглавого, видно было, как теплятся свечи; простой народ стоял густо; чувствовалось — там душно, пахнет ладаном, плывут струи синеющего, теплого воздуха.

Анна Дмитриевна шла своей сильной, полной походкой, щуря карие глаза. Высокая, статная, была она как бы предводительницей всей компании. Иногда подымала золотой лорнет с инкрустациями.

— Вот вы и не правы, совсем не правы о монастыре,— говорила она Антону.— Я так и думала, что не правы.

— Да, это же странное дело, говорить, что тут ничего нет хорошего! — крикнул Ретизанов.— Прямо странное.

Антон искоса поглядывал на Машуру; к ней не подходил, не заговаривал. Он бледнел, раздражался внутренно и сказал:

— Значит, я ничего ни в чем не понимаю.

— Что меня касается,— сказал Никодимов негромко, глядя на него темными, неулыбающимися глазами,— я тоже не люблю святых пений, золотых крестов, поэтических убежищ.

— А я, грешная, люблю,— сказала Анна Дмитриевна.— Видно, Дмитрий Павлыч, мы во всем с вами разные.

Она вздохнула и вошла в храм Рождества Богородицы, с удивительным орнаментом над дверями, послушать вечерню.

Ретизанов остановился, задумался, снял с головы канотье и, улыбнувшись по-детски своими синими глазами, сказал Никодимову:

— В Анне Дмитриевне есть влажное, живое. А если живое, то и теплое. Вы слышали, она сказала: грешная. А в вас одна — одна барственность и нет влажного, потому что вы ничего не любите.

Христофоров выслушал это очень внимательно.

Никодимов чуть поклонился.

В это время Антон, с дрожащей губой, сказал Машуре, приотставшей:

— В этой компании я минуты не остаюсь. Я иду сейчас же домой.

— Что же сделала тебе эта компания? — спросила Машура тоже глухо.

— Тебе с Алексеем Петровичем будет интереснее, а я вовсе не желаю, чтобы меня... Я не гимназист. Пусть Алексей Петрович тебя проводит... до дому.

Он быстро ушел. Машура знала, что теперь с ним ничего не поделаешь. И она его не удерживала. Да и еще что-то мешало ей. Ей неприятен был его уход. Но как будто так и должно было случиться.

Много позже, когда синеватый сумрак сошел на землю, все сидели у гостиницы, на скамеечке под деревьями. Снизу, от запруды доносились голоса. По тропинкам взбирались запоздалые посетители. Монастырские ворота были заперты, и у иконы, над ними, таинственно светилась лампадка — красноватым, очаровательным в тишине своим светом. Выше, в фиолетовом небе, зажглись звезды.

— Здесь жить я бы не могла,— говорила Анна Дмитриевна.— Но иногда и меня тянет к святому, да, как бы вы ни улыбались там, господин Никодимов, Дмитрий Павлыч!

Она обернулась к Христофорову.

— А правда, что вы в монахи собирались поступать?

— Меня иногда об этом спрашивают,— ответил Христофоров спокойно.— Но нет, я совсем не собирался в монахи.

Подали машину. Было решено завезти Машуру и Христофорова домой. Когда тронулись, Анна Дмитриевна, всматриваясь в Христофорова, вдруг сказала:

— А вас я хотела бы свезти и вовсе в Москву. Послезавтра бега. Что вам в деревне сидеть?

Машина неслась уже лугом. Звенигород и монастырь темнели сзади. Редкие огоньки светились в городе.

— Эх, вот бы нестись... это я понимаю,— говорила Анна Дмитриевна.— И еще шибче, чтобы воздухом душило. Нет, поедемте с нами в Москву, Алексей Петрович.

К удивлению ее, Христофоров согласился. Полет автомобиля опьянял их благоуханием — вечерней сырости, лугов, леса. Звезды над головой бежали и вечно были недвижны.

V

Машуру завезли, как и предполагалось. Полчаса посидели — Наталья Григорьевна тоже изумилась, что Христофоров уезжает — и покатили дальше. Было пустынно, тихо на шоссе: гнать можно шибко. Никодимов достал коньяк, три серебряных стаканчика. Выпил и Христофоров. Стало тёплее, туманнее в мозгу.

— А может быть, вы хотите у меня ночевать? — спросил Ретизанов, придерживая рукой канотье.— У меня квартира...

И на это согласился Христофоров. Он сидел рядом с Анной Дмитриевной, а напротив покачивались двое мужчин; дальше — голова шофера, зеркальное стекло, золотые снопы света, вечно трепещущие, легко мчащиеся к Москве.

Москва приближалась — золотисто-голубоватым заревом; оно росло, ширилось, и вдруг, на одном из поворотов с горы, блеснули самые огни столицы; потом опять скрылись — машина перелетала в низине реку, пыхтела селом — и снова вынырнули.

— Никодимов,— сказала вдруг Анна Дмитриевна,— отчего вы не похожи на Алексея Петровича?

Он слегка усмехнулся.

— Виноват.

— А я хотела,— задумчиво и упрямо повторила она,— чтобы вы были похожи на него.

Никодимов выпил еще, встал, сделал под козырек и спокойно сказал:

— Слушаю-с.

Зазеленело утро. Звезды уходили. Лица казались бледнее и мертвеннее. Мелькнули лагеря, Петровский парк вдали, в утреннем тумане; казармы, каменные столбы у заставы — в светлой, голубеющей дымке принимала их Москва. Анну Дмитриевну завезли домой. Переулками, где возрастали Герцены, прокатили на Пречистенку, и лишь здесь, у многоэтажного дома, отпустил шофера Ретизанов.

Никодимов вышел довольно тяжело, с собой забрал остатки вина, сел в лифт и сказал хмуро:

— Поехали!

Слегка погромыхивая, лифт поднял их на седьмой этаж. Никодимов вышел. Руки были холодны.

Когда Ретизанов отворял ключом двери квартиры, он сказал:

— Отвратительная штука лифты. Ничего не боюсь, только лифтов.

— Лифтов? Ха! Ну, уж это чудачество,— сказал Ретизанов.— А еще меня называете полоумным.

Никодимов вздохнул.

— Вы-то уж помалкивайте.

Он выгрузил на стол свое вино. Лицо его было бледно и устало; глаза все те же, темные; утренняя заря в них не отсвечивала.

Христофоров осматривался. Квартира была большая, как будто богатого, но не делового человека. Он прошел в кабинет. Старинные гравюры висели по стенам. Письменный стол, резного темного дуба, опирался ножками на львов. На полке кожаного дивана — книги, на большом столе, в углу у камина — увражи, фарфоровые статуэтки, какие-то табакерки. На книжных шкафах длинные чубуки, пыльный глобус, заржавленный старинный пистолет. В углу — восточное копье.

Странным показалось Христофорову, что он тут, почти у незнакомого, на заре. Он вышел на балкон. Было видно очень далеко — пол-Москвы с садами, церквами лежало в утренней дымке, уже чуть золотеющей; вдали, тонко и легко, голубели очертания Воробьевых гор. Христофоров курил, слегка наклоняясь над перилами. Внизу бездна — далекая, тихая улица; ему казалось, что сейчас все мчит его какая-то сила, от людей к людям, из мест в места. «Все интересно, все важно,— думал он,— и пусть будет все». Он вдруг почувствовал неизъяснимую сладость — в прохождении жизнью, среди полей, лесов, людей, городов, вечно сменяющихся, вечно проходящих и уходящих. «Пусть будет Москва, какой-то Ретизанов, кофе на заре, бега, автомобили, Анна Дмитриевна. Это все — жизнь».

— Кофе? — говорил сзади Ретизанов.— Конечно, кофе сюда. Нет, а по-вашему как?

Он тащил уже столик, а за ним Никодимов вышел со своими бутылками. Ретизанов беспокоился, хлопотал, размахивал руками. Все делал он сам — не особенно складно, но шумно и с оживлением.

— А вы, может быть...— сказал он Христофорову и вдруг улыбнулся доброй, детской улыбкой,— может быть, голодны?

Христофоров тоже улыбнулся, слегка покраснел и ответил:

— Нет, почему же я голоден...

— У вас такой вид,— продолжал Ретизанов с упорной наивностью,— что может быть, вы голодны... А то я вас ветчиной угощу.

— Вчера с ним славная была девица,— сказал Нико-

димов, кивая на Христофорова.— Вы хотя и вроде монаха... в женщинах понимаете.

Христофоров опять смутился.

— Машура была со своим женихом...— неловко сказал он.— А я просто потому, что у них гостил.

Никодимов засмеялся.

— Не оправдывайтесь. Жених довольно нескладен... и удрал. Не зря, видно. Нет, чокнемся. Такую подцепил...— Он свистнул.— Ди-те-но-чек!— и прибавил грубое слово.

— Ну, уж это черт знает!— закричал Ретизанов.— Нет, уж я вас знаю. Цинизм разводит. Да вы вообще циник. Нет, я просто не понимаю: такое утро, мы сидим чуть не под небесами, солнце, прелесть, а он... гадости. И еще с этаким... джентльменским видом. Джентльмен! Вы знаете,— обратился он к Христофорову,— он всегда надо мной издевается. Например, когда я влюблен...

— Каждый месяц,— сказал Никодимов.

— Подождите, не перебивайте... Когда я влюблен, он мне черт знает что говорит.

Он сел с Христофоровым рядом и вперил в него синие, взволнованные глаза.

— Я вот и сейчас влюблен,— Ретизанов говорил тише, но очень серьезно.— В Лабунскую... Нет, это замечательная девушка. Когда вы увидите, то скажете. Она танцует.

— Вместо того, чтобы...— сказал Никодимов,— он посылает ей букеты, отождествляет с греческими рельефами... ну, это известное... рождение Венеры. И, кажется, намерен в кабинете воздвигнуть алтарь для служения ей.

— Нет, с ним нельзя разговаривать...

Ретизанов совсем взволновался, вскочил и вышел. Он отправился к себе в спальню и для чего-то вымыл даже руки, ополоснув лицо. «Нет, это уж черт знает что,— твердил он про себя.— Это черт знает что».

Вернулся он тихий и молчаливый, как бы погасший.

— Вы напрасно на меня сердитесь,— сказал Никодимов,— я, во-первых, пьян, во-вторых,— у меня вообще дурной характер.

— Я на вас не сержусь,— ответил Ретизанов,— на вас сердиться нельзя.

Никодимов захохотал, но как-то деланно.

— У-бил! Прямо убил в сердце.

Все же они сидели довольно долго. Утро действительно было чудесно. Понемногу Москва просыпалась.

Зазвенел трамвай. Появились женщины с кулечками, проходили рабочие. Никодимов стал зевать, его темные глаза отупели.

Устал и Христофоров. Он решил не оставаться здесь, а прямо пройти домой, там отдохнуть. Когда они выходили через кабинет, Никодимов сказал:

— Здесь живет и работает, собирает старинные книги, изучает ритм, изобретает новые законы гармонии, беседует с гениями и влюбляется дон Алонзо-Кихада дель Ретизанов. Ну особенно с гениями: с этими он запросто.

Ретизанов молча подал ему руку. Глаза его были усталы и рассеянны.

Когда вдвоем они спускались в лифте, Никодимов сказал:

— Впрочем, каждый развлекается, как хочет. Я уверен, что сейчас Ретизанов советуется с духами, идти ли завтра к Лабунской и какой надеть галстук.

— Он спирит?— спросил Христофоров.

— Вряд ли. Скорее, просто чудак. Но из тех,— прибавил Никодимов холодно,— которых многие любят.

Христофоров взглянул на него. Что-то затаенное, почти горькое послышалось ему в этих словах.

Никодимов шел по Пречистенке, очень прямо и довольно твердо, курил и вдруг сказал:

— В общем, скучно. Даже очень скучно, хотя и выпил.

Через несколько минут он снова заговорил:

— Вот вы, мудрая душа, sancta simplicitas, объясните мне следующее. Я вижу сон: будто я в Вене, шикарный отель. Вхожу, иду к лифту. Швейцар стоит у дверцы и внимательно смотрит. Снимает каскетку, кланяется мне и улыбается. Отворяет дверцу. Я должен войти... Больше ничего, но тут просыпаюсь, всегда с ужасом. Странно, что всегда швейцар одинаков, я помню его лицо. Этот сон я видел раза три. Это что, плохо?

Казалось, Никодимов уже трезв. Он как-то подобрался, впал в некую задумчивость.

— Сна я не умею объяснить,— ответил Христофоров.— Но вполне понимаю, что для вас он может быть неприятен.

Никодимов вздохнул.

— Я все думаю, что этого швейцара с лифтом встречу.

Расставаясь, Никодимов подал ему руку, улыбнулся и сказал:

— Что же, завтра на бега?

— Может быть.

Христофоров зашагал по Поварской. Он не ясно сознавал, почему это делает, и лишь дойдя до дома Вернадских, поймал себя на том, что просто ему приятно пройти мимо него. На улицу выходил особняк с антресолями, со старинными, зеркальными стеклами, чуть отливавшими фиолетовым. Были спущены синеватые шелковые шторы, в складках; деревья затеняли крышу, открыты настежь ворота, двор полузарос травой, у колодца, посреди, бродят сизые голуби. И лишь крепко заперт каретный.

Христофоров остановился на другой стороне улицы, в свежей тени ясного утра, смотрел на антресоли Машуры, потом улыбнулся, повернулся на одной ноге и пошел домой.

Прислуга удивилась, увидав его. Он поздоровался с хозяйкой, старушкой в седых локонах — г-жею Самба; когда-то была она замужем за французом; сохранила манеру аккуратно одеваться, завивать букли; в остальном была старинная московская дама; в комнатах ее пели канарейки, лежали чистые половички, свечи сияли перед иконами; стояло много пустячных статуэток, фотографий — все в безукоризненной чистоте.

Сейчас она пила утренний кофе и тоже удивилась Христофорову. Раньше августа она его не ждала.

Христофоров прошел наверх. Комната казалась пустоватой, все имело уже нежилой дух. Фотографии на стенах обернуты газетами.

Он сел на подоконник, растворил окно. Зеленый тополь шелестел, серебристо отблескивая листиками. Дальше был садик с яблонями, дровяной сарай. Ему представилось, что сейчас Машура встала и работает своим скребком или лежит в гамаке, а голубое утро опрокидывает над нею свою чашу. Отсюда, издали, даже лучше он ее чувствовал. Хорошо или плохо, что уехал?

Он оглянулся, увидел свою полупустую келью, мгновенно пронеслось пред ним многое из прежней жизни — ряд таких же келий, одиночеств и бесплодных мечтаний. «Ну, и ладно, ладно,— сказал он себе, отходя к кушетке.— Значит, так и живем». Он взял подушку, лег и закрыл глаза. Слезы стояли в них. Эти слезы приятно было бы видеть Машуре. Он же глотал их и ждал, пока просохнут мокрые ресницы.

Несколько успокоившись, Христофоров уснул.

VI

Утро следующего дня было такое же солнечное. Горячий тополь, шелестя пахучей листвой, бормотал за окном. Христофоров скромно пил чай с калачиком и читал газету, когда дверь отворилась: вошла Анна Дмитриевна. В дверях она слегка нагнулась, чтобы не помять эспри. Но и в самой мансарде, при росте вошедшей, эспри чуть не чертил по потолку воздушными своими кончиками.

— А,— сказала она, оглядываясь,— убежище отшельника. Здравствуйте, святой Антоний.

Христофоров встал и улыбнулся.

— Ну, вы тогда царица Савская. Впрочем...— Он смешался.— Я, кажется, говорю глупости.

Анна Дмитриевна захохотала.

— Пожалуй, что и так. Я, во-первых, не имею намерений этой царицы, второе — у меня нет и шерсти на ногах. Дело проще: нынче бега, я за вами засхала. Ни более, ни менее. Впрочем,— прибавила она,— мне еще хотелось посмотреть, как вы живете.

Она подошла к окну, на котором он вчера сидел, тоже села, сняла шляпу и еще раз обвела глазами *убежище*.

— В этой комнате,— сказала она,— нет женщины, и никогда ее не было. По ней тоскуют стены. Хозяин пьет чай с одинокой булкой, ходит с непришитыми пуговицами и скромно чистит скромный сюртучок.

Христофоров взял порыжелую шляпу и сказал:

— Хозяин прожил так полжизни.

Анна Дмитриевна смотрела теперь в садик, залитый солнцем, задумалась. Потом вдруг встала, вздохнула и стала поправлять эспри.

— Может быть, тут и хорошо жить, в вашем скиту. Может, и надо так, не вам одним. Эх, милый вы человск, и зеркало же... ну, да уж что там...

Они спустились и вышли. Рысак ждал на улице, перебирая в нетерпении ногами — косился на кучера злым глазом; кучер напоминал истукана.

— Москва, голубушка! — сказала Анна Дмитриевна, садясь и указывая на кучерову спину.

— Я ведь и сама Москва,— говорила она, когда тронулись.— Я московская полукровка, мещанка. Говорю «на Москве-реке», «нипочем», люблю блины, к Иверской хожу. Я просто была хорошенькая девчонка, когда меня продали замуж... или сама продалась. Меня отдали за такое, знаете ли, миллионное животное...

Сверхъестественно миллионное. И животное — сверхъестественное.

Она помолчала.

— Я ко всему приучена, голубчик. Всем развращена, чем можно — и людьми, богатством, хамством. Теперь муж мой умер. Мне и говорить-то о нем нельзя.

Она вдруг засмеялась — холодно и резко.

— Он меня бил. Вы знаете? Случалось. Я запудривала синяки.

Христофоров сбоку, с удивлением взглянул на эту статную, темноволосую женщину. Она поняла и улыбнулась.

— Ах, дитя, не ищите. Теперь сошли.

Когда рысак, пенясь под жарким солнцем, мчал их за триумфальной аркой, среди зелени к Петровскому парку, она спросила:

— Нравятся вам два небольших слова: «Тайное горе. Тайное горе»?

Христофоров опять на нее взглянул и тихо ответил:

— Да. Очень нравятся.

Она слегка хлопнула его перчаткой.

— Так. Ну, вот и подъезжаем, — перебила она. — Теперь мы направимся с вами в некую клоаку, называемую азартом, игрою и прочим. Здесь посмотрим жалкий человеческий род и себя покажем.

Рысак взял налево и понес по молодой аллее; круглые солнечные пятна трепетали под деревьями; по тротуару спешило человечество. Завиднелось аляповатое здание с группами коней на фронтоне — к нему беспрерывно подходили, подъезжали на извозчиках, автомобилях, собственных лошадях. Христофоров никогда здесь не бывал. Выйдя из коляски, поднявшись к вестибюлю, миновали они турникет, — и тут гудящая, бурливая толпа затолкала его, ошеломила. Только что кончился заезд. Из амфитеатра спешили к залу, к окошечкам касс, записаться на следующий. Посреди зала, у столиков, захватившие места счастливцы пили чай, воды, коньяк.

Потолкавшись, прошли они в ложу. Открылся вольный свет, голубой воздушный простор, — а у ног накатанная полоса, уходившая вдаль плавным эллипсом. На легоньких двухколесках проезжали по ней наездники в шутовских полосатых куртках, кепи и очках. За далеким забором виднелись здания вокзала, дома, сады Москвы и золотисто переливал купол Христа Спасителя.

— Здесь, — сказала Анна Дмитриевна, оглядываясь, — всякие низы, шваль; а можете увидеть и художника, врача и адвоката. Это затягивает.

— Вы тут часто бываете? — спросил Христофоров.

Она улыбнулась.

— Нет, да я-то не особо...— Она вынула часики и взглянула.— Что же Дмитрий Павлыч не едет? Это он у нас любитель всяких таких штук,— прибавила она.

Иная интонация послышалась здесь Христофорову. Точно тень пробежала по ней. Она замкнулась, но была спокойна.

— А, вот видите — Ретизанов!

Она приложила к глазам лорнет.

— Гуляет под руку с высокой барышней... Лабунская одна, танцовщица.

В это время в ложу вошел Никодимов. Он был свежевымыт, подобран, несколько бледен и оживлен.

— Ставьте на «Кругом-шестнадцать»,— сказал он Христофорову, поздоровавшись и поцеловав руку Анне Дмитриевне,— лошадь верная. Селима играет ее, я тоже.

Темные глаза его, сколько могли, выказывали возбуждение.

— Селима живет с Хохловым и все знает. Хохлов нарочно ее темнил, а теперь зарабатывает. В публике никто этой лошади не понимает. Выдача будет по тысяче.

— Ну, уж Бог с ней, с вашей лошадью... да и с певицей,— сказала Анна Дмитриевна,— покажите ее, по крайности. А, брюнетка, в фиолетовой какой-то вуали... глаза подкрашены по-суздальски... Понимаю... Ти-пичная. С ней юркий господинчик. Да... это,— обратилась она к Христофорову,— такие темные личности, якобы все знают про лошадей, и дают вам совет — за вознаграждение, понятно... Юрисконсульты по лошадиной части. А больше всего — жулики. Называются они — жучки. Среди них вот приятели Дмитрия Павлыча.

Никодимов усмехнулся.

— Если что-нибудь скверное, то непременно Дмитрий Павлыч.

Внизу зазвонили. Шесть лошадей тронулось, быстро они сбились в кучу, каждая стараясь занять внутренний круг. До поворота нельзя было определить их шансов. Но лишь вышли на прямую, впереди оказался маленький, похожий на кузнечика наездник. «Забирает, забирает»,— говорили кругом. «Сенькин забирает», «Нет-с, не думайте... Не выдаст», «Что-то туго...», «Ага, Хохлов!»

Христофоров заметил, что теперь, вблизи второго поворота, из группы лошадей, бежавших изо всех сил,

отсюда же казавшихся игрушечными, вдруг выделилась одна, с голубым наездником, и легко обошла кузнечика. Толпа на трибунах загудела. «Хохлов! — слышались голоса.— Хохлов!» Обернувшись, Христофоров увидел бледные, раздраженные лица. Бинокли впились в точку эллипса, где некий Хохлов, под блеском полуденного солнца, обгонял на своей «Кругом-шестнадцать» Сенькина, кузнечика. Никодимов стоял вытянувшись, приложив ладонь к козырьку фуражки. Мускулы на шее его подрагивали. Ветерок шевелил серебряный аксельбант.

— А смотрите,— сказала Анна Дмитриевна, не отрывая от глаз лорнета,— Дмитрий Павлович наш выигрывает. Видно, что с Селимой знаком.

В эту минуту физически ощутил Христофоров тучу, нависшую над всем этим огромным скопищем,— тучу желаний и жадности. Горящие глаза, побледневшие лица. Имя «Хохлов», для большинства сейчас ненавистное, другим звучащее музыкой, перебегало по толпе. Вопреки всему Хохлов побеждал. На последней прямой это стало ясно.

Анна Дмитриевна положила лорнет, обернулась и сказала Никодимову:

— Что же, вас можно поздравить...

С ипподрома раздался как бы пистолетный выстрел. «Кругом-шестнадцать» вдруг заскакала, произошло мгновенное замешательство, сзади кто-то охнул,— через секунду впереди шла другая лошадь. «Алябьев, Алябьев, браво, навались!» — кричали сверху. Хохлов бил кнутом свою «Кругом-шестнадцать», трясясь на двухколеске с лопнувшей шиной, а некий Алябьев, тоже нежданный герой дня, на полкорпуса обставил его у самого финиша. Кузнечик был третьим.

Толпа кричала. Одни ругали Хохлова, другие кузнечика.

Подошел Ретизанов с высокой, тонкой девушкой в соломенной шляпе и коричневой, длинной вуали. Ее серые глаза улыбались.

— Мы выиграли,— сказала она певучим, московским говором, здороваясь с Анной Дмитриевной.— Мы пополам ставили на лошадь, которой имя мне понравилось: «Беззаботная». И она пришла первая. Мы... как это ставили?

— В ординарном,— тоже улыбаясь, ответил Ретизанов.— По пяти рублей. А вы на кого? — спросил он Никодимова.— Ага, с носом, ах, черт возьми, вы, значит, проиграли? Триста рублей!

Ретизанов удивился.

— Нет, как вам это нравится,— обратился он к

Анне Дмитриевне,— он ставит на лошадь триста рублей! Нет, это уж безобразие! По-вашему, он откуда их берет?

Анна Дмитриевна ничего не ответила. Что-то прошло в ее лице. Она стала отдаленной.

— Если бы мне покровительствовали гении, как вам,— холодно сказал Никодимов,— я бы поставил и тысячу.

— Черт знает, как вы это говорите... гении! Всегда чепуху.

Ретизанов вспыхнул и отошел.

— Какие славные лошади и славный день,— говорила Лабунская, слегка щурясь и глядя на ипподром.

— Это не потому, что я выиграла, но не знаю, мне все сегодня нравится и кажется таким светлым...

— У вас сердце легкое,— ответила Анна Дмитриевна, ласково глядя на нее, и вздохнула.— Вы вся легкая, я чувствую.

Внизу, на доске, прикрепленной к столбу, вывесили выигрыши. Ретизанов надел пенсне, высунулся из ложи и захохотал.

— Ах, черт возьми! Знаете, сколько выдают? Ха! Никодимов будет завидовать.

Минут через десять он возвратился с трофеями. Лабунская взяла четыре сотенных, сунула в мешочек, с видом безразличия.

— Что вы будете делать с этими деньгами?— спросил Христофоров.

Она подняла на него серые, ясные глаза. «Беззаботная», вспомнилось ему имя лошади, на которую она ставила.

— Я ведь их не ждала,— сказала она.— Может быть, потому и выиграла, что не ждала. А теперь что делать...— Она вынула опять деньги.— Что же, это вот сто, духов куплю, сто чулки, сто... хотите вам отдам, а еще сто... уж и не знаю.

— Дайте мне,— сказал Никодимов,— поставим пополам.

Она взглянула на него.

— Берите.

Никодимов протянул руку. Анна Дмитриевна отвернулась. Пальцы его были холодны. Он ушел. В ложе наступила заминка. Анна Дмитриевна усиленно рассматривала публику, Лабунская ела шоколад и лениво вертела программу.

— Зачем вы ему дали денег?— волновался Ретизанов.— Черт знает...

С Никодимовым Лабунская проиграла. Проиграл он и в следующий заезд. Они выходили пить чай. Никодимов все играл. Он ходил от одной кучки темных личностей к другой, разговаривал с Селимой, тоже нынче злой. У него был вид маньяка. Христофоров несколько устал. Медленно проходя к себе в ложу, он через несколько человек видел, как Анна Дмитриевна что-то быстро и резко говорила Никодимову, потом вынула из сумки пачку денег и дала.

Когда кончился последний заезд, Христофоров подошел к нему.

— Ну, как ваши дела?

Никодимов посмотрел на него усталыми глазами.

— Очень плохо.

Ретизанов предложил обедать у Яра.

Начался разъезд. Побежденные брели пешком, хмуро ждали трамвая. Победители летели по ресторанам пропивать и проматывать трофеи, ловить легкое мгновение текущей жизни. Для них широко был открыт Яр, играл оркестр, и знаменитый румын выбивал трели; горело золотом шампанское в вечернем свете; продавали розы. Можно было видеть Лабунскую, в соломенной шляпе, легко и беспечно резавшую ананас, Анну Дмитриевну, как-то горько охмелевшую от шампанского, и десятки других нарядных женщин, шикарных мужчин. Потом, когда село солнце, прошло междуцарствие сумерек, синяя ночь наступила. И в раскрытые, гигантские окна взглянули иные миры, плавно протекающие по кругам, золотясь, мерцая. Как далекий, голубоватый призрак, провела Вега свою Лиру.

«Тайное горе,— думал Христофоров, взглядывая на Анну Дмитриевну.— Тайное горе».

VII

Антон отлично понимал, что был во всем виноват там, в монастыре. Действительно, что сделала против него Машура? Из-за чего он резко и грубо ушел, явился домой один, с несчастьем и бешенством на сердце? Как растолковать все это Наталье Григорьевне, «проклятому здравому смыслу»? В его поведении не было здравого смысла. Но, считая себя виноватым, он находил, что также он и прав. Ибо в Машуре, за ее действиями и словами, ощущал нечто, дававшее ему право на беспорядки.

Он молчал, не уезжал в эти дни в город, был мрачен и ходил один. Минутами остро ненавидел себя. Видя в

зеркале сутулую фигуру с большой головой, вихрастыми волосами и сумрачным взглядом небольших глаз, он мгновенно убеждался, что такого полюбить нельзя. Впрочем, тут же вспоминал, что многие великие люди были даже безобразны, например, Сократ. Во всяком случае, приятность, симпатичность — а это наиболее ценится — есть признак малой и не страстной души. Да, но многие в его годы... Абель в двадцать шесть лет открыл ряды, обессмертившие его имя, хотя и умер молодым и непризнанным. В этом Антон находил некоторое острое удовлетворение: он, с его неказистым видом, он, похожий на застенчивого и вспыльчивого гимназиста,— более всего подходит для роли недооцененного героя, преждевременно гибнущего. «И ладно,— говорил он себе, в горьком упоении,— превосходно. Пусть так и будет».

Но долго выдержать позу не мог. Иногда Машура действовала на него ошеломляюще. Звук голоса, какой-нибудь завиток темных волос над ухом вызывали мучительную нежность. Раз она довольно долго держалась за перила террасы, потом ушла. Он встал с качалки, подошел, приложил лоб к теплому еще дереву; на глазах появились слезы. Вошла Наталья Григорьевна. Он быстро отвернулся, все же она заметила, как он взволнован. Это лишь усилило ее беспокойство.

Наталья Григорьевна вообще замечала, что между ними неладно. Спрашивала и Машуру, почему он в такой, как она выражалась, депрессии. Но Машура ничего ей не объяснила. Она сама чувствовала себя неважно. Что-то очень смутное и неясное было у нее в душе. Нечто ее беспокоило.

Приезжал на несколько часов Христофоров, за вещами. Он был тих и молчалив. Обедали довольно сумрачно. Когда случайно разговор коснулся Анатоля Франса, Антон сказал, обращаясь к Наталье Григорьевне:

— Ваш Анатоль Франс просто французский разговорщик. От него волосы на голове не шевелятся.

Наталья Григорьевна возразила, что кроме волос на голове — есть еще стиль, изящество и философия; ирония и доброта; есть, наконец, гений многовековой латинской культуры.

Но Антон не возражал, и разговор вообще не поддержался. Верно, все были заняты другим.

Вечером, когда Христофоров уехал, у Машуры с Антоном было объяснение. Оно не выяснило ничего. Антон волновался, почти грубил. Машура расплакалась и убежала в свою комнату. Ночью оба не спали. А на-

утро он уехал, оставив записку, что так больше жить не может. Он отправляется до осени на урок.

Машура прочла, разорвала бумажку и решила, что пусть будет, что будет. Отныне просто одна она станет заниматься жизнью, маленькими своими делами, ни о ком не думая. И правда, этот последний месяц провела в деревне, в одиночестве — полторы недели даже совсем одна — Наталья Григорьевна уезжала в Петербург. Это время осталось в ее памяти как полоска жизни чистой, покойной и немного грустной. Можно было гулять одной ясными августовскими вечерами, когда овес смутно белеет и шуршит в сумерках, полынь горкнет на межах и красноватый диск встает на лиловом горизонте. Казалось, что она свободна от всего и всех. Можно было мечтать об одинокой жизни среди полей, под звездами.

Но вернулась Наталья Григорьевна, все стало на свои места. И, как полагается, в первых числах сентября водворились уже Вернадские на зимние квартиры, совершая непрестанный круговорот, называющийся бытием.

Как всегда, Машура возвращалась к старому пепелищу освеженная, как бы ободренная. Предстояла зима, полная нового: впечатлений, занятий, выездов, книг. Жизнь осенью, в Москве, бывает иногда хороша.

И Машура с живостью и возбуждением устраивалась на Поварской. К ней наверх вела узенькая лестница. Небольшая первая комната — как бы приемная; во второй, большой, разделенной пополам портьерой, вдоль которой длинный диван, жила Машура. Окна смотрят на юг. Солнце чисто и приветливо сияет в безукоризненном паркете, отсвечивает в ризах икон в киоте, золотит клавиши пианино; освещает на стене итальянский примитив — старинную копию; блестит в ручках качалки с накинутым вышиванием, в книжках, фотографиях, тетрадках, где можно встретить стихи Блока и портрет Бальмонта, во всех тех маленьких пустяках, что составляют обстановку и уют московской барышни из образованной семьи.

Жизнь ее приняла предустановленное течение: ходила Машура на курсы, где слушала философию, историю и литературу; взяла абонемент на Кусевицкого; бывала у знакомых и у себя дома принимала; в этом году то еще явилось, что Машура вошла в общество «Белый Голубь». Оно состояло сплошь из девушек. Собирались для чтения книг, рефератов и бесед, направленных к духовному саморазвитию. Занимались религией. Искали смысл жизни. Рассуждали о поэзии,

искусстве. Устраивали музыкальные вечера. Среди барышень была молодая актриса, две музыкантши, художницы. Там встретилась Машура с Лабунской.

Лабунская очень ей понравилась — красотой, изяществом и простой вольностью движений.

Приятны были улыбка, смех, несколько тягучий, широкий и мягкий московский выговор. Скоро выяснилось, что у них есть общие знакомые — Анна Дмитриевна. Лабунская сказала, что знает, как они были в монастыре.

— Ах,— прибавила она живо,— да вы, пожалуй, знаете и Христофорова. Ну, такой голубоглазый дядя, не то поэт, не то отшельник. Впрочем,— прибавила она со смехом,— мы с ним познакомились на бегах.

Машура слегка покраснела.

— Да, Алексей Петрович, я знаю...

Лабунская сказала, что скоро у них в студии будет вечер, немногочисленный, «но, может быть, и ничего себе». Там и она выступает. Машуру она приглашала.

— Будут некоторые пресмешные,— прибавила она.— В общем, ничего. Приходите.

Машура поблагодарила. И предложение приняла. В условленный день Лабунская звонила к ней. Наталья Григорьевна не была безразлична к тому, куда Машура ходит, но считала ее вполне благоразумной и не возражала.

Часов в десять вечера Машура подходила к большому красному дому, в затейливом стиле, на площади Христа Спасителя. Луна стояла невысоко. Белел в зеленой мгле Кремль; тянулась золотая цепь огней вдоль Москвы-реки.

Машура поднялась на лифте, отворила дверь в какой-то коридор и в конце его поднялась по лесенке в следующий этаж. Вся эта область населялась одинокими художниками; жили тут три актрисы и француз. Лесенка вывела ее в большую студию, под самой крышей. Угол отводился для раздевания. Главная же комната, вся в свету, разделена суконной занавесью пополам. Войдя, Машура скромно стала к стенке и осматривалась. Обстановка показалась непривычной: висели плакаты, замысловатые картины; по стенам — нечто вроде нар, на которых можно сидеть и лежать. Вместо рампы — грядка свежих гиацинтов.

— А-а,— сказал Ретизанов, улыбаясь.— Вам нравятся вот эти гиацинты? Это я все...

Ретизанов был очень наряден, в хорошем смокинге, безукоризненной манишке, лакированных ботинках. На

бледном лице с седоватой бородкой и усами синели глаза.

— Вы знаете, я люблю цветы... Я не понимаю, как можно не любить... А вы как смотрите? Тем более когда танцует Елизавета Андреевна... Потому, что она ведь одна музыка и ритм, чистейшее проявление музыки и ритма...

Он заволновался и стал доказывать, что Лабунскую надо смотреть именно среди цветов. Машура не возражала. Она даже была согласна; но Ретизанов, усадив ее в угол, громил каких-то воображаемых своих противников и мешал даже рассмотреть присутствующих. Забежала Лабунская, уже в длинной, светлой тунике, поцеловала Машуру, улыбнулась и ускользнула.

За минуту до начала, когда дамы, художники, меценаты, курсистки, поэты, молодые актрисы усаживались, кто на нарах, кто на табуретках, шурша платьями, благоухая, смеясь,— к Машуре подошел Христофоров, в обычном своем сюртучке. Она взглянула на него сбоку, сдержанно, и протянула холодноватую руку.

Заиграла невидимая музыка, свет погас, и зеленоватые сукна над гиацинтами медленно раздвинулись. Первый номер был пастораль, дуэт босоножек. Одна изображала влюбленного пастушка, наигрывала, танцуя, на флейте, нежно кружила над отдыхающей пастушкой; та просыпалась, начинались объяснения, стыдливости и томление, и в финале торжествующая любовь. Затем шел танец гномов, при красном свете. Лабунская выступала в Орфее и Эвридике. Была она легка, нежна и бесконечно трогательна. Казалось странным, зачем нужна она там, в подземном царстве; и одновременно — да, может быть, и есть своя правда, и высшая печаль в этом.

— Я говорил вам,— шептал сзади Ретизанов,— что она божественна. А еще Никодимов болтает... Нет, это уже черт знает что...

В антракте он побежал к Лабунской. Машура и Христофоров прогуливались среди полузнакомой толпы. Опять сиял свет, блестели бриллианты дам.

— Я вас не видел почти месяц,— говорил Христофоров.— Уже сколько дней...

Машура взглянула на него. Его глаза были слегка влажны, блестели; казалось, был он очень оживлен каким-то хорошим воодушевлением. Она улыбнулась.

— Вы весело живете, Алексей Петрович?..

— Как вам сказать,— он слегка расширил зрачки,— и грустно, и весело.

Когда опять погас свет и раздвигался занавес, Машура сказала шепотом:

— Все-таки в том, как вы уехали от нас, было что-то мне неприятное...

Христофоров ничего не ответил, смотрел на нее долго ласковым, смущенно-взволнованным взором. На сцене полунагие девушки изображали охоту: то они быстро неслись, как бы догоняя, то припадали на одно колено и метали дротик, кружились в конце концов, опять танцевали друг с другом и поодиночке — быть может, с воображаемым зверем.

Христофоров вынул блокнот, оторвал бумажку, написал несколько слов и передал Машуре. В неясном свете рампы близко поднеся к глазам написанное, она прочла: «Простите, ради Бога! Если дурно сделал, то ненамеренно. Простите!»

Худые щеки Машуры слегка заалели. Взяв карандаш, она ответила: «Я нисколько не сержусь на вас, милый (и загадочный) Алексей Петрович».

Христофоров взял и шепотом спросил:

— Почему загадочный?

Машура мотнула головой и по-детски, но убежденно ответила:

— Да уж потому.

Когда вечер кончился, Ретизанов сказал им, чтобы не уходили со всеми. Лабунская просила идти вместе.

— А Никодимов, хорош гусь, а? — вдруг спросил он. — Сейчас записку прислал — дайте взаймы тысячу рублей. Как это вам нравится? Тысячу рублей! — Ретизанов вскипел. — Что я, банкир ему, что ли?! Мало Анну Дмитриевну обирать, так и меня... нет-с, уж дудки...

В студии стали гасить свет. Лишь сцена освещалась — оттуда слабо пахло гиацинтами. Христофоров с Машурой отошли к нише, разрисованной углем и пастелью. Был изображен винный погреб, бочки, пьяницы за столом. Окно выходило на Москву-реку.

— Вот и Кремль в лунном свете, — сказал Христофоров. — В нем есть что-то сладостное, почти пьянящее.

— Вам Лабунская нравится? — спросила Машура.

— Да, — ответил он просто. — Очень.

Машура засмеялась.

— Мне кажется, что вам нравится и Кремль, и лунный свет, и я, и ваша голубая Вега, и Лабунская, так что и не разберешь...

— Мне действительно, — тихо сказал он, — многое в жизни нравится и очаровывает, но по-разному...

Подошла Лабунская, подхватила их и повела. Рети-

занов ждал уже одетый. Он был в большой мягкой шляпе, в пальто с поднятым воротником.

— А я очень рада,— говорила Лабунская, прыгая вниз по лестнице через несколько ступеней,— что вся эта катавасия кончилась. Ну, как наши девицы плясали? Не очень позорно? Мы ведь неважно танцуем. Так, тюти-фрюти какие-то.

— Все плохи, кроме вас!— сказал Ретизанов и захохотал.— Позвольте, я приготовил вам букет еще на дорогу! Тут, у швейцара.

— Ну, дай вам Бог здоровья!

Лабунская шла по тротуару, помахивая букетом и смеясь.

— Значит,— говорила она,— все-таки хорошо, что был этот вечер. Я получила букет, меня ведут в Прагу ужинать, луна светит... вообще все чудесно.

«Беззаботная»!— вспомнил Христофоров имя лошади, на которую она выиграла. И улыбнулся.

На Пречистенском бульваре было пустынно; тени дерев переплетались голубоватой сеткой: изредка пролетал автомобиль; извозчик тащился, помахивая концом вожжи. Лабунская бегала по боковым дорожкам, танцевала, бросала листьями в лицо Ретизанову. Христофоров смеялся. Он пробовал ее обгонять, но неудачно.

Ретизанов звал всех ужинать,— Машура отказалась. У памятника Гоголю она села с Христофоровым на скамейку и сказала, что дальше не двинется: очень ночь хороша.

— Если соскучитесь,— крикнул Ретизанов, уходя,— приходите в Прагу. Я и вас накормлю.

Но они не соскучились. Христофоров снял шляпу, курил и внимательно, нежно смотрел на Машуру.

— Почему вы написали: загадочный?

Машура улыбнулась, но теперь серьезней.

— Да, ведь и верно— вы загадочный.

— Я уж, право, не знаю.

Машура несколько оживилась.

— Ну, например... вы, по-моему, очень чистый и не такой, как другие... да, очень чистый человек. И в то же время, если бы вы были мой, близкий мне, я бы постоянно мучилась... ревновала.

— Почему?

— Я, положим, знаю,— продолжала она горячо,— что если Антон меня любит, то любит именно меня и для него весь мир закрыт, это, может быть, и проще, но... Да, у вас какие-то свои мысли, и я ничего не знаю. Я о вас ничего не знаю и уверена— никогда не узнаю. Наверно, и не надо мне знать, но вот именно есть в вас

что-то свое, в глубине, чего вы никому не расскажете... А пожалуй, вы и думаете там о чем-нибудь, еще других любите... Нет, должно быть, я уж нелепости заговорила.

Она взволновалась, и правда будто стала недовольна собой.

Христофоров сидел в некоторой задумчивости.

— Вы меня странно изображаете,— сказал он.— Возможно, и потому, что у вас страстная душа. Почему вы говорите о ревности или о том, что я нехорошо от вас уехал,— прибавил он с внезапной, яркой горечью.— Разве вы не почувствовали, что мне невесело было уезжать? Нет, в том, что я уехал, ничего для вас дурного не было.

— А мне казалось, это значит сохранить свободу действий.

Он взял ее за руку.

— Как вы самолюбивы... Как...

Машура вдруг откинулась на спинку скамьи. Пыталась что-то выговорить, но не смогла. В лунном свете Христофоров заметил, что глаза ее полны слез.

— А все-таки,— сказала она через минуту резко,— я никого не люблю, кроме Антона. Никого,— прибавила она упрямо.

Во втором часу ночи, прощаясь с ней у подъезда их дома, Христофоров сказал:

— Может быть, вы отчасти и правы, я странный человек.

В голубоватой мгле дерев, чуть озаренной лунным призрачным серебром, с глазами расширенными и влажными он действительно показался ей странным.

— Не знаю,— холодновато ответила она.— Спокойной ночи!

Он поцеловал ей руку.

VIII

Было около шести. В конце Поварской закат пылал огненно-золотистым заревом. В нем вычерчивалась высокая колокольня, за Кудрином; узкое, багряное облачко с позлащенным краем пересекало ее.

Антон вошел в ворота дома Вернадских, поднялся на небольшое крыльцо и позвонил. Косенькая горничная отворила ему и сказала, что барышня дома.

— Только у них нынче собрание, они запершись, наверху,— добавила она не без значительности.

Антон снял свое неблестящее пальто и усмехнулся.

— Девицы?

— Так точно. И чай туда им носила. Старая барыня в столовой, пожалуйста.

«Спасением души Машура занимается,— подумал он, оправляя у зеркала вихры.— Очевидно, нынче заседание общества «Белый Голубь». Пишут какие-нибудь рефераты, настраивают себя на возвышенный лад, а к сорока годам станут теософками»,— хмуро подумал он. Напала минутная тоска. Стоит ли оставаться? Не надеть ли пальтишко, не уйти ли назад? Полтора месяца он с Машурой почти в ссоре, в Москве не был, а сейчас явился зачем-то — с повинной? «Невольно к этим грустным берегам?..»

Но он переломил неврастенический приступ, вздохнул и полутемным коридором, откуда подымалась лесенка к Машуре, прошел в столовую.

На столовую она походила не совсем. По стенам стояли диваны, книжный шкаф, в углу гипсовая Венера Медицейская; закат бросал на дорогие темно-коричневые обои красные пятна. За чайным столом в вазах стояли букеты мимоз и красная роза в граненом с толстыми стенками стаканчике. Печенья, торты, хрустали, конфеты — все нынче нарядней, пышней обычного — у Натальи Григорьевны тоже приемный день, когда собирались знакомые и друзья. Сама она, в черном бархатном платье, с бриллиантовой брошью, в золотых своих очках, при седой шевелюре, имела внушительный вид. За столом была Анна Дмитриевна, две неопределенных барыни, важный старик с пушистыми седыми волосами и толстая дама в пенсне — почтенная теософка. Старик же, разумеется, профессор.

Он что-то рассказывал — медленно, длинно, с той глубокой убежденностью, что это интересно всем, какая нередко бывает у недалеких людей.

— Я тогда же сказал Максиму Ковалевскому: Максим Максимович, нам, как русским ученым, представителям молодой русской науки на западе, не пристало выступать с какими-то — passez moi le mot,— мистическими сверхиндивидуалистами, чуть не спиритами, нуте-с, и тому подобное. Он согласился. В тот же день мы завтракали у Габриэля Тарда. Был лорд Крессель, Брандес, я и, представьте...

Знакомое чувство раздражения прошло по спине Антона. «А может, он и врет все и никакого лорда там не было, да и его самого никто в Париже не знает».

Старик не весьма был доволен, что его прервали; не глядя поздоровался,— и плавно вторя себе рукой с пухлыми пальцами, которые собирались в горсточку, продолжал о завтраке у Тарда. В закате розовели его

седые виски; блестел массивный золотой перстень на указательном пальце.

— Давно не заглядывал,— сказала Наталья Григорьевна Антону, наливая ему чаю.

— Меня в Москве не было,— ответил он глухо и слегка покраснел.

— Ты Машуру не ранее чем через час увидишь,— продолжала она.— Да и то не надолго. У них сегодня собрание, «Белый Голубь».

Антон ничего не ответил. Он сидел хмуро, помешивал ложечкой и опять был подавлен тоской; опять ему казалось, что напрасно он пришел сюда, ничего, кроме унижения, не вынесешь, да еще слушай речистого старика.

Вошел Ретизанов в изящном жакете и с цветком в петлице. В это время почтенная теософка, напоминавшая английскую даму хорошего общества, со спокойствием верующего и образованного человека рассказывала соседке о лунной манвантаре и солнечных питрисах. Она приводила точные выражения Анны Безант. Тон ее был таков, что это нисколько не менее очевидно, чем лекции Ковалевского, завтрак у Тарда. Профессор же продолжал свое.

Ретизанов поцеловал руку Натальи Григорьевны и улыбнулся.

— Все по-прежнему,— сказал он.— Наталья Григорьевна занимает золотую середину, а на флангах кипит бой.

— Это только значит,— внушительно заметила она,— что я терпима к чужим мнениям. Терпимость основывается на культуре. А уж середина я или нет, позвольте знать мне самой.

Она слегка взволновалась, и на старческих щеках выступили красноватые пятна. Ретизанов смутился.

— Нет, я совсем не в том смысле...

Но она уже не слушала. Решив, что особой воспитанностью никогда он не отличался, Наталья Григорьевна заговорила с Антоном.

Впрочем, Ретизанов и сам отвлекся. Профессор доказывал, что Достоевский, как человек душевнобольной, развратный и реакционно мысливший, недостоин того ореола, какой создался вокруг его имени в *некоторых* (он строго оглянул присутствовавших) кружках.

— На одном обеде литературного фонда,— это было давно, я собирал еще тогда материал по истории хозяйства при Меровингах, для диссертации, где поддерживал Бюхера против Эдуарда Мейера,— так вот-с,

покойный Николай Константинович Михайловский прямо указал мне — мы сидели рядом,— что талант Достоевского есть не более как гигантская проекция свойств жестокости, сладострастия и истерии. В своей известной статье он определил этого писателя как жестокий талант.

— А скажите,— вдруг спросил Ретизанов,— когда вы читаете «Идиота», то чувствуете вы некоторую атмосферу как бы ультрафиолетовых лучей всюду, где появляется князь Мышкин? Такая нематериальная фосфоресценция...

— Я скорее сказала бы,— заметила теософка,— что внутренний и, конечно, нематериальный свет этого романа — бледно-зеленоватый. Свет, несомненно, эфирный.

Профессор развел руками и заявил, что ничего подобного он не видит и не встречал таких утверждений в критике.

— Впрочем,— прибавил он,— я и вообще нахожу, что между мною и некоторыми из присутствующих есть коренное расхождение в мировоззрениях. Я считаю, что Макс Нордау был совершенно прав, утверждая...

— Да неужели вы можете говорить о Нордау? — почти закричал Ретизанов.— Макс Нордау просто болван...

После этого профессор недолго уже сидел. Он поцеловал руку Натальи Григорьевны и сказал, что рад будет встретиться с ней в Литературном Обществе, где она должна читать доклад: «К вопросу о влиянии Шатобриана на ранние произведения Пушкина».

— Откуда вы достаете таких дубов?

На этот раз Наталья Григорьевна не рассердилась. Она доказывала, что профессор вовсе не дуб, а человек иного поколения, иных взглядов.

Антон поднялся, незаметно вышел. Рядом с прихожей была приемная, маленькая комнатка, вся уставленная книгами. В нее надо было подняться на ступеньку. Дальше шла зала, и в глубине настоящий, большой кабинет Натальи Григорьевны. Антон сел в мягкое кожаное кресло. Виден был двор, залитый голубоватой луной. Наверху, в комнате Машуры, слышались шаги, голоса. Антон положил голову на подоконник. «Они решают там возвышенные вопросы, а я умираю здесь от тоски,— думал он.— От тоски, вот в этом самом лунном свете, который ложится на подоконник и обливает мне голову».

Он сидел так некоторое время, без мыслей, в

тяжелой скованности. «Нет, уйду,— решил он наконец.— Довольно!» В это время движение наверху стало сильнее, задвигали стульями. Он прислушался. Через инуту раздались шаги по лесенке, ведшей сверху; вся она как бы наполнилась спускавшимися, послышались молодые голоса. Почти мимо его двери все прошли в переднюю; там опять смеялись, разбирали одежду, шляпы, перчатки. Затем хлопала парадная дверь, с каждым разом отрезая часть голосов. Наконец стало тихо. Знакомой, легкой поступью прошла Машура. «Ну вот, теперь она пойдет в столовую и будет там сидеть с матерью и Ретизановым».

Было уже ясно, что она уходит, но Антон медлил, не мог одолеть тяжелой летаргии, в которой находился.

Вдруг те же, но возвратные, теперь веселые шаги. Он встал и со смутно бьющимся сердцем двинулся к двери. В лунных сумерках навстречу вбежала Машура, легко вспрыгнула на ступеньку и горячо поцеловала.

— Ты?— смеялась она.— Ты, я знала, что ты придешь! Что ты тут делаешь? Один! Какой чудак!

— Я...— сказал Антон,— уж собрался уходить... ты была занята.

Машура захохотала.

— Почему ты такой смешной? Ты какой-то замученный, растерянный. Погоди, дай на тебя посмотреть...

Она взяла его за плечи, подвела к окну, где от луны было светлее.

— Я,— говорил он растерянно,— я, видишь ли, столько времени у вас не был... я уезжал из Москвы...

Она глядела ему прямо в небольшие глаза; в них стояли слезы. Волосы его вихрились, большой лоб был влажен. На виске сильно билась вена.

Глаза Машуры блестели.

— Ты похож на Сократа,— вдруг зашептала она,— ты страшно мил, настоящий мужчина. Я знала, что ты придешь, и придешь такой...

Она сжала его руки.

Антон опустился на скамеечку у ее ног, прижал к глазам ее ладонь.

— Если бы ты знала, как я... все это время...— твердил он сквозь слезы.— Если бы знала...

Около девяти Антон, с просохшими, сияющими в полумраке глазами, ходил из конца в конец залы, пересекая лунные прямоугольники, облекавшие его светом.

Из кабинета вышла Наталья Григорьевна; она была

теперь в светлом вечернем платье, с иными бриллиантами.

— Ну, милый,— сказала она Антону,— иди торопи Машуру. Лошадь подали.

Плохо соображая, как в тумане подымался Антон по витой лесенке.

— Можно?— спросил он глухо, входя.

— Погоди минутку.

Раздался смех Машуры, мелькнуло голое, смуглоперсиковое плечо, и веселый голос ответил из-за портьеры:

— Теперь можно. Но сюда не входи.

Антон сел и сказал, что Наталья Григорьевна ждет.

— Сейчас, сейчас... Мама вечно боится опоздать.

За портьерой шуршали, слышно было, как горничная застегивает кнопки. В комнате было тепло, пахло духами и еще чем-то, чего не мог определить Антон, что вызывало в нем легкий озноб.

Когда Машура вышла, в белом платье, оживленная, с темно сверкающими глазами на остроугольном лице, она показалась ему прекрасной. Худенькой рукой приколола она себе красную розу.

Горничная ушла.

— Ты прелестна,— тихо сказал Антон.

Она улыбнулась.

Антон проводил их и остался в доме еще некоторое время. Не хотелось уходить, расставаться с комнатами, полными голубоватого лунного дыма — где неожиданно пришла к нему Машура. И вновь переживая все, ходил он по зале, из угла в угол.

IX

За ночь выпал снег. В комнатах посветлело, воздух сразу стал вкусный, днем острый и прозрачный, к сумеркам синеющий. Деревья резче чернели на белизне. Извозчики плелись бесшумно; шапки, полости у них белели. И веселей орали вороны на бульваре, слетая с веток; вниз сыпался за ними снежок.

Анна Дмитриевна сидела в небольшом своем кабинетике у письменного стола, с пером в руке. В окно глядел бульвар, запушенный снегом, от подоконника шел ток теплого воздуха, тепел был пуховой платок на плечах и мягок ковер, занимавший всю комнату. Над диваном — nature morte Сапунова, вариант красных цветов.

«Во всяком случае так дальше продолжаться не может,— писала она твердым, крупным почерком — он

казался лишь частью всей ее статной фигуры.— Какая бы я ни была, вы должны понять, что всему есть предел. Вы знаете, чем были для меня все это время. Пред вами я мало в чем виновата. Но вы — ваше поведение я совсем перестаю понимать. Для меня деньги — ничто. Для вас — все. Сколько раз я вас выручала — вы знаете. И то знаете, как издевались вы надо мной, среди пьяных товарищей, грязнили мое к вам чувство. Все вам сходило. Но то, что теперь выяснилось... Я не могу даже написать того слова, какое следует. Хочу вас видеть и спрошу прямо. Завтра я на балете, бельэтаж, ложа № 3. Буду ждать». Она подписалась одной буквой, вложила в конверт и надписала: «Дмитрию Павловичу Никодимову».

Только что велела она отослать письмо, как в комнату вошла, не снимая бархатной шляпы, невысокая дама еврейского вида, с огромными подкрашенными глазами — Фанни Мондштейн. Она была очень шикарна в новом тысячном паланкине. Бурый мех блестел снежинками.

— Голубчик,— сказала она быстро, целуя Анну Дмитриевну и распространяя запах Rue de la Paix,— я к тебе на минутку. Завтра выступает Ненарокова, дебют, я обязательно должна быть. Идиот Ладыжников напутал как всегда, билетов нет, представь, я непременно должна быть, ведь Ненарокова танцует вместо Веры Сергеевны, тут, понимаешь, отчасти интриги, отчасти борьба молодого со зрелым. Конечно, ей до Веры Сергеевны... великая артистка и начинающий щенок... Но я обещала быть, а получается чепуха...

Фанни подняла вуаль и обнаружила лицо не первой свежести, подкрашенное, с черными, очень красивыми глазами. Фанни живо закурила, и мгновенно стало ясно, в чем дело: о Ненароковой она должна дать отчет Вере Сергеевне и хотела попасть в ложу Анны Дмитриевны.

— Ну конечно, ну да,— говорила Анна Дмитриевна,— о чем тут разговаривать? Я очень рада. Ты покажешь мне разные fouettés.

— Милун, но разве Ненарокова может сделать что-нибудь подобное?

Фанни встала и с серьезным, как бы убежденным лицом подошла к Анне Дмитриевне.

— Вере Сергеевне приходилось делать тридцать пять fouettés подряд,— этого никто не может в России, кроме нее. Но ведь и сама она — прелесть. Одни ее выражения... Ты думаешь, она завидует этой Ненароковой? Ни капли. Она мне говорит: «Вы понимаете, ведь это надо сделать, эту роль! Вы, кажется, *уже*

начинаете меня понимать? Этот балет — чистейший экзот, его надо почувствовать. Вот, по вашему лицу я вижу». Нет, Вера Сергеевна замечательный художник, порох и дитя, восторженная, увлекающаяся душа.

Фанни сама увлеклась, сняла шляпу и стала рассказывать о Вере Сергеевне.

Фанни была в нее несколько влюблена — влюбленностью театральной поклонницы. Она принадлежала к «партии» Веры Сергеевны; неизменно бывала на ее выступлениях, бешено вызывала, бегала к ней в уборную, защищала от врагов, исполняла мелкие поручения и помогала в сердечных делах.

— Нет, ты понимаешь, у нее совсем особенный язык: если за ней кто-нибудь ухаживает, она называет это *наверт*.

Анна Дмитриевна засмеялась.

— А правда, что одну свою соперницу она избила ногами?

— Фу, глупости! Ну, если бы захотела... ноги у нее стальные, убить, я думаю, может. Все-таки это клевета...

— Фанни,— спросила вдруг Анна Дмитриевна,— тебя бил когда-нибудь мужчина?

Фанни вскочила и захохотала.

— Во-первых, милая, у меня нет такого властелина и не будет, надеюсь. Да, но тогда скорей можно спросить, не била ли я кого... Правда, у меня ноги не такие, как у Веры Сергеевны, но все же... вот этой рукой я могу, конечно, дать пощечину негодяю, который покусился бы на мою девственность.

Она повалилась на диван и опять захохотала. Анна Дмитриевна тоже смеялась. Потом Фанни поднялась, оправила палантин и стала прощаться.

— Голубь, значит, до завтра. Бельэтаж, третий номер... буду помнить... третий номер. Целую тебя.

Проводив ее, Анна Дмитриевна медленно возвращалась через залу. Проходя мимо бехштейновского рояля, она приподняла его крышку и взяла несколько нот на клавиатуре. Смутная тягость была у ней на сердце. Она вздохнула и сразу же вспомнила. Эти самые звуки, такой же белый день, рояль, зала, похожая на эту, и она сама, еще совсем молодая, недавно замужем. Так же она брала несколько нот, а он вышел из той двери. Шел он молча. Лицо было красное. Потом молча же, со всего маху ударил ее по щеке.

Крышку она захлопнула, быстро вышла. «Дурная жизнь, распущенная, скверная жизнь,— твердила она уже у себя в кабинете, ходя взад-вперед по мягкому

ковру.— Я ему продалась и изменяла, а он бил меня, как молодую кобылу. Как была дурная, так и осталась. Что же,— сама катала с офицерами по ресторанам, обманывала его и пожинала лавры собственной жизни. А разве и сейчас... что ж, по-своему и Дмитрий прав, считая меня... бабой, которая может платить его долги. Он хорош, но и я...»

Она опять прошлась и остановилась у большой, под стеклом, фотографии со старинной картины. Справа и слева от озера большие купы дерев, темных, кругловатых; какая-то башня; далекие горы за озером, светлые облака; на переднем плане танцует женщина с бубном и мужчина; пастух, опершись на длинный посох, смотрит на них; на траве, будто для беззаботной пирушки, расположились люди, женщина с ребенком, тоже смотрят. Лодки плывут по бледному озеру. И кажется, так удивительно ясна, мечтательна и благосклонна природа; так чисто все. Так дивно жить в этой башне у озера, бродить по его берегам, любоваться нежными, голубоватыми призраками далеких гор.

Анне Дмитриевне представилось, что если бы она жила в этой стране, то все иное было бы и, возможно, она узнала бы истинную любовь, высокую и пламенную, которая есть же ведь, наконец!

Завтракала она одна, как обычно. Потом вышла на улицу. Хотелось пройтись. Снег мягко скрипел под ногой, падали белые его хлопья, медленно и беззвучно; что-то вкусное, свежее и острое несли они с собой и, оседая на ветвях деревьев, шапочках барышень, усах мужчин, давали белое оперение, называемое зимой.

Анна Дмитриевна шла по Арбату и думала, что любой извозчик, трусцой плетущийся в Дорогомилово, или курсистка, бегущая с лекций, более правы и прочны,— может быть, даже счастливы, чем она, живущая в своем особняке и тратящая тысячи. Пройдя по Воздвиженке, вышла она на Моховую, обогнула Манеж, направилась вдоль решетки Александровского сада. Начинало смеркаться. Смутно синел снег за оградой, летали вороны, высокие башни в Кремле уходили во мглу. Зажигались золотые фонари. С сердцем, полным печали, тягости, Анна Дмитриевна подошла к Иверской, знаменитому палладиуму Москвы — часовне, видевшей на своих ступенях и царей, и нищих. Купив свечку, взошла, зажгла ее и поставила перед Ликом Богородицы, мягко сиявшим в золотых ризах. Кругом — захудалые старушки, бабы из деревень; ходил монах с курчавой бородой, в черной скуфейке. Плакали, вздыхали, охали. Ближе к стене

Музея занимали места те, кто устраивался на ночь. Ночевали здесь по обету, чтобы три или десять раз встретить ту икону Богоматери, которую возят по домам и которая возвращается поздно ночью. Здесь служится молебен. И невесты, желающие доброй жизни в замужестве, матери, у которых больны дети, жены, неладно живущие с мужьями, мерзнут здесь зимними ночами, когда лихие голубки уносят из Большой Московской к Яру разгулявшихся господ.

Анна Дмитриевна стала на колени, перекрестилась, глаза ее наполнились слезами. Еще девочкой, когда сильно пил и бушевал отец, бегала она потихоньку на эти, снежные сейчас, плиты и на ценный пятачок ставила свечку «укротительнице злых сердец».

— Старайся, милая, старайся,— говорила рядом старушонка, с глубоко запавшим ртом, в кацавейке, из числа тех, что неизвестно откуда берутся на похоронах, свадьбах и молебнах.— Она, Матушка-Заступница, все видит, всяческое усердие ценит.

Подошел рыжий извозчик, немолодой, тоже поставил свечу, снял шапку и бухнулся на колени. Быть может, молился он о захромавшей лошади или чтобы овес подешевел. А возможно, и его вела та же тоска, что и Анну Дмитриевну.

Оттого ли, что поплакала, или правда в золотом сиянии Борогодицы был мир, но она поднялась облегченная, как бы овлажненная. Стряхнув снег, приставший к подолу, вздохнула и стала спускаться со ступеней. Несколько нищих потянулись к ней. Она сунула им. И медленно пошла к Большому театру.

В хмурых сумерках высился он темной громадой; Мюр и Мерилиз сиял, насквозь пронизанный светом; золотые снопы ложились от него на снег. Анна Дмитриевна шла наискось через площадь, по тропинке, только что проложенной. И почти столкнулась с Христофоровым. Он был в меховой шапке, запушенной снегом, с побелевшими усами. Увидев ее, улыбнулся и остановился, кланяясь.

— Голубчик вы мой, милый человек!— чуть не вскрикнула Анна Дмитриевна.— Что тут делаете?

— Гуляю,— ответил он.— У меня нет цели.

— Гуляю! Так себе просто и гуляет, сам не зная зачем! Ну, тогда пойдемте со мной, проводите, мне тоже некуда...

Она взяла его под руку, и медленно, разговаривая, они побрели. Ей правда почему-то приятно было его встретить. Настроение подымалось. Они прошли по Кузнецкому, разглядывая витрины. У Сиу пили шоко-

лад, рассматривали модных барынь, смеялись. Было светло, пахло духами, сигарами. Белели воротнички мужчин. Горели бриллианты.

Анна Дмитриевна пригласила Христофорова на другой день на балет, к себе в ложу.

X

Есть нечто пышное в облике зрительного зала Большого театра: золото и красный шелк, красный штоф. Тяжелыми складками висят портьеры лож с затканными на пурпуре цветами, и в этих складках многолетняя пыль; обширны аванложи, мягки кресла партера, холодны и просторны фойе, грубовато-великолепны ложи царской фамилии, и походят на министров старые капельдинеры, лысые, в пенсне, в ливреях. Молча едят друг друга глазами два истукана у царской ложи. Дух тяжеловатый, аляповатый, но великодержавный есть здесь.

Христофоров, явившийся в ложу первым и одиноко сидевший у ее краснобархатного барьера, чувствовал себя затерянным в огромной, разодетой толпе. Театр наполнялся. Входили в партер, непрерывное движение было в верхах, усаживались в ложах; кое-где направляли бинокли. Над всем стоял тот ровный, неумолчный шум, что напоминает гудение бора — голос человеческого множества. Человечество затихло лишь тогда, когда капельмейстер, худой, старый человек во фраке, взмахнул своей таинственной палочкой и за ней взлетели десятки смычков того удивительного существа, что называется оркестром. Загадочно, волшебством вызывали они новую жизнь; и помимо лож, партера и публики в театре появилась Музыка. Поднялся занавес, чтобы в безмолвном полете балерин дать место гению Ритма.

Анна Дмитриевна явилась вовремя. Фанни немного опоздала. Фанни была еще сильнее подкрашена. Она уселась рядом с Христофоровым с видом деловым, уверенным; оглядела залу, оркестр, сцену, как бы проверяя, все ли в порядке. Иногда, рассматривая балет, вдруг наклонялась к Анне Дмитриевне и шептала:

— Взгляни на Казакевич. Летом в Крыму нарочно загорала, и третий месяц загар с рук и с плеч не сходит. Крайняя справа — Семенова. Как мила! Ты понимаешь, одна простота, никаких фанаберий, настоящая добросовестная работа.

Анна Дмитриевна улыбалась ей глазами, но была сдержанна, одета в черном, несколько бледна. Дышала не вполне ровно. К концу акта дверь в аванложу отворилась, звякнули шпоры. Занавес побежал вниз. Стало светлее, зааплодировали. Никодимов, худой, с правильным пробором и белыми аксельбантами подошел к Анне Дмитриевне, поцеловал руку. Вид он имел измученный; глаза его угрюмо темнели. Он вынул надушенный платочек и разгладил усы.

— Бог мой,— сказала Фанни,— не узнаю вас, дорогой.

— Я нездоров,— ответил Никодимов.— У меня невралгия лицевых нервов. Я очень дурно сплю по ночам.

— Ах, pauvre enfant!

Фанни засмеялась и стала показывать Христофорову знаменитого коннозаводчика, сидевшего в первом ряду.

— Вы меня звали,— сказал Никодимов тихо Анне Дмитриевне — я пришел, несмотря на нездоровье.

Она вздохнула, прошла в аванложу и села на диван. Заложив ногу на ногу, подрагивая носком лакированной туфли, вертела она в руке лорнет. Наконец, как бы пересилив себя, сказала:

— Правда ли, что вы подделали мою подпись?

Никодимов сложил руки на коленях и глядел вниз.

— Я отдам вам эти деньги, очень скоро. Я сейчас в большом выигрыше. А тогда нужны были, чрезвычайно.

Анна Дмитриевна помолчала.

— Правда ли, что за вами какое-то темное дело... по части нравственности? И еще, у вас живет... такой юноша?

— Не беспокойтесь, на скамье подсудимых меня вы не увидите. Вас не скомпрометирую.

— Дело не во мне,— ответила она глухо,— дело в том, что вы окончательно гибнете.

— Это возможно. Возможно, что я окончательно выхожу из числа так называемых порядочных людей.

В зрительном зале стемнело, поднялся занавес. Сцена представляла мастерскую кукольного мастера. Несколько кукол сидело недвижно. С легкими подругами прокрадывалась сюда Коппелия. После мимических сцен являлся хозяин, испуганные гости разбегались.

— Недурна,— говорила Фанни Христофорову,— Коппелия недурна, но и только. «Как бы разыгранный Фрейшиц перстами робких учениц». Если б Веру Сергеевну в этой роли видели! Ну, что она выделывает!

В это время в аванложе Никодимов говорил:

— Я никогда не понимал, чем виноват так называ-

емый безнравственный человек, что он родился именно таким? Почему вы брюнетка, а не блондинка? Много приятнее быть симпатичным и добрым, жить в почете, довольстве, уважении, чем путаться в долгах, ощущать презрение и ждать той черной дыры, куда все сваливаются. Скучать, болеть, завидовать... Нет, мы порочные, составляющие касту в обществе, вряд ли сойдемся когда-либо с довольными собой. Во все времена были мы отверженными. Так и всегда будет. Разве что со временем люди несколько поумнеют и поймут, что одной благородной позы мало.

— Все стараетесь себя оправдать...

— Ни нравственного, ни безнравственного нет. Есть люди, родившиеся с разными вкусами. Вы любите артишоки, а я ростбиф. Я и есть буду ростбиф, и меня станут называть прохвостом. А все дело в том, что природа, или Господь Бог, произвели нас на свет с разными вкусами. Свободная воля! Глупость, выдуманная попами.

Никодимов говорил негромко, сидел спокойно, лишь иногда, от боли в виске, страдальчески подергивал глазом.

Анна Дмитриевна смотрела на этого человека, так много взявшего в ее жизни, на его сухие пальцы с отточенными ногтями, на перстень с вырезанным черепом и двумя костями, на изможденное, но породистое лицо,— и как бывало нередко — странная смесь обаяния и презрения, нежности и обиды, пронзительной жалости и отвращения подымалась в ней.

— Ах,— сказала она, задохнувшись,— чем вы меня взяли?

— Жалостью,— ответил Никодимов.— Вы считаете, что посланы в мою жизнь, чтобы исправить меня. Женщины с добрым сердцем, как вы, нередко чувствуют именно так. Смею вас уверить.

— Замолчите, вы... слышите, замолчите...— шепотом, давясь словами, произнесла Анна Дмитриевна. Она закрыла глаза платочком, откинулась на диван. Влево темнел треугольник между портьерой. Там был полумрак гигантского театра, тысячи голов и глаз, направленных на сцену.

Коппелия танцевала длинное и трудное adagio, Фанни впивалась в каждое ее движение. Временами бормотала: «Молодец! Для нее — даже хорошо!» Упираясь в пол носком, рукой придерживаясь за высоко поднятую руку партнера. Коппелия вся вытянулась горизонтально, слегка колебля другой ногой, как хвостом рыбы, и медленно, легко и изящно описывала полный круг.

Adagio имело успех. Коппелия выпорхнула и раскланялась,— с той нечеловеческой легкостью, которая поражает в балете.

— Таланта у ней мало,— судила Фанни,— но работа большая. Очень изящно. Это и говорить нечего.

Анна Дмитриевна видела только конец третьего акта. Ансамбли, дуэты, соло бессвязно проносились перед глазами, Фанни разбирала всех по косточкам. Одна отяжелела — известная немолодая балерина с дивными ногами; другая великолепна по темпераменту, но не вполне строгого вкуса. Третья — вся создана покровительством.

— Фанни хочет сделать из вас балетомана,— сказала Анна Дмитриевна Христофорову, через силу улыбаясь.— У вас голова кругом пойдет, коли будете слушать.

— Что ж, это очень интересно,— ответил Христофоров.

— Не взыщите, голубок,— моя слабость! Чем я виновата, если балет меня восхищает? Посмотрела — точно бутылку шампанского выпила.

Когда по окончании все спускались к выходу, Христофоров обратился к Анне Дмитриевне:

— Я очень благодарен, что вы меня взяли.

— Вы что ж,— ответила Анна Дмитриевна,— вообще, кажется, становитесь светским человеком? Фрак бы еще на вас нацепить да вывести на бал.

Христофоров рассмеялся, поглаживая свои усы.

— Во фраке мне действительно неподходяще. Светскость... ну, какая же! Но, конечно, я ценю новые впечатления, даже очень ценю,— прибавил он серьезнее.— Я хотел бы очень много видеть, как можно больше.

У выхода, под гигантскими колоннами портика, Фанни пригласила их к себе ужинать. Христофоров сначала замялся, потом согласился.

— У меня есть вино,— сказала Фанни.— Разумеется, дареное,— прибавила она и захохотала.

Зимней, свежей ночью, при блеске огней из Метрополя, шли они вверх, к Лубянской площади. Миновали лубянский фонтан, старую, красную церковку Гребневской Божией Матери, прежний застенок, и вышли на Мясницкую — улицу камня, железа, зеркальных витрин с выставленными двигателями, контор, правлений и немцев.

Фанни снимала огромную квартиру в Армянском переулке. Была она запутанного, сложного устройства, с бильярдной комнатой, полутемной столовой, огром-

ной гостиной, не менее чем тремя спальнями. Старинные, дорогие вещи стояли вперемежку с рыночными; в гостиной сомнительные картины; в общем дух безалаберной, праздной и веселой жизни.

— Ну, для чего тебе, например, бильярд?— спрашивала Анна Дмитриевна, стоя с кием у освещенного низкой лампой бильярда.

Христофоров с улыбкой перекатывал белые шары.

— Как зачем? А захочу играть? Вот, младенца этого обучу этому ремеслу,— она кивнула на Христофорова и захохотала.— Лена,— крикнула она горничной,— скорее, ужинать! Сейчас, переоденусь только. Одна минута.

И она выбежала, на своих коротковатых, резвых ногах.

— Фанни живой человек,— сказала Анна Дмитриевна,— неунывающий. В клубе ночами в карты дуется, поспит часа два, и как рукой сняло, опять весела, в кафе, в концерт, куда угодно.

Когда их позвали в столовую, Фанни, в капоте, заложив ногу на ногу, сидела у телефона. Она заканчивала отчет о спектакле.

— Успех,— да, средний, но да. Adagio прямо понравилось. В общем это, конечно, серединка... понимаете, дорогая моя... От настоящего, большого искусства, как у вас, ну... бесконечность.

Фанни кормила их недурным ужином. Не обманула и насчет вина. Была в очень живом настроении и рассказывала о студенческих сходках 1905 года. «Товарищи,— кричала она и хохотала простодушно,— не напирайте, товарищ Феня родит! Товарищи, не курите, ничего не слышно!» Затем изображала еврейские анекдоты, с хорошим выговором.

Анна Дмитриевна пила довольно много. Фанни подливала. Ее собственные подкрашенные глаза блестели.

— Пей,— говорила она,— вино мне подарили, не жаль. А тебе надо встряхнуться. Ты мне не н'дравишься последнее время. Не н'дравишься,— язык ее склонен был заплетаться.— Плюнь, выпьем.

После ужина перешли в будуар. Затопили камин. Фанни принялась полировать себе ногти.

— Алексей Петрович, милый вы человек,— вдруг сказала Анна Дмитриевна, взяла его за руки и припала на плечо горячим лбом,— что же делать? как существовать? Ангел, мне вся я не н'дравлюсь, с головы до пят, все мы развращенные, тяжелые, измученные... На вас взгляну, кажется: он знает! Он чистый и настоящий...

Христофоров смутился.

— Почему же я...

— Если вы такой,— продолжала Анна Дмитриевна,— то должны знать, как и что... где истина.

— Об истине,— ответил он не сразу,— я много думал. И о том, как жить. Но ведь это очень длинный разговор... и притом мои мысли никак нельзя назвать... объективными, что ли. Может быть, только для меня они и хороши.

Анна Дмитриевна глядела на танцующее золотое пламя в камине.

— Все-таки скажите ваш устой, ваше главное... понимаете,— я же не умею выражаться.

Христофоров улыбнулся.

— Вот и история... Мы были в балете, пили шампанское, смеялись, и вдруг дело дошло до устоев.

Анна Дмитриевна вспыхнула.

— Смешно? Считаете меня за вздорную бабу?

— Нисколько,— тихо и серьезно ответил Христофоров.— Я хочу только сказать, что многое сплетается в жизни причудливо. К вам, Анна Дмитриевна, я отношусь с симпатией. Многое родственно мне, думаю, в вашей душе. Поэтому, именно лишь поэтому, я скажу вам один свой *устой*, как вы выражаетесь.

Христофоров помолчал.

— Мне почему-то приходит сейчас в голову одно... О бедности и богатстве. Об этом учил Христос. Его великий ученик, св. Франциск Ассизский, прямо говорил о добродетели, мимо которой не должен проходить человек: sancta povertade, святая бедность. Все, что я видел в жизни, все подтверждает это. Воля к богатству есть воля к тяжести. Истинно свободный лишь *беззаботный*, вы понимаете, лишенный связей дух. Вот почему я не из демократов. Да и богачи мне чужды.

Он улыбнулся.

— Я не люблю множества, середины, посредственности. Нет ничего в мире выше христианства. Может быть, я не совсем его так понимаю. Но для меня — это аристократическая религия, хотя Христос и обращался к массе. Моя партия — аристократических нищих.

— Фанни,— сказала Анна Дмитриевна,— слышишь? «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому внити в Царствие Небесное»! Это про нас с тобой.

— Давно известно,— ответила Фанни, зевнув,— и не в моем духе. Богатство есть изящная оправа жизни. Ведь и вы не отказываетесь от моего шампанского.

— Шампанского! Нет, это в высшем смысле, ты не

понимаешь. Меня твое шампанское не зальет, если тут у меня болит, здесь, в сердце!

— Оставь, пожалуйста! Эти сердечные томления надо бросить для неврастеников, а самим жить, пока молоды. Ведь и Алексей Петрович же жизнь ценит.

Христофоров подтвердил. Только добавил, что бедность вовсе не мешает любить жизнь, а, быть может, делает эту любовь чище и бескорыстнее. Анна Дмитриевна резко стала на сторону Христофорова. Точно ее это облегчало.

— Ну, и отлично,— сказала в третьем часу Фанни,— продавай свой особняк, раздай деньги бедным и поступай на службу в городскую управу.

Все засмеялись. Так как было поздно, Фанни предложила ночевать у себя. Христофоров сперва стеснялся. Но простой и искренний тон Фанни убедил его. Ему постелили в дальней комнате, на громадной кровати — роскошном детище Louis XV.

— Вот и спите здесь, поклонник Франциска Ассизского,— сказала Фанни, прощаясь.— Вы увидите, что это гораздо лучше, чем на соломе, в холодной хижине.

Когда она ушла, Христофоров, раздеваясь, с улыбкой смотрел на резных красного дерева амуров, натягивавших в него свои луки. Ему вдруг представилось, что вполне за св. Франциском он идти все же не может. Погасив свет, он лежал в темноте, на чистых простынях мягкой постели. «Все-таки,— думал он,— слишком я люблю земное». Он долго не мог заснуть. Вспоминался сегодняшний вечер, балет. Анна Дмитриевна, неожиданный ужин, разговор, странное пристанище на ночь. Так и вся жизнь, от случая к случаю, от волны к волне, под всегдашним покровом голубоватой мечтательности. Ему вдруг вспомнилось, как у памятника Гоголю Машура с полными слез глазами сказала, что любит *одного* Антона. Он вздохнул. Нежная, мучительная грусть пронзила его сердце. Отчего до сих пор, до тридцати лет — он один? Милые женские облики, к которым он склонялся... и с некоторой ступени, как сны, они уходили. «А Машура?»

«Одиночество,— говорил другой голос.— Святое или не святое — но одиночество».

Он засыпал.

XI

Довольно долго после встречи с Антоном осенью Машура считала, что ее сердечные дела прочны. Антон был так кроток, предан, такое обожание выдавали его

небольшие глаза, какое бывает у людей самолюбивых и уединенных. И Машуре с ним казалось легко. «Этот не выдаст,— думала она.— Весь действительно мой». Она улыбалась. Но незаметно — в сердце оставалась царапина — недоговоренное слово, мысль невысказанная.

Раз в разговоре, при ней, Наталья Григорьевна назвала одного знакомого, служившего в банке:

— Отличный человек. Типа, знаете ли, семьянина, абсолютного мужа.

Она даже засмеялась, довольная, что нашла слово.

— Именно, это абсолютный муж.

Хотя к Антону эти слова не относились, все же Машуре почему-то были неприятны. «Какие глупости,— говорила она себе.— Разве Антон в чем-нибудь похож на этого банковского чиновника? Абсолютный муж!» Но и самой ей казалось странным, что об Антоне она мало думает. Когда он приходит, это приятно, даже ей скучно, если его нет. Все же... Не совсем то.

Однажды возвращаясь с ним по переулку, морозной ночью, Машура вдруг спросила:

— Это какая звезда?

Антон поднял голову, посмотрел, ответил:

— Не знаю.

— Да, ты не любишь...

Машура не договорила, но почему-то смутилась, ей стало даже немного неприятно. Антон тоже почувствовал это.

— Не все ли равно, как называется эта или та звезда? — сказал он недовольно.— Кому от этого польза?

«Не польза, а хочу, чтобы знал»,— подумала Машура, но ничего не сказала. А час спустя, раздеваясь и ложась спать, с улыбкой и каким-то острым трепетом вспомнила ту ночь, под Звенигородом, когда они стояли с Христофоровым в парке, у калитки, и рассматривали звезду Вегу. «Почему он назвал ее тогда *своей* звездой? Так ведь и не сказал. Ах, странный человек Алексей Петрович!»

Через несколько дней, незадолго до Рождества, Машура медленно шла утром к Знаменке. Из Александровского училища шеренгой выходили юнкера с папками, строились, зябко подрагивая ногами, собираясь в Дорогомилово, на съемку. Машура обогнула угол каменного их здания и мимо Знаменской церкви, глядевшей в окна мерзнущих юнкеров, направилась в переулок. Было тихо, слегка туманно. Галки орали на деревьях. Со двора училища свозили снег; медленно

брел старенький артиллерийский генерал, подняв воротник, шмурыгая закованными калошами. Машура взяла налево в ворота, к роскошному особняку, где за зеркальными стеклами жили картины. Ей казалось, что этот день как-то особенно чист и мил, что он таит то нежно-интересное, что и есть прелесть жизни. И она с сочувствием смотрела на галок, на запушенные снегом деревья, на проезжавшего рысцой московского извозчика в синем кафтане с красным кушаком.

Теплом, светом пахнуло на нее в вестибюле, где раздевались какие-то барышни. Сверху спускался молодой человек в блузе, с длинными волосами à la Теофиль Готье, с курчавой бородкой: вне сомнения, будущий Ван-Гог.

По залам бродили посетители трех сортов: снова художники, снова барышни и скромные стада экскурсантов, покорно внимавших объяснениям. Машура ходила довольно долго. Ей нравилось, что она одна, вне давления вкусов; она внимательно рассматривала туманно-дымный Лондон, яркоцветного Матисса, от которого гостиная становится светлей, желтую пестроту Ван-Гога, примитив Гогена. В одном углу, перед арлекином Сезанна, седой старик в пенсне, с московским выговором, говорил группе окружавших:

— Сезанн-с, это после всего прочего, как, например, господина Монэ, все равно что после сахара а-ржаной хлебец-с...

Тут Машура вдруг почувствовала, что краснеет: к ней подходил Христофоров, слегка покручивая ус. Он тоже покраснел, неизвестно почему. Машуре стало на себя досадно. «Да что он мне, правда?» Она холодно подала ему руку.

— А я,— сказал он смущенно,— все собираюсь к вам зайти.

— Разве это так трудно? — сказала Машура. Что-то кольнуло ей в сердце. Почти неприятно было, что его встретила — или казалось, что неприятно.

— Меня стесняет, что у вас всегда народ, гости...

«Вы предпочитаете tête-à-tête, как в Звенигороде,— подумала Машура.— Чтобы загадочно смотреть и вздыхать!»

Пройдя еще две залы, попали они в комнату Пикассо, сплошь занятую его картинами, где из ромбов и треугольников слагались лица, туловища, группы.

Старик — предводитель экскурсантов снял пенсне и, помахивая им, говорил:

— Моя последняя любовь, да, Пикассо-с... Когда его в Париже мне показывали, так я думал — или все с

ума сошли, или я одурел. Так глаза и рвет, как ножичком чикает-с. Или по битому стеклу босиком гуляешь...

Экскурсанты весело загудели. Старик, видимо не впервые говоривший это и знавший свои эффекты, выждал и продолжал:

— Но теперь-с ничего-с... Даже напротив, мне после битого стекла все мармеладом остальное кажется... Так что и этот портретец,— он указал на груду набегавших друг на друга треугольников, от которых правда рябило в глазах,— этот портретец я считаю почище Монны Лизы-с, знаменитого Леонардо.

— А правда,— спросил кто-то неуверенно,— что Пикассо этот сошел с ума?

Машура вздохнула.

— Может быть, я ничего не понимаю,— сказала она Христофорову,— но от этих штук у меня заболит голова.

— Пойдемте,— сказал Христофоров,— тут очень душно.

Его голубые, обычно ясные глаза правда казались сейчас утомленными.

Спустившись, выйдя на улицу, Христофоров вздохнул.

— Нет, не принимаю я Пикассо. Бог с ним. Вот этот серенький день, снег, Москву, церковь Знамения — принимаю, люблю, а треугольники — Бог с ними.

Он глядел на Машуру открыто. Почти восторг светился теперь в его глазах.

— Я вас принимаю и люблю,— вдруг сказал он.

Это вышло так неожиданно, что Машура засмеялась.

— Это почему ж?

Они остановились на тротуаре Знаменского переулка.

— Вас потому,— сказал он просто и убежденно,— что вы лучше, еще лучше Москвы и церкви Знамения. Вы очень хороши,— повторил он еще убедительнее и взял ее за руку так ясно, будто бесспорно она ему принадлежала.

Машура смутилась и смеялась. Но ее холодность вся сбежала. Она не знала, что сказать.

— Ну, идем... Ну, эта церковь, и объяснения на улице... Я прямо не знаю... Вы какой странный, Алексей Петрович.

На углу Поварской и Арбата, прощаясь с ней, он поцеловал ей руку и сказал, глядя голубыми глазами:

— Отчего вы ко мне никогда не зайдете? Мне

иногда кажется, что вы на меня сердитесь... Но, право, не за что. Кому-кому,— прибавил он,— но не вам.

Машура кивнула приветливо и сказала, что зайдет.

Она шла по Поварской, слегка шмурыгая ботиками. Что-то веселое и острое овладело ею. «Ну, каков Алексей Петрович! Вы очень хороши, лучше Москвы и церкви Знамения!» Она улыбнулась.

Дома все было как обычно. В зале стояла елка, которую Наталья Григорьевна готовила ко второму дню Рождества, для детей и взрослых. Пахло свежей хвоей, серебряные рыбки болтались на ветвях. Машура поднялась к себе наверх. В комнатах ее тепло, светло и чисто, все на своих местах, уютно и культурно. Она молода, все интересно, неплохо... Машура села в кресло, заложила руки за голову, потянулась. В глазах прошли цветные круги. «Ах, все бы хорошо, отлично, если б... Господи, что же это такое? А?» — Стало жутко почему-то, даже страшно.— Что же, я врала Антону? Ну, зачем, зачем... — Острое чувство тревоги и тоски наполнило ее.— Почему все так выходит? Разве я...» Все смешалось в ней, то ясное, утреннее ушло и сменилось сумбуром. Кто такой Христофоров? Как он к ней относится? Что значат его отрывочные, то восторженные, то непонятные, слова? Может быть, все это — одна игра? И как же с Антоном? На нее нашли сомнения, колебания. Она расстроилась. Даже слезы выступили на глазах.

Завтракала она хмурая, в сумерках села к роялю, разбирая вещицу Скрябина, которую слышала в концерте. Но там было одно, здесь же выходило подругому.

Пришел Антон. Слегка сутулясь, как обычно, он подал ей холодную от мороза руку и сказал:

— Это Шопен? Помню, слышал. Только ты замедляешь темп.

— Вовсе не Шопен,— сухо ответила Машура.

«Он уверен, что все знает, и музыку, и искусство,— подумала она недружелюбно,— удивительное самомнение!»

— Да, значит, я ошибся,— сказал Антон, покраснев,— во всяком случае, темп ты чрезмерно замедляешь.

Машура взглянула на него.

— Я просто плохо читаю ноты.

Он ничего не ответил, но чувствовалось, что остался недоволен.

— Я была нынче в галерее,— сказала Машура, кончив и обернувшись к нему.

— Не знал. Я бы тоже пошел. Отчего ты мне не сказала?

— Просто встала утром и решила, что пойду.

В пять часов они пили чай одни — Наталья Григорьевна уезжала в комитет детских приютов, где работала. Отрезая себе кусок soupe anglaise, Антон сказал, что, по его мнению, все эти кубисты, футуристы, Пикассо — просто чепуха и смотреть их ходят те, кому нечего делать. Машура возразила, что Пикассо вовсе не чепуха, что в галерею ходит много художников и понимающих в искусстве. Например, там встретила она Христофорова.

— Христофоров понимает столько же в живописи, сколько Наталья Григорьевна в литературе,— вспыхнув, ответил Антон.

Машура рассердилась.

— Мама в десять раз образованнее тебя, а ругать моих знакомых — твоя обычная манера.

Антон заволновался. Он ответил, что в этом доме ему давно тесно и душно, что, если бы не любовь к Машуре, он бы здесь никогда не бывал, ибо ненавидит барство, весь барственный склад и действительно не любит их знакомых.

В его тоне было задевающее. Машура обиделась, ушла наверх. Но Антон погружался в то состояние нервного возбуждения, когда нельзя остановиться на полуслове, когда нужно говорить, изводить, чтобы потом в слезах и поцелуях помириться или же резко разойтись. В ее комнате стал он доказывать, что не уверен, любит ли она его по-настоящему, и, во всяком случае, если любит, то очень странно.

Машура сказала, что ничего странного нет, если она случайно встретила Христофорова. Разговор был длинный, тяжелый. Антон накалялся и к концу заявил, что теперь он видит,— во всяком случае Машура дитя своего общества, которое ему ненавистно и где, видимо, иные понятия о любви, чем у него. Тогда она сказала, что Христофоров звал ее к себе и что она пойдет.

— Это гадость, понимаешь, мерзость! — закричал Антон.— Ты делаешь это нарочно, чтобы меня злить.

Он ушел взбешенный, хлопнув дверью. Машура плакала в этот вечер, но какое-то упрямство все сильнее овладевало ею. «Захочу,— твердила она себе, лежа в темноте, в слезах на кушетке,— и пойду. Никто мне не смеет запрещать».

Вернувшись домой, Наталья Григорьевна осталась недовольна. По одному виду Машуры и тому, что был

Антон, она поняла, в чем дело. Эти сердечные столкновения весьма ей не нравились. Со своим покойным мужем она прожила порядочно, как надлежит культурным людям, без всяких слез и сумасбродств. И считала, что так и надо.

На другой день с утра заставила Машуру заняться елкой, распределять подарки, посылала прикупить, чего нужно,— то к Сиу, то к Эйнем. Машура машинально исполняла; в этих мелких делах чувствовала она себя лучше.

Как в хорошем, старом доме, Рождество у Вернадских проходило по точному ритуалу: на первый день являлись священники, пели «Рождество Твое, Христе Боже наш»; Наталья Григорьевна кормила их окороком, угощала наливками, мадерами и теми неопределенно-любезными разговорами, какие обычно ведутся в таких случаях. Она не была поклонницей этих vieux religieux, но считала, что обряды исполнять следует, ибо они — часть культурной основы общежития.

Потом приезжали с бесконечными визитами разные дамы, какие-то старики, подкатывали лицеисты в треуголках, шаркали, целовали ручку и ели торты. Весь день приходили поздравлять с черного хода. Наталья Григорьевна заранее наменивала мелочи.

В этом году все протекало в обычном порядке; как обычно, Машура очень устала к концу первого дня. Как всегда, много было народу и детей на второй день, на елке; было так же парадно и скучновато, как полагается на елках взрослых. Профессор, друг Ковалевского, длинно рассказывал, глотая кофе, что обычай празднования Рождества восходит к глубокой древности, дохристианской. Его прообраз можно найти в римских Сатурналиях, где также дарили друг другу свечи, орехи, игрушки.

Антон не пришел; он не явился и на следующий день и не звонил. Подошел новый год. Машура чокнулась шампанским с матерью, а Антона будто и не было. «Что-то будет в этом году!» — думала она, засыпая после встречи. Чувствовала себя одиноко, то хотелось плакать, то, напротив, сердце останавливалось в истоме и нежности.

И не очень долго раздумывая, вдруг в один морозный, святочный вечер надела она меховую кофточку, взяла муфту и, ничего не сказав матери, по скрипучему снегу побежала к Христофорову.

XII

Христофоров был дома. В его мансарде горела на столе зеленая лампа. Окна заледенели; месяц, еще не полный, золотил их хитрыми узорами. А хозяин, куря и прихлебывая чай, раскладывал пасьянс. Он был задумчив, медленно вынимал по карте и рассматривал, куда ее класть. Валеты следовали за тузами, короли за тройками, в царстве карт был новый мир, отвлеченнее, безмолвней нашего. Всегда важны короли, одинаковы улыбки дам, неподвижно держат свои секиры валеты. Они слагались в таких сложных сочетаниях! Их печальная смена и бесконечность смен говорили о вечном круговороте.

«Говорят,— думал Христофоров,— что пиковая дама некогда была портретом Жанны д'Арк». Это его удивляло. Он находил, что дама червей напоминает юношескую его любовь, давно ушедшую из жизни. И каждый раз, как она выходила, жалость и сочувствие произали его сердце.

Он удивлен был легкими шагами, раздавшимися на лесенке, отворилась дверь — тоненькая, зарумянившаяся от мороза, с инеем на ресницах, стояла Машура.

Он быстро поднялся.

— Вот это кто! Как неожиданно!

Машура засмеялась, но слегка смущенно.

— Вы же сами меня приглашали.

— Ну, конечно, все-таки...— Он тоже улыбнулся и прибавил тише:— Я, правду говоря, не думал, что вы придете. Во всяком случае, я очень рад.

— Я была здесь,— говорила Машура, снимая шубку и кладя ее на лежанку,— только раз, весной. Но вас тогда не застала. И оставила еще черемуху... Что это вы делаете?— сказала она, подходя к столу.— Боже мой, неужели пасьянс?

Она захохотала.

— Это у меня тетка есть такая, старуха, княгиня Волконская. У ней полон дом собачонок, и она эти пасьянсы раскладывает.

Христофоров пожал плечами виновато.

— Что поделать! Пусть уж я буду похож на тетку Волконскую.

— Фу, нет, нисколько не похожи.

Христофоров сходил за чашечкой, налил Машуре чаю. Достал даже конфет.

— Вы дорогая гостья, редкая,— говорил он.— Знал бы, что вы придете, устроил бы пир.

Какая-то тень прошла по лицу Машуры.

— Я и сама не знала, приду или нет.

Христофоров посмотрел на нее внимательно.

— Вы как будто взволнованы.

— Вот что,— сказала вдруг живо Машура,— нынче святки, самое такое время, к тому же вы чернокнижник... наверное умеете гадать. Погадайте мне!

— Я все-таки не цыганка!— сказал он и засмеялся. Его голубые глаза нежно заблестели.

Но Машура настаивала. Все смеясь, он стал раскладывать карты по три, подражая старинным гаданиям, и, припоминая значение карт, рассказывал длинную ахинею, где были, разумеется, червонная дорога, интерес в казенном доме, для сердца — радость.

— Вам завидует бубновая дама,— сказал Христофоров и разложил следующую тройку.— Любит вас король треф, а на сердце, да... король червей.

— Это — блондин?— спросила Машура.

Христофоров взглянул на нее загадочно. Она не поняла, всерьез это или шутка.

— Да, блондин. Как я.

Он вдруг смутился, положил колоду, взял Машуру за руку.

— Это неправда,— сказал он,— у червонного короля на сердце милая королева, приходящая святочным вечером, при луне.

Он поцеловал ей руку.

— Или, может быть, снежная фея, лунное виденье.

Машура побледнела и немного откинулась на стуле.

— Может быть, вы исчезнете сейчас, растаете, как внезапно появились,— вдруг сказал Христофоров, тревожно, тихо и почти с жалобой. Голубые глаза его расширились. Машура смотрела. Странное что-то показалось ей в них.

— Вы безумный,— тихо сказала она.— Я давно заметила. Но это хорошо.

Христофоров потер себе немного лоб.

— Нет, ничего... Вы — конечно, это вы, но и не вы.

Они сели на диванчик. Машура положила ему голову на плечо и закрыла глаза. Было тепло, сверчок потрескивал за лежанкой, из окна, золотя ледяные разводы на стекле, ложился лунный свет. Машура ощущала — странная нега, как милый сон, сходила на нее. Все это было немного чудесно.

Христофоров гладил ей руку и изредка целовал в висок.

— Почему мне с вами так хорошо?— шепнула Машура.— Я невеста другого, и почему-то я здесь. Ах, Боже мой!

— Пусть идет все как надо,— ответил Христофоров.

Он вдруг задумался и засмотрелся на нее долго, пристально.

— А?—спросила Машура.

— Вы пришли в мою комнату, Машура, в пустую комнату... И уйдете. Комната останется как прежде. Я останусь. Без вас.

Машура слегка приподнялась.

— Да, но вы... кто же вы, Алексей Петрович? Ведь я этого не знаю. Ничего не знаю.

— Я,— ответил он,— Христофоров, Алексей Петрович Христофоров.

— Все равно, я же должна знать, как вы, что вы... Ах, ну вы же понимаете, что вы мне дороги, а сами всегда говорите... я не понимаю...

Она взяла его за плечи и прямо, упорно посмотрела в глаза.

— Вы мое наваждение. Но я ничего, ничего не понимаю.

Она вдруг закрыла лицо руками и заплакала.

— Прелестная,— шептал Христофоров,— прелестная.

Через несколько минут она успокоилась, вздохнула, отерла глаза платочком.

— Это все сумасшествие, просто полоумие глупой девчонки... Мы друзья, вы славный, милый Алексей Петрович, я ни на что не претендую.

Они сидели молча. Наконец Машура встала.

— Дайте мне шубку. Выйдем. Мне хочется воздуха.

Христофоров покорно одел ее, сам оделся. Машура была бледна, тиха. Когда задул он лампу, в голубоватой мгле блеснули на него влажные, светящиеся глаза.

Они вышли. Тень от дома синела на снегу. Христофоров взял Машуру под руку, свел с крыльца и сказал:

— Тут у нас есть садик. Хотите взглянуть?

Отворили калитку и вошли в тот небольшой, занесенный снегом уголок кустов, деревьев, дорожек, какие попадаются еще в Москве. В глубине виднелась даже плетеная беседка, обвитая замерзшим, сухим хмелем. Они сели на скамейку.

— Здесь видны ваши любимые звезды,— Машура не подымала головы.

С деревьев на бархала рукава слетали зеленовато-золотистые снежинки. Все полно было тихого сверкания, голубых теней.

— Прямо над домом, вон там,— сказал Христофоров, указывая рукой,— голубая звезда Вега, альфа созвездия Лиры. Она идет к закату.

— Помните,— произнесла Машура,— ту ночь, под Звенигородом, когда мы смотрели тоже на эту звезду и вы сказали, что она ваша, но почему ваша — не ответили.

— Я тогда не мог ответить,— сказал Христофоров,— еще не мог ответить.

— А теперь?

— Теперь,— выговорил он тихо,— время уже другое. Я могу вам сказать.

Он помолчал.

— У меня есть вера, быть может, и странная для другого: что эта звезда — моя звезда-покровительница. Я под нею родился. Я ее знаю и люблю. Когда ее вижу, то спокоен. Я замечаю ее *первой*, лишь взгляну на небо. Для меня она — красота, истина, божество. Кроме того, она женщина. И посылает мне свет любви.

Машура закрыла глаза.

— Вот что! Я так и думала.

— В вас,— продолжал Христофоров,— часть ее сиянья. Потому вы мне родная. Потому я это и говорю.

— Погодите,— сказала Машура, все не открывая глаз, и взяла его за руку.— Помолчите минуту... именно надо помолчать, я сейчас...

Где-то на улице скрипели полозья. Слышно было, как снег хрустел под ногами прохожих. Доносились голоса. Но все это казалось отзвуком другого мира. Здесь же, в алмазной игре снега, его тихом и непрерывном сверкании, в таинственном золоте луны, снежных одеждах дерев было, правда, наваждение.

Машура медленно поднялась.

— Я начинаю понимать,— сказала она тихо.

Она открыла глаза, взгляд ее вначале напоминал лунатика. Понемногу он прояснился. Она опустила плечи, взялась рукой за спинку скамейки.

— Вот теперь будто бы яснее.

Она еще помолчала.

— Знаете, мне иногда казалось, что вас забавляет играть... игра в любовь, что ли. В постоянном затрагивании и ускользании... для вас какая-то прелесть. Может быть, жизнь изучаете, что ли, женщину... И я бывала даже оскорблена. Я вас временами не любила.

Христофоров подался вперед, сидел неподвижно, глядя на нее.

— Вдруг, именно теперь, в этот вечер, я поняла, что не права.

Она остановилась, как бы захлебнувшись. И продолжала:

— Вы, может быть, меня и любите...

Христофоров нагнул голову.

— Но вы вообще очень странный человек... возможно, я еще мало жила, но я не видела таких. И именно в эти минуты я поняла, что ваша любовь, как ко мне, так и к этой звезде Веге... ну, это ваш поэтический экстаз, что ли...— Она улыбнулась сквозь слезы.— Это сон какой-то, фантазия, и, может быть, очень искренняя, но это... это не то, что в жизни называют любовью.

— А почему вы думаете,— произнес Христофоров,— что эта любовь хуже?

Машура ступила на шаг вперед.

— Я этого не говорю,— прошептала она. Потом вздохнула.— Может быть, это даже лучше.

— Нет,— сказал Христофоров.— Я вами не играл. Но любовь правда удивительна. И неизвестно, не есть ли еще это настоящая жизнь, а то, в чем прозябают люди, сообща ведущие хозяйство,— то, может быть, неправда... А?

Он спросил с такой простотой и убежденностью, что Машура улыбнулась.

— Вы правы,— сказала она и подала ему руку.— Я, кажется, за этот вечер стала взрослей и старше, чем за много месяцев.

Она провела рукой по глазам.

— Я буду помнить этот странный садик, луну, свою влюбленность... Да, во мне есть, вернее, была влюбленность... я не стыжусь этого сказать. Напротив...

Она направилась к выходу. Христофоров встал. Она вынула часики, взглянула и сказала, что пора домой.

Христофоров проводил ее. Почти у подъезда дома Вернадских встретили они Антона. Он, сутулясь, быстро и решительно шел навстречу. Увидав, поклонился, как малознакомый, и перешел на другую сторону.

Ночью Машура плакала у себя в постели. На Молчановке Христофоров, не раздеваясь, долго лежал на том самом диванчике, где она сидела. Сердце его раздиралось нежной и мучительной грустью.

XIII

Святки в Москве были шумные, как и весь тот год. Гремели кабаре, полгорода съезжалось смотреть танго,— подкрашенные юноши и дамы извивались перед зрителями, вызывая волнение и острую, щемящую тоску. Меценаты устраивали домашние спектакли. В них отличались музыканты, художники, поэты, воспро-

изводя Венецию галантного века. Много было балов. Шли новые пьесы, открывались выставки, клубы работали. Морозной ночью летали тройки и голубки к Яру.

Именно в это время бойкая Фанни, вместе с другими дамами и мужчинами, выдумала устроить маскарад. Собирали деньги, нанимали помещение, музыку; художники писали декорации; дамы шили платья, готовили список приглашенных.

Ретизанов попал туда. Утром приехала к нему Фанни, вручила билет и взяла пятьдесят рублей.

Ретизанов улыбался, глядя на нее.

— Какая вы... быстрая,— сказал он.— Вы ведь меня почти не знаете...

— И тем не менее, вломилась и обобрала? Вас, ангел мой, во-первых, вся Москва знает, второе — вы со средствами, что вам пятьдесят рублей?

— Позвольте,— перебил Ретизанов,— а это интересно? Да, и Лабунская будет танцевать?

Фанни уверила, что сама Вера Сергеевна обещала быть, несравненная, очаровательная.

— Ах, Вера Сергеевна... Нашли кого с Лабунской равнять.

Фанни засмеялась.

— Дело вкуса, голубчик. Не настаиваю.

Уже в передней, подавая ей одеться, Ретизанов сказал:

— Неужели вы серьезно думали привлечь меня этой... Верой Сергеевной?

Фанни хлопнула его слегка муфтой и вышла.

— Вы чудак, ангелочек. Всегдашний чудак. А мне еще в тысячу мест.

И она захлопнула дверь. Ретизанов же пошел пить кофе. Читал газеты и раздражался — ему казалось, что они созданы для опошления жизни. Ничто порядочное не может появиться в них.

В это утро ему пришла мысль о том, что следовало бы заключить союз творцов и людей высшей породы, тайный союз вроде масонского, для охранения духовной культуры, общения между собой и попыток коллективного, но строго аристократического решения дел искусства, философии, поэзии. Мысль его воодушевила. Он бросил кофе, отправился в кабинет, долго ходил из угла в угол, пощелкивая пальцами, бормоча, потом пошел в спальню, для совещания с гениями. Его кровать отделялась занавесью. Он просунул голову между ее складками, погрузил глаза в полумглу, потом закрыл их. Некоторое время молчал, затем, уже против его воли, мозг зашептал бессмысленные слова, пока не

стало казаться, что ни его, ни комнаты нет, все слилось в одно смутное пятно. Гении ответили. Они шептали, слабо и нежно, в оба уха. Он улыбался, кивал. Когда узнал, что нужно и они перестали, он отошел, бледный и усталый, сел на диван и отер лоб. Гении одобрили его. Они сообщили также, что завтра возвращается из Петербурга Лабунская.

В два часа он завтракал, один, в Праге, задумчивый и рассеянный. Когда подали бутылку мозельвейна и он налил вино в зеленоватый бокал, вдруг появился Никодимов.

— Ах, это вы...

Ретизанов даже вздрогнул.

— Ну, присядьте...

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Никодимов, холодновато улыбаясь. — Я не кусаюсь.

Ретизанов смутился.

— Нет, ничего. Я вас не боюсь.

Никодимов спросил, пригласили ли его на маскарад.

— Пригласили... А вы откуда знаете, что все это... что это будет?

Никодимов имел нездоровый вид и слегка подрагивал глазом.

— Я знаю потому, что меня именно не пригласили. Всех моих знакомых пригласили, но не меня.

Ретизанов спросил простодушно:

— Почему же не вас? Это странно.

Никодимов ответил не сразу.

— Потому, — сказал он наконец, — что я Никодимов, Дмитрий Павлыч Никодимов. Но я все равно приду.

— Дмитрий Павлыч Никодимов... — протянул Ретизанов. — Как странно... Да, а знаете, — вдруг добавил он задумчиво, — когда вы подошли, мне на минуту стало жутко... Я ощутил... какую-то мертвенную тень на сердце. Будто что-то неживое.

Никодимов поднялся.

— Довольно, — сказал он. — Мне, знаете, все это надоело. Мертвенная или живая тень, мне все равно. Я пока все же человек, а не фигура.

Ретизанов привстал.

— Нет, да я не хотел вас обидеть.

Но Никодимов повернулся и отошел в дальний угол. Там сел один за столик и потребовал водки. Ретизанов же остался в смущении и некоторой тревоге. Что-то его угнетало. Кончив обед, расплатился. На сердце у него было тоскливо. Хотелось какой-то музыки.

Выйдя на Арбат, он взял налево, пересек площадь и мимо хмурого Гоголя пошел Пречистенским бульваром.

Навстречу бежали гимназистки и хохотали. В тире Военного училища, за стеной, шла стрельба. Дети играли у эстрады. На деревьях гомозилось воронье, устраиваясь на ночь; зажигались желтые фонари, да летел снежок, бил в лицо. Чувство глубокой призрачности охватило Ретизанова. Вдруг ему показалось — стоит ветру дунуть, все развеется, как и он сам. Он остановился...

— Может быть, ничего этого и вовсе нет? — спросил он вслух. Дети шарахнулись от высокого, худого, седоватого господина, говорившего с самим собой. Было уже темно, когда он поднялся наверх. У себя он застал Христофорова — в кабинете, в кресле, у камина.

— Камин уже топился, — сказал Христофоров, улыбаясь, — когда я пришел. Я принес вам книжки, которые брал еще до Рождества. И говоря правду — озяб. Потому и сел погреться.

— Вы как будто извиняетесь, — сказал Ретизанов. — Черт знает! Вы должны были заказать себе кофе или еще что вздумается... Но вы вообще очень скромный человек... Когда я вас вижу, мне кажется, что вы хотите стать боком, в тень, чтобы вас не видели.

— Ну, может быть, я вовсе не так скромен, как вы думаете, — ответил Христофоров.

Ретизанов велел подать кофе.

— Вы действуете на меня хорошо, — сказал он. — В вас есть что-то бледно-зеленоватое... Да, в вас весеннее есть. Когда к маю березки... оделись. Говорят, вы любитель звезд?

— Да, люблю.

— В звездах я ничего не понимаю, но небо чувствую и вечность.

Он помолчал, потом вдруг заговорил с жаром:

— Я очень хорошо понимаю вечность, которая глотает всех нас, как букашек... как букашек. Но вечность есть для меня и любовь, в одно и то же время. Или, вернее — любовь есть вечность...

Ретизанов выпил чашку кофе, совсем разволновался. Он нападал на будничность, серое прозябанье, на само время, на трехмерный наш мир и полагал, что истина и величие — лишь в мире четырех измерений, где нет времени и который так относится к нашему, как наш — к миру какой-нибудь улитки.

— Время есть четвертое измерение пространства, — кричал он. — И оно висит на нас, как ветхие, как тяжелые одежды. Когда мы его сбросим, то станем полубогами и одновременно будем видеть события прошлого и будущего — что сейчас мы воспринимаем в

последовательности, которую и называем временем. Впрочем, вы понимаете меня.

Христофоров сидел, молчал и курил. Ему нравилось золотое пламя, беспрерывный, легкий его танец, но с самого того вечера, как Машура приходила к нему, его не покидало чувство острой, разъедающей тоски. Машура жила все тут же, на Поварской. Но у него было ощущение, что она где-то бесконечно далеко. Неужели он подойдет, позвонит у подъезда и взойдет в ее светелку, где она читает или шьет? Это казалось ему невозможным.

Ретизанов наконец умолк. Молча он смотрел в камин, потом вдруг обернулся к Христофорову.

— Вы о чем-то думаете, своем,— сказал он.— Ха! Я волнуюсь, а вы погружены в мысли и как будто печальны.

— Нет,— ответил Христофоров.— Я ничего.

Ретизанов взял щипцы и помешал в камине.

— Печаль, во всяком случае, украшает мир. Он становится не так плоск. Быть может, душа стремится за пределы, одолеть которые дано лишь мудрым.

Он вдруг засмеялся.

— Слушайте, совсем про другое. Хотите идти со мной в маскарад... Такой художественно-поэтический маскарад на днях.

Христофоров вздохнул и улыбнулся.

— Я получил приглашение. Но, во-первых, у меня нет костюма.

— Можно просто во фраке.

Христофоров встал, подошел к нему и, положив руку на плечо, сказал тихо, со смехом:

— Но у меня, дорогой мой хозяин, именно нет фрака.

Ретизанов удивился:

— Да... фрака! Так вы говорите, что у вас нет фрака?

Христофоров, все так же смеясь, уверил его, что не только фрака нет, но и никогда не было.

— Да, и не было...— проговорил Ретизанов с той же задумчивостью и как бы серьезностью, с какой мог говорить о четырехмерном мире.— Ну, если и не было...— вдруг он хлопнул рукой по столу.— Если не было, так возьмите мой!

Христофоров, все улыбаясь, начал было его отговаривать. Но Ретизанов заявил, что если все дело во фраке, он обязательно дает свой, старый, но вполне приличный.

— Позвольте,—кричал он уж у себя в спальне,

снимая с вешалки фрак с муаровыми отворотами, на почтенной шелковой подкладке,— если вы не можете идти, потому что не во что одеться, а какой-нибудь Никодимов, игрок, дрянь, будет... Нет, это уж черт знает что!

Фрак оказался впору. Но Ретизанов так увлекся, что заставил мерить жилет и брюки.

— Послушайте,— сказал он горячо,— я очень вас прошу: наденьте все, здесь фрачная сорочка, галстук, бальные туфли.

Христофоров изумился:

— Зачем?! Для чего же...

— Я хочу поглядеть вас, в параде... Нет, пожалуйста... Вы, может быть, будете другой... Я выйду, вы оденьтесь, приходите в кабинет.

Как ни странно было, Христофоров исполнил просьбу. Когда он повязал белый галстук, оправился перед зеркалом, то и ему самому стало странно: правда, показался он как-то иным, тоньше, наряднее, будто свадебное нечто, торжественное появилось в нем.

«Вот и маскарад,— думал он с горечью и странной нежностью, идя в кабинет.— Вот уж и я — не я!»

— Принц и нищий,— сказал он с улыбкой Ретизанову, войдя в кабинет.

Ретизанов одобрил.

Сговорились так, что в день маскарада, к одиннадцати, Христофоров зайдет к нему и вместе они поедут.

Уже в передней, провожая его, Ретизанов впал в задумчивость.

— А скажите, пожалуйста,— вдруг спросил он,— что, по-вашему, за человек Никодимов?

— Я не знаю,— ответил Христофоров.

Через минуту прибавил:

— По-моему — тяжелый.

— А по-вашему, он на многое способен?

Христофоров несколько удивился.

— Почему вы... так спрашиваете?

— Нет, нипочему. Я его нынче встретил. Вы знаете, что он мне сказал? Что непременно будет на этом маскараде, хотя его и не звали. Нет, невыносимый человек. Я его ощутил сегодня знаете как? Мертвенно. По-вашему, он зачем туда идет?

Христофоров ничего не мог сказать. Ему подали лифт, он поехал вниз плавно и вдруг тоже вспомнил Никодимова, как спускались они утром, летом, в этом же лифте. «А действительно, тяжелый человек»,— подумал он. Вспомнил, как боялся Никодимов лифта. Ему стало даже жаль его.

XIV

Через несколько дней, в назначенное время, Христофоров вновь входил в знакомую квартиру. Ретизанов брился. Он был повязан салфеткой, одна щека гладкая, чуть синеватая, другая вся в мыле. Он оставил острую бородку — лицо его стало еще бледней и худей. Увидев Христофорова, кивнул, улыбнулся с тем жалким видом, какой имеют бреющиеся люди.

— Как по-вашему,— спросил он, стараясь не порезаться,— ничего, что я бородку оставил? Или сбрить?

На него напала нервная нерешительность. Сбрить или не сбрить? Он омыл лицо одеколоном, попудрил так, что большие синие глаза еще лучше оттенялись на белизне, и все колебался.

— Нет, не брить,— тихо сказал Христофоров.

— Так вы думаете — оставить... А знаете...— он вдруг захохотал,— я сегодня, по морозу, ходил мимо дома, где живет Лабунская, и выбирал момент, когда народу меньше. Осмотрюсь и сниму шапку, иду непокрытый. Это было страшно радостно. Вы меня понимаете?

Он вынимал уже обмундировку Христофорова. Слегка стесняясь, тот стал переодеваться. Он был в несколько подавленном настроении — и безучастен. «Хорошо,— думал он, глядя на своего двойника в зеркале и застегивая запонку крахмальной рубашки,— пускай маскарад или что угодно. Что угодно».

— А вдруг,— говорил в это время Ретизанов, повязывая галстук,— я приеду и не узнаю там Лабунской? Черт... все в масках и костюмах... Это может случиться?

— Вы почувствуете ее,— ответил Христофоров.

— Почувствую... я ее чувствую; когда она в Петербурге... Но вдруг нападет слепота... Понимаете, духовная слепота...

В двенадцать были они готовы. Ретизанов надел на гостя шубу, они вышли. Наняли на углу *резвого*, запахнулись полостью и покатили. Рысак, правда, шел резко, но сбивался; снег скрипел; Москва была уже пустынна; по небу, освещенные снизу, летели белые облака, и провалы между ними казались темны. Закутавшись, Христофоров глядел вверх, как в этих глубинах, темно-синих, являлись золотые звезды, вновь пропадали под облаками, вновь выныривали. Привычный взор тотчас заметил Вегу. Она восходила. Часто заслоняли ее дома, но всегда он ее чувствовал.

У большого особняка, на Садовой, сиял молочный

электрический фонарь. Подкатывали извозчики. Вылезали закутанные дамы, мужчины, хлопала дверь. В передней надевали маски. Тут висел голубой фонарь. Из-под шуб, ротонд, саков появлялись испанцы, турки, арлекины, бабы, фавны и менады. Два негра в цилиндрах, в красных фраках отбирали билеты — у входа, декорированного под ущелье. За ущельем шел коридор, драпированный шалями. Здесь, проходя мимо зеркал, где оправляла прическу маленькая венецианка на деревянных башмачках, в черной шали, с розами в смоляных волосах, мельком увидел Христофоров две тени, во фраках, шелковых масочках и безукоризненных манишках. Снова не совсем он узнал себя. Снова подумал — может, так и нужно, если маскарад. И чем дальше шел, тем больше нравилось быть под маской. Точно лоскуток шелка, с бархатной оправой для глаз, становился для него приютом в долгом и пустынном пути; точно из-под его защиты виднее было происходящее и отдаленней; и еще менее участвовал он сам в пестром гомоне карнавала.

Как всегда, первое время был холодок: не все еще съехались, не все узнали друг друга, не разошлись. Маски бродили группами и поодиночке, рассматривали гостиные — увешанные коврами, расписанные удивительными зверями и фигурами, небесным сводом в звездах, магическими знаками. Была комната китайских драконов. Были, конечно, гроты любви. В большой зале началась музыка и танцы. В комнате через коридор, отделанной под нюрнбергский кабачок, за прилавком откупоривали бутылки; цедили пиво из бочки. На стенах кое-где надписи: «Все равны», «Все знакомы», «Прочь мораль».

К двум часам съезд определился. Больше толпились, хохотали, танцевали. Легкая маска, тоненькая, в восточных шальварах и фате, быстро подхватила Христофорова, склонила голову — серые, будто знакомые и незнакомые глаза взглянули на него, будто знакомый голос шепнул:

— Он ходит, он ждет. Но напрасно, напрасно...

И убежала на резвых ногах, замешалась в толпе менад, окружавших розового Вакха, с тирсом, в виноградных лозах.

— Это кто была, по-вашему? — беспокойно спросил Ретизанов. — Что она вам сказала? Нет, куда она делась?

И он бросился искать восточную девушку.

Христофоров же пошел дальше, все так же медленно. «Лабунская? — думал он. — Да, наверно»... Но его

мысли были далеко. Он прошел мимо двери, пред которой на минуту остановился. Вся она закрывалась материями, лишь внизу оставлено отверстие, куда можно пролезть на четвереньках. Он заглянул. Дальше было опять препятствие, так что войти туда могли лишь очень решительные. Танцовщица в коротенькой юбочке и астролог в колпаке со звездами проскользнули все же, хохоча.

В следующей комнате было полутемно. На эстраду вышел худенький Пьеро, с набеленными щеками, и девушка Ночь, в черном газовом платье со звездами, в красной маске. На пианино заиграли танго. Пьеро подал руку Ночи — и они начали этот странный и щемящий, как бы прощальный танец.

Христофоров отошел к стене. Он глядел на эстраду, на толпу цветных масок, толпившихся вокруг, то приливавших, то, смеясь, выбегавших в другие залы. Кто так устал, так измучен, что создал это? Не жизнь ли, человечество остановилось на распутье? Христофорову вдруг представилось, что, сколь ни блестяща и весела, распущенна эта толпа, довольно одного дыхания, чтобы как стая листьев разлетелось все во тьму. Может быть, это все знают, но не говорят — стараются залить вином, танцами, музыкой. Может быть, все сознают, что они — на краю вечности. И торопятся обольститься?

Венецианская куртизанка знакомой, мощной походкой подошла к нему и слегка ударила его веером.

— И ты здесь, поэт?

— Здесь, прекрасная,— ответил он.— Смотрю.

Она засмеялась.

— И прославляешь бедность?

Он придвинулся, заглянул в темные глаза, окончательно узнал Анну Дмитриевну, сказал тихо:

— Ты веселишься? Это правда? — Он сжал ей руку.— Правда?

Она выдернула ее.

— Оставь. Не насмехайся.

Подбежал Ретизанов.

— Слушайте,— закричал он,— я в духовной слепоте. Я ничего не понимаю. Нет, черт, я не могу ее найти. По-вашему, она тут? Да нет, вообще здесь все очень странно. Еще два часа, а уж есть пьяные, теснота. Не пускают Никодимова. Он скандалит. Вам нравится? — обратился он к Христофорову.— А главное, я не могу понять, что со мной сделалось. Я наверно знаю, что она приехала из Петербурга и должна здесь быть. Но где же?

— Ищите девушку в шальварах,— ответил Христофоров,— в низенькой шапочке и фате.

— Да вы почем знаете?! — закричал Ретизанов.— Ах, черт...

Глаза его блестели, он был уже без маски. Что-то нетрезвое, лихорадочное сквозило в нем.

— Мне кажется,— сказал он с отчаянием,— что если сейчас ее не найду, это значит, я погиб.

Христофоров взял его под руку.

— Пойдемте, не волнуйтесь. Она здесь. Мы ее найдем.

Действительно, в третьей же комнате, окруженная толпой, Лабунская танцевала danse de l'ourse с индийской царевной. Христофоров постоял, посмотрел и двинулся дальше. Он не снимал маски.

По-прежнему странное и горькое удовольствие доставляло ему — смотреть, не будучи замеченным. От Лабунской, как и всегда, осталось у него легкое ощущение, будто гений света и воздуха одухотворял ее. Но иной образ стоял в его душе, бесконечно близкий и дорогой — бесконечно далекий. Было что-то родственное меж ними, какая-то нота очарования. Христофоров знал, что сюда Машура не приедет. Все же, бродя, в пестром мелькании масок он искал ее. Это волновало и мучило. Иногда мерещилась она в быстром танце, в блеске глаз из-за кружев, в полуосвещенном углу. Но как мгновенно вспыхивала, так же мгновенно и уходила. Была минута, когда, став в тени портьер, закрыв глаза, усилием воображения он ее вызывал. Она была бледна, тонка, в длинных черных перчатках, с худенькими плечиками. Масочка скрывала среднюю часть лица. «Это ваш поэтический экстаз,— говорила она с улыбкой и слезами,— сон, но не то, что в жизни называется любовью».

Он открыл глаза и тронулся. Машинально пробрался он вперед, и хотя теперь ее не видел, странное ощущение, что она здесь, невидимо, не оставляло его. Свет, люди, шум, изменялись *Ее* присутствием. Хотелось плакать. Сердце ныло нежностью.

В нюрнбергском кабачке очень шумели. Все столики были заняты, скатерти залиты вином. На бочке танцевала маска. Кто-то пытался ораторствовать. Другого собирались качать. У прилавка стоял, очень бледный, Никодимов и допивал коньяк.

— Несмотря на все,— говорил он флорентийскому юноше, с ласковым и порочным лицом,— я здесь... Дмитрий Палыч Никодимов пришел.

Юноша дернул его за рукав.

— Дима,— сказал он тенором, вытягивая звуки.— Не пей. Тебе вредно.

— Да снимите вы маску! — крикнул Христофорову знакомый, веселый голос.

Обернувшись, он увидел Фанни за столом с несколькими евреями. Толстый человек во фраке с ней рядом, куря сигару, говорил соседу:

— Здесь и совсем Парыж!

Христофоров снял маску. Фанни, в предельно декольтированном платье, с чайной розой, хохотала и кричала:

— Садитесь! К нам! Это м-милейшая личность,— обратилась она к друзьям.— Проповедник бедности или любви... чего еще там? Жизни, что ли? Забыла! Но милейшая личность. Давид Лазаревич, налейте ему шампанского!

Давид Лазаревич, с короткими и пухлыми пальцами в перстнях, из тех Давидов Лазаревичей, что посещают все модные театры, кабаре и увеселения, говоря про одни: «это Парыж», а про другие важно: «ну это вам не Парыж»,— отложил сигару и налил *молодому человеку* вина.

Христофоров имел несколько ошеломленный вид. Но поблагодарил и чокнулся.

— Очар-ровательно,— сказала Фанни, щуря продолговатые, подкрашенные глаза.— А откуда такой фрак?

Христофоров нагнулся к самому ее уху с бриллиантовой сережкой и шепнул:

— Чужой, Александра Сергеевна.

— Милый! — закричала она.— Аб-бажаю! Очаровательно, весь в меня. Я такая же. Мы все шахермахеры.

От вина голова Христофорова затуманилась приятным опьянением. Он теперь рад был, что встретил Фанни, сытых израилей, и не отказывался, когда Давид Лазаревич налил ему еще бокал.

— Хорошо, что ушел этот Никодимов,— заболтала Фанни.— Фу! Не люблю таких. Что он из себя изображает? Загадочную натуру? А по-моему — просто темная личность с претензиями. Хоть и дворянин, и барин... И потом, он на меня тоску нагоняет. Что это такое? Нет, я люблю, чтобы весело было и жизненно, без всяких вывертов. Не понимаю тоже и Анну — что она в нем нашла? Ах, бедная женщина. Слоняется тут. Выпьем за нее!

На этот раз она не спрашивала Давида Лазаревича, налила сама. За вином разболтала она многое о своей приятельнице, чего не сказала бы в обычном виде.

Скоро ее позвали — как распорядительница, должна она была устраивать новый номер. Христофоров посидел немного и тоже поднялся.

В сущности, пора уж было уходить, вновь возвращаться в полупустую свою комнату. Для чего был он здесь? Сердце его опять сжалось. Он вспомнил Ретизанова. Все-таки тот встретил свою девушку в шальварах, которую носят по залам гении ветров. Машуры же вновь не было с ним. В сердце пустота и одиночество. Значит, права была Лабунская, шепнувшая свои легкие слова. Значит, надо уезжать.

Он потолкался еще среди масок, по залам, и машинально забрел в темный закоулок у передней, откуда лесенка шла наверх. Он почему-то поднялся — и попал в две полутемные антресоли. В первой шептался в кресле Пьеро с черненькой венецианкой. Христофоров прошел мимо. В дальней сел он на ситцевый диванчик, вздохнул и закурил. Эту комнату не готовили. Не было декорации, мебель обычная. В углу, у иконы, лампадка. Окна выходили в сад. Смутная, синеватая мгла.

Снизу слышался шум, танцы, доносилась музыка. Отсюда видны были деревья в саду, полосы света из нижних окон да кусок неба. Христофоров сидел, курил, смотрел на это небо, на котором увидел голубую звезду Вегу. Она мерцала нежно и таинственно. Среди веток можно было заметить, как по вековому пути движется она, ведя за собой, как странница, светло-золотую Лиру. Голубоватый свет ее успокаивал. Чем дольше смотрел Христофоров, тем более ему казалось, что ее таинственное сияние глубже разливается по окружающему, внося гармонию. Тот же голубоватый отблеск есть и в глазах Машуры, в милой Лабунской. Оцепенение вроде сна овладело им. Призрачней, нежней и туманнее летела музыка. Легче и нечеловечней казались маски. Очаровательней, ближе и дальше, возможней и невозможнее невозможная любовь.

XV

В это время внизу, в небольшой гостиной, уже пустой, стоял у окна Никодимов, тупо смотрел на улицу. Подошла венецианская куртизанка. Он обернулся.

— Дмитрий,— сказала она.— Почему ты здесь?

Он пожал плечами.

— Где же мне быть?
— Для чего ты приехал на этот маскарад?
— Меня об этом спрашивали нынче,— ответил он глухо.— В передней...
Куртизанка сжала пальцы.
— Для чего ты себя унижаешь?
— Этого я не умею тебе сказать.
Она вдруг быстро взяла его под руку и поцеловала.
— Иногда мне кажется, что все твое... всю тоску, скверное, я могла бы взять на себя.
Никодимов перевел на нее темные и мутные глаза. Слабая улыбка появилась на его лице.
— Женщина,— сказал он и вздохнул.— Особенный ваш род.
— И не стыжусь, что женщина. Я, милый мой, тоже много видела стыда на своем веку. Меня не удивишь.
— Ничего,— пробормотал Никодимов.— Ничего. Живу как живу. Ничего не надо. Никаких сентиментальностей.
— Уедем отсюда,— вдруг сказала она.— Я тебя увезу на край света, будем жить у моря, солнца, путешествовать... Ты будешь свободен, но... уедем!
— Фантасмагория!
— Поселимся в Венеции...
Никодимов слегка вздрогнул.
— В Вене я был очень близко к смерти,— сказал он.— Никогда тебе не рассказывал. Во всяком случае, это сильное ощущение.
Он вынул часы.
— Пять.
Глаза его несколько прояснились, он подобрался и оглянулся.
— Поезжай домой. Пора. Видишь, все разъезжаются. А у меня есть еще дело. Я поссорился с одним человеком.
Никодимов поцеловал ей руку с внезапной, но холодной вежливостью и вышел. Куртизанка постояла, села на диван и уткнулась лицом в его спинку.
Никодимов же встретил в зале флорентийского юношу и подошел к нему.
— У меня сегодня дуэль,— сказал он.— Мы заедем домой, ты переоденешься, выпьем кофе, и в половине восьмого должны быть в Петровском парке.
Юноша попятился. Его бархатные, беспокойно-распутные глаза взглянули испуганно.
— Дуэль?— произнес он слабым голосом.— Но тебя могут убить.

— Безразлично,— тихо и слегка задыхаясь ответил Никодимов.— А пока ты — мой... едем.

Юноша пытался возражать. Никодимов властно и нежно взял его под руку, повел к выходу.

Маскарад действительно кончался. В нюрнбергском кабачке орали еще пьяницы. Фанни в передней накидывала свой палантин. Давид Лазаревич подавал ей ботики. По углам гнездились еще пары, не желавшие расстаться. Варили последний кофе — для пьяниц и для неврастеников, которые не могут вернуться домой раньше дня. Последними досиживают они, небольшими компаниями, среди синего утра, разбросанных окурков, облитых вином скатертей, зашарканных паркетов — всегдашней мишуры и убожества финальных часов.

— Где вы? Куда вы пропали? — кричал Ретизанов, поймав наконец Христофорова.— Черт знает, вы сидите здесь... понятия не имеете... А это ужас... Нет, это черт знает что! Такой негодяй...

Путаясь, волнуясь и крича, он объяснил, что полчаса назад Никодимов ни с того ни с сего грубо оскорбил Лабунскую.

— Нет, вы понимаете, это хам, которого раз навсегда надо проучить. Я ему это и сказал. И ударил бы, если бы не помешали. Но теперь — дуэль. Дело решенное. Нет, это давно надо было сделать.

Христофоров был поражен.

— Как... дуэль?! — спросил он.

— Сегодня же, утром, в Петровском парке. Он привезет оружие... Да что вы так удивились? Это давно надо было сделать, я давно собирался от него избавиться. Ничего не значит, что вызов без секундантов... Все равно вы должны присутствовать.

— Я, секундантом?

— Что? Вы не хотите? Нет, это уж дудки-с!

Христофоров совсем потерялся. Что угодно мог он предположить, только не это. Участвовать в дуэли! Но ведь это бесконечно дико. Запинаясь, он старался объяснить, что никакой дуэли быть не должно, что это нелепая ссора и, быть может, Никодимов просто нетрезв...

— Как?! — закричал Ретизанов.— Оскорбить Елизавету Андреевну — нелепая ссора? Вы не понимаете, что уж давно он к этому подъезжает, потому что он темный человек и его бесит любовь, подобная моей. Нелепая ссора! Это должно было произойти, не сегодня, так завтра. Нет, уступить ему... дудки!

Христофоров понял, что теперь остановить его уже нельзя. Они сошли снова вниз, в нюрнбергский каба-

чок. Неврастеники дохлестывали вино. Трое пьяных в углу громко рассуждали, что хорошо бы предпринять кругосветное путешествие.

Ретизанов занял столик, заказал кофе и коньяку. Христофоров молчал. Он чувствовал себя странно. Ему казалось — то необычайное, что вторглось в его жизнь этой зимой и привело, во фраке и маске, в этот кабачок,— владеет им и мчит дальше, по неизвестной ему дороге, навстречу необычным чувствам. Опять ему вспомнилось, как стоял он летом, на утренней заре, на балконе квартиры Ретизанова над спящей Москвой и ощущал великий жизненный поток, несущий его. «Да, может быть, и прав Ретизанов,— думал он.— Может быть, и правда, еще тогда, в ту шумную ночь, зарождались события, которым лишь теперь надлежит вскрыться».

Ретизанов между тем пил кофе, вливая в него коньяк. Он молчал, потом стал улыбаться и полузакрыл глаза рукой. Походило на то, будто он погружается в транс.

— Куба, Ямайка, Гаити и Порторико! — кричал пьяный путешественник.— Иначе не могу, поймите меня, я же не могу... Милые мои, хорошие мои, ну куда же я поеду? — Он хлопнул кулаком по столу, вновь заорал: — Куба, Ямайка, Гаити, Порторико! И никаких шариков.

Ретизанов отнял от лица руки. На глазах его были слезы.

— Гении ответили,— тихо сказал он,— что я не должен никому позволять... даже если бы пришлось умереть. Я должен отразить натиск темных сил. А если Никодимов этот — вовсе не Никодимов, а кто-то другой, более страшный, в его обличье...

Ретизанов говорил все медленнее и тише. Глаза его горели. Сухая нервность была в руках. Христофорову ясно стало казаться, что он не в себе. На мгновение остро его кольнуло — ведь это полубезумный, его надо бы везти домой и в санаторий. Но тотчас же он понял, что сделать этого нельзя. Значит, надо повиноваться.

В начале восьмого они оделись и вышли. Начинало светать — хмурым, неясно-свинцовым рассветом. На бульваре, в деревьях шумел ветер. Фонари гасли. Побежали трамваи, над ними вспыхивала зеленая искра. На Страстной площади было пустынно. Дремал лихач на паре голубков. Лампадка краснела у входа в монастырь, открылась свечная лавочка. На колокольне медленно звонили.

Ретизанов подошел к лихачу и негромко сказал:

— В Петровский парк.

— Пожа-пожалуйте!

Лихач вскочил и бросился снимать с озябших лошадей попоны.

Через минуту они катили по Тверской, по прямой, классической улице кутежей, загородных ресторанов. Иногда навстречу попадались тройки — кутилы шумели, хохотали и в облаке снега уносились. Проревел автомобиль. Лежавший на дне веселый человек приветствовал встречных, выкидывая ноги кверху. Прокатили под Триумфальной аркой, где тяжело летели бронзовые кони побед. Светящиеся часы на вокзале показывали без двадцати восемь.

Христофоров находился в странном, полуотсутствующем состоянии. Он не особенно хорошо понимал, куда и зачем едут. Как будто изменились декорации, но все продолжается его мечтательное созерцание в мансарде — теперь летят навстречу арки, дома, сады — с тоже фантастической бесцельностью. И лишь подо всем, глубоко и жалобно, стонет что-то в сердце. Ретизанов молчал. Он был задумчив и сдержан, как человек, делающий важное, очень серьезное дело. Он указал кучеру, где надо свернуть, за Яром, по какой аллее проехать. Потом остановил его. Они вылезли. Лихач шагом должен был возвращаться в указанное место.

— Вот сюда,— спокойно сказал Христофорову Ретизанов и повел узкой, слегка протоптанной тропинкой на средину поляны. Там росли три огромных пихты, под ними — скамейка. Место было пустынное. Налетал ветер, курил снежком. Тяжело пронеслась, ныряя, ворона. Виднелись забитые и занесенные снегом дачи. Что-то очень суровое и скорбное было в этом утре, сияющем снеге, мертвых дачах.

Ждать пришлось недолго. С противоположной стороны поляны, шагая по цельному снегу, приближалась высокая фигура Никодимова, в николаевской шинели, которую приходилось подбирать. За ним шел военный врач и юноша в пальто со скунсовым воротником, торчавшим веером.

— Вот они где,— сказал круглолицый доктор, настоящий москвич, будто отлично был знаком с сидевшими.— Привет на сто лет! Ну, и пустяковое же дело затеяли, господа!

Христофорову стало очень холодно. Никодимов положил на скамейку два браунинга и обоймы.

— Право,— сказал врач, потирая руки, улыбаясь и слегка пристукивая озябшими ногами.— Бросьте вы

эти, простите меня, глупости. Что такое порядочные люди будут друг в друга из револьверов шпарить!

Ретизанов вдруг взволновался.

— Нет, нет!— закричал он.— Пожалуйста, доктор. Это не шутки.

Христофоров тоже попытался вмешаться. Но ничего не вышло. Никодимов только покачал головой. Пришлось отмеривать дистанцию. Ни Христофоров, ни юноша не умели заряжать.

— Эх, светики, ясные соколы,— сказал доктор и взял обоймы.— Еще называетесь секундантами!

Когда противники взяли оружие, Никодимов вдруг сказал:

— Впрочем, если господин Ретизанов извинится, я готов прекратить.

Ретизанов вспыхнул:

— Извиниться! Нет, это уж черт знает что!

И пошел на свое место. Христофорову ясно представилось, что действительно это маньяк, и если гении сказали ему, что нужно драться, он драться будет. Никодимов снял шинель, стоял высокий, худой, очень бледный, в лакированных сапогах и белых погонах. Он повернулся боком, чтобы меньше была цель. Ретизанов поднял браунинг весьма неуверенно, как вещь совсем незнакомую. Долго водил дулом. Наконец выстрелил.

Христофоров стоял, прислонившись к пихте. Он видел, как вдали, по замерзшему пруду шел мальчик, видимо ученик, с ранцем за плечами. Заметал по поляне снежок. Щипало уши. И казалось, так все необыкновенно тихо, будто нет ни жизни, ни Москвы, а только этот кусок снега с деревьями, идущий мальчик, серый день.

Раздался второй выстрел. Христофоров, не видя и ничего не понимая, пошел вперед. Он заметил, что Ретизанов качнулся, что веселый доктор побежал к нему, схватил под мышки.

— Вот... здесь,— говорил Ретизанов, держа рукой около ключицы. Он был очень бледен.

— Эх, батенька — сказал доктор подошедшему Никодимову.

— Я предлагал бросить,— сухим, срывающимся голосом ответил он. Фуражка его слетела. Ветер трепал завитки прямого пробора. На темных волосах белело несколько снежинок.

Ретизанов очень ослаб. На скамейке, под пихтой, ему сделали первую перевязку. Юноша побежал за лошадьми.

Через четверть часа, на тех же самых голубках, что

везли их сюда, Христофоров с доктором мчались к Триумфальным воротам, поддерживая Ретизанова. Было совсем светло. Артиллерийские офицеры ехали в бригаду. Пришел поезд — с вокзала тянулись извозчики, с седоками и кладью. Тверская и Москва имели будничный, обычный вид. И Христофорову казалось, что лишь они, скакавшие к Страстной площади, везя подстреленного человека, представляют обрывок этой печальной, шумной и сумбурной ночи.

Проезжая мимо Страстного, он снял шапку и перекрестился.

XVI

Дни, что следовали за дуэлью, были тяжелы для Христофорова. Ретизанов, с простреленной ключицей, лежал у себя на квартире. Ему взяли сестру милосердия, но Христофоров бывал у него постоянно, и его угнетало, что в этой бессмыслице, так дорого обошедшейся Ретизанову, принимал участие и он, христианин и враг всякого убийства. «Это, должно быть, все-таки было наваждение»,— думал он с тоскою. Только туманом и мог он объяснить, как не вмешался, как не уклонился, наконец, если не мог помешать.

Ретизанова многие навещали и жалели — в том числе Анна Дмитриевна. Чаще других заезжала Лабунская. Она была мила, внимательна, завезла даже раз цветы. Но Христофорову, глядя на нее, все больше казалось, что взволноваться до конца, страдать, терзаться — не ее область. Чистая, легкая и изящная, проходила она в жизни облаком, созданным для весны, для неба.

— Недавно,— сказала она раз Христофорову, уходя,— я познакомилась с одним англичанином. Ужасно трудно понимать по-английски! С одной стороны, он страшно великолепен — автомобили, шикарные апартаменты... С другой — очень прост и скромен. Вот он и предлагает мне на весну ехать в Париж, а в июне чтобы я в Лондоне выступала. А потом, говорит, будем по Европе кочевать... ну, с танцами, с выступлениями. Мне и Москву жаль бросать, я московская, тут родилась, у меня здесь приятели,— и заманчиво. Все-таки, пожалуй, потанцевать в Европе? А? Как по-вашему?

Христофоров улыбнулся.

— Потанцевать,— ответил он тихо.— Потанцевать, людей посмотреть себя показать.

Она засмеялась и пошла к двери.

— Вот вы какой, как будто бы и этакий... а одобряете легкомысленные штуки.

— Но не говорите пока об этом Александру Сергеевичу,— сказал Христофоров.

Она взглянула на его лицо, на глаза, ставшие серьезными, вздохнула, махнула муфтой.

— Не скажу.

Ее посещения вообще волновали Ретизанова. Он принимался говорить, спорить, доказывать. Поднималась температура. А это было для него очень многое.

Раз Христофоров, подойдя на звонок к телефону, услышал голос Никодимова. Тот спрашивал о здоровье раненого. Христофоров ответил.

Узнав, кто с ним говорит, Никодимов несколько оживился.

— Если вы свободны,— сказал он,— то зайдите как-нибудь ко мне днем. Если, конечно,— прибавил он холодней,— к тому нет особых препятствий. Я хочу вас видеть.

Христофорову показалось это несколько странным. Но он ответил, что зайдет. Ретизанову он сказал лишь, что противник осведомился о здоровье.

— Ха! — засмеялся Ретизанов.— Сначала убьют, а потом справляются, хорошо ли убили.

Помолчав, он прибавил:

— Но Никодимов меня ранил, это естественно. А насчет Елизаветы Андреевны,— он опять раздражился,— это гадость, гадость!

Дня через два, в пятом часу, Христофоров спускался по лестнице, чтобы идти к Никодимову. Был конец февраля. Светило солнце, с крыш капало. В окне синел кусок неба. Бледное облачко пролетало в нем.

На одном марше лестницы, быстро сходя вниз, он чуть не столкнулся с Машурой. Она шла вверх медленно, опустив голову. Увидев его, остановилась. Они поздоровались.

— Вы к Александру Сергеевичу? — спросил Христофоров.

— Да.

Машура слегка побледнела, но лицо ее, обычно худенькое, остроугольное, имело печать спокойствия. Лишь в огромным глазах трепетало что-то.

— Это хорошо,— сказал Христофоров сдавленным голосом,— что вы идете к нему. Он будет очень рад.

Машура поклонилась и тронулась дальше.

— Скажите,— спросила она, сделав несколько шагов,— правда, что он стрелялся из-за Лабунской?

Она слегка сдвинула брови. Что-то сдержанно-горькое показалось ему в этом лице.

— Правда...

Христофоров замялся и вдруг сказал:

— Вы не были ведь... там? На маскараде?

Машура несколько удивилась.

— Почему вы думаете? Нет, не была.

Христофоров хотел еще что-то сказать. Но промолчал. Машура вздохнула, медленно стала подыматься. Он так же медленно спускался, всем существом ощущая, как растет между ними высота. Сойдя в вестибюль, почувствовал усталость. Швейцара не было. Он сел на его стул, у стены, и закрыл глаза. В голове шумело. Куда-то выше, все выше всходила сейчас Машура, как кульминирующая звезда, удаляясь в неведомые и холодные пространства. Хлопнула наверху дверь,— замолкли ее шаги. Вошел кто-то снизу, с парадного. Христофоров встал, вышел и двинулся к Пречистенскому бульвару.

Там шагал он по правому, высокому проезду, где важны тихие дома, греет солнце, золотеет купол маленькой церкви Ржевской Б. Матери.

Над Гагаринскими, Сивцевыми, Арбатами дымно сияло золотистое, уже весеннее небо Москвы, с розоватыми тучками. Начинался один из романтических закатов Арбата. Христофоров вспомнил — еще гимназистом ходил он тут, и такие же были эти закаты, так же томилось его сердце; как и теперь, был он полон призраков, обольстительных и кочующих, владевших им всю жизнь, лаская, мучая. Голубые глаза его раскрылись шире, с тем несколько безумным выражением, какое принимали иногда... И он шел, мало замечая прохожих, сам — призрак собственных же, далеких дней, о которых нельзя было сказать, куда развеялись они, как и нельзя было удержать фантасмагорию его любвей, рассеявшихся в мире.

Так прошел он по Никитскому бульвару, по Тверскому, где Пушкин стоял, спокойный и задумчивый, глядя на мелькающую толпу. На колокольне Страстного, сиявшей розовым в закате, перезванивали. На площади торговали водами, папиросами. Мальчишки с цветами бежали за экипажами. Звенели трамы. Шли, ехали, сновали. На бульваре белел еще снег.

Машинально вошел Христофоров в ворота монастыря, под башней, пересек небольшой дворик со старыми деревьями и поднялся в церковь. Она была обширна и светла. Служба только что началась. Хор монахинь выходил с клиросов, они расположились на амвоне,

развернули ноты. Одна, довольно полная, немолодая, была за регента. Очень высокий, нежный, но однообразный хор вторил возгласам ектинии. Затем бледная монашка, в черном клобуке, читала у аналоя, при восковой свече. Весенний свет наполнял церковь. Свечи золотились. Женский голос, без конца и начала, читал святую книгу. Христофоров стоял рядом со старухой и двумя солдатами. Вечность и тишина были тут. Вечность и тишина.

Часы на колокольне указывали половину шестого, когда он вышел. Никодимов жил недалеко. Пройдя несколько переулков, Христофоров оказался перед гигантским домом. В вестибюле с колоннами, как в дорогом отеле, бродило несколько швейцаров. Джентльмен в широком пальто сидел на диване и нетерпеливо постукивал ногами. Зеленовато-розовый рефлекс весны ложился чрез зеркальные двери.

Христофоров бессмысленно, отсутствуя, сидел в лифте, напоминавшем каюту. С ним подымались иностранного вида обитатели и разбредались по бесчисленным коридорам дома — океанского корабля.

Никодимов, в расстегнутой тужурке, отворил сам.

— А,— сказал он,— очень рад.

Христофоров разделся в передней и вошел в большую комнату, полную розового света.

— Значит, все-таки собрались,— сказал Никодимов, усмехаясь.— Сюда пожалуйте, к столу. Хотите вина?

Христофоров отказался. Хозяин налил себе стакан рейнвейна и выпил.

— В этом доме,— сказал он,— живут иностранные комми, клубные игроки, актрисы, художники и такие личности, как я. Я занимаю студию. Здесь раньше жил художник.

Христофоров смотрел на него очень пристально, разглядывая белую рубашку под тужуркой и ворот видневшейся тоненькой фуфайки.

— Чего вы на меня так смотрите?— вдруг спросил Никодимов и опять засмеялся.— Изучаете?

Христофоров смутился:

— Нет, ничего.

— Меня изучать, может быть, и интересно,— сказал он,— может быть — нет. Зависит от точки зрения. Я сегодня пью с утра, что, впрочем, делаю нередко. Да, я вас звал...— Он вдруг впал в задумчивость.— Я ведь вас звал для чего-то... Может быть, вы обидитесь. Но знаете — не для чего. У меня нет к вам никакого дела.

Теперь улыбнулся Христофоров.

— Значит, почему-то все-таки вам хотелось меня видеть?

— Да, хотелось, хотелось.

Он говорил рассеянно, будто это совсем не нужно было.

— Какой вы... странный человек,— сказал Христофоров.

— А что,— спросил Никодимов, довольно безразлично,— выживет Ретизанов?

Христофоров ответил, что опасности нет.

— Все это необыкновенно глупо,— задумчиво произнес Никодимов,— как и очень многое в моей жизни. Я бы не весьма пожалел, если бы убил его, но и то, и другое было бы совершенно ни к чему. Бес-смы-слица!— раздельно выговорил он.

Дверь из соседней комнаты отворилась; оттуда вышел, в шелковом халатике, завитой, со слегка подкрашенными глазами, юноша, бывший на дуэли.

— Дима,— сказал он,— затопи ванну. А то я до театра не успею одеться.

Никодимов заторопился и побежал в маленькую комнатку, рядом с прихожей.

— Постоянной прислуги здесь нет,— зевая, сказал юноша.— Приходится самим возиться. Ах, да,— вдруг оживился он,— как страшно было тогда! Я думал, что Диму убьют. Но этот господин совершенно не умел стрелять.

Потом он заговорил о балете, осуждал Веру Сергеевну, о Ненароковой отозвался кисло. Вспомнил, как занятно было в Париже, два года тому назад, на русском сезоне.

— Мы и теперь собираемся в Париж, но Дима должен выиграть и взять отпуск. Или там без отпуска, мне все равно. Дима ленив. Все обещает выиграть... и вечно мы без денег. Впрочем, вот взгляните, он мне подарил.

Юноша показал на пальце перстень, с тонкой и прозрачной камеей.

— Это голова Антиноя,— сказал он.— Император Адриан любил одного юношу, Антиноя. Во время прогулки по Нилу тот утонул. А-а... Император был страшно огорчен, и велел обожествить Антиноя. На его вилле... знаменитой, под Римом, было найдено множество статуй и бюстов... а-а... юного бога. Вам нравится?

Он снял перстень и поцеловал камею.

— Очень мило.

И с тем же ленивым и несколько покровительствен-

ным видом, с сознанием изящества, превосходства поплелся брать ванну.

Христофоров встал и подошел к окну. Еще более, чем от Ретизанова, была видна отсюда Москва, облекавшаяся, в глубине улиц, в синеватый сумрак и красневшая в закате верхушками домов. Купола золотели. Та же пестрота красного кирпича, зеленых садов, острых башен и колоколен Кремля, дальних труб на заводах. Темнели Сокольники. За Кремлем виднелась равнина, уводящая на юг, уже туманившаяся, с далекой, освещенной церковью села Коломенского. Внизу, у памятника Пушкину, казавшегося крошечным, зажглись белые фонари.

— Все деньги, деньги,— бормотал сзади Никодимов.— Париж. Вот, если банк хороший сорву...

Христофоров обернулся. Лицо Никодимова в сумерках приняло фиолетовый оттенок.

— Что,— спросил Христофоров,— играть очень интересно?

— Да-а...— протянул Никодимов.— Играть... Игра, кроме волнений, хороша еще тем, что необыкновенно отрывает от обычной жизни. Я играю всегда в полусне... особенно, когда уж поздно. Только карты, они сменяются, так, этак, вами овладевает оцепенение...

— Я это понимаю,— тихо ответил Христофоров.

— Понимаете! Вот бы уж не поверил. Ваша жизнь мало похожа на мою.

Христофоров согласился.

— Я,— сказал вдруг Никодимов,— то, что называется темная личность.

Он налил себе вина и выпил.

— Мне это нередко говорят. Например, тогда, на маскараде. И — правы. Я не отрекаюсь. Хоть иногда это утомляет. Меня в корпусе еще мальчишки не любили. Звали: «Орлик доносчик, собачий извозчик». Я иногда плакал, иногда их бил. Но кончил хорошо, чуть не первым. Был честолюбив. Мечтал о славе, читал о Наполеоне, итальянские походы знал наизусть. Поступил в Николаевскую Академию. Там мне тоже устраивали бойкот. Так, особняком, и держался. Но опять кончил, тоже недурно. Служил по генеральному штабу. Знаете мою специальность? Вместо полководца — военный шпион. Сначала в Австрию командировки. Я ходил в штатском, зарисовывал местности, около крепости. Потом получил назначение в Вену, в нашу военную миссию. Там жилось весело. Я знал Ягича, знаменитого предателя. Он нам продал мобилизационные планы. Дороговато обошлось. Но на случай вой-

ны — небесполезно. Это дело, частью, через меня делалось. Ягича я обхаживал... Да, но не совсем удалось, не совсем удалось!

Пока он рассказывал о Ягиче, юноша плескался в ванне. Он вызвал к себе Никодимова; долетали какие-то разговоры, опять слово *деньги*, затем, снова в халатике, он проследовал в свою комнату, одеваться.

Христофоров сидел в кресле, спиной к окну, в смутных, весенних сумерках, и думал о том, каких только людей и дел нет на свете. Его не возмущал и не раздражал Никодимов. Он замечал даже в себе странное любопытство. Хотелось дальше слышать о его жизни.

Никодимов извинился, что задерживается. И действительно, вернулся, лишь проводив друга.

— Что же дальше было с Ягичем? — спросил Христофоров.

Никодимов сел и помолчал.

— Ягича открыли свои же, австрийские офицеры. Однажды, поздно ночью, они нас арестовали в одном... теплом месте. И привезли в отель. Ему дали револьвер, отвели в соседнюю комнату и предложили застрелиться. Был момент, когда они собирались разделаться и со мной — я был в штатском, как настоящая темная личность. Я тогда чудом уцелел. Но вообще мне не повезло. Наши тоже косо на меня взглянули.

Он хрустнул пальцами.

— Стали подозревать, что я же и выдал Ягича. Знаете, эта игра всегда двусмысленна... Одним словом, карьера моя прогорела. Я все-таки служу, но это безнадежно. Вы понимаете, на имени моем — пятно... вот что. Нет, вы не из нашей компании, вы из так называемых проповедников,— прибавил он вдруг живо и резко.— Не поймете.

— Я не знаю,— тихо ответил Христофоров,— из каких именно я. Но то, что вы мне рассказали, все понятно. Можно ведь все это понять и... ведя другую жизнь.

— Хотели сказать: и не будучи прохвостом! — Никодимов захохотал.

— Вы принимаете все очень болезненно,— с грустью ответил Христофоров..

Никодимов налил себе вина и выпил.

— Болезненно! Вздор! — бормотал он.— Ничего нет хорошего. Разве Юлий... Этого мальчика,— сказал он, указывая на комнату юноши,— зовут Юлием. Я подарил ему перстень с головой Антиноя.

Через час он провожал гостя. Довел его до лифта и

простился. Уже входя в каюту, Христофоров заметил, как содрогнулся Никодимов при виде этой машины.

В десять Никодимов поехал в клуб. Там он играл с ушастыми игроками, с седыми дамами в наколках, с содержанками; еще пил, погружаясь в карточный туман. Так было в этот вечер, и в следующий, и еще в следующий. Выигрыш не приходил. Антиной кис. Он развлекал все же Никодимова. Но тоска не унималась. Проходя ночью по пустынным переулкам, Никодимов думал, что его жизнь, с самой ранней юности, была чем-то непоправимо испорчена, и теперь чем дальше, тем труднее ее влачить. Пустые дни, пустые действия, мелкие выигрыши, мелкие проигрыши чередовались утомительно. «Все это вздор, все гадость,— думал он.— Как скучно!»

Приступы беспредметной, леденящей тоски бывали столь остры, что опять вспоминал он о Вене, туманном утре, когда в закрытом автомобиле везли их австрийские офицеры, о комнате отеля, где он ждал судьбы, о глухом выстреле за стеной. Может, было бы лучше...

В одну из таких ночей, подойдя к подъезду своего дома, он думал об Анне Дмитриевне и усмехался. «Добрые души, добрые души, спасительницы, женщины». Он машинально вошел, машинально побрел к лифту. Зеленоватый сумрак был в вестибюле. Уже подойдя к самой двери, он на мгновение остановился, охнул. Рядом, улыбаясь, сняв кепи, стоял знакомый швейцар из Вены и приглашал войти. Никодимов бросился вперед. С порога, сразу он упал в яму, глубиною в полроста. Дверца лифта не была заперта. Он очень ушиб ногу, вскрикнул, попытался встать, но было темно и тесно. Сзади в ужасе закричал кто-то. Сверху, плавно, слегка погромыхивая, спускался лифт. Никодимов собрал все силы, вскочил, до груди высунулся из люка.

Его отчаянный вопль не был уже криком человека.

XVII

Несколько времени после того, как навестила Христофорова, Машура провела очень замкнуто. Видеть никого не хотелось. Она сидела у себя наверху и разыгрывала Баха, Генделя. На дворе шел снег, бродили куры, кучер запрягал санки, а Машуре казалось, что со своей сонатой ut.— min. она отделена от всего мира тонкой, но надежной стенкой.

Перед маскарадом заезжала Анна Дмитриевна и звала ее. Машура отказалась. Наталья Григорьевна это

одобрила. Машуру считала она безупречной и потому именно не сочувствовала выезду на фривольный бал художников. Она советовала ей лучше — читать Стендаля. Сама же, среди многих своих домашних дел, заканчивала реферат для Литературного Общества.

Общество собиралось на Спиридоновке, в доме графини Д. Оно было старинно и знаменито. Некогда читались там стихи юноши Пушкина; выступал Лев Толстой и Тургенев. В новое же время — обязательный этап жизни литератора — в некоторый вечер, в низкой, темноватой зале, среди белых стариков и важных дам, приват-доцентов, скромных барышень, студентов — прочесть новейшее свое творение.

Для Натальи Григорьевны этот экзамен прошел давно. Но к выступлению отнеслась она серьезно, много обдумывала и обрабатывала, не желая ударить лицом в грязь пред почтенными слушателями.

Туда Машура не могла не поехать. Мать несколько волновалась. Даже румянец показался на старческих щеках; в черном шелковом платье, с чудесной камеей-брошью, в очках и седоватых локонах, Наталья Григорьевна была внушительна. Как только кучер подвез их и они вышли, сразу почувствовалось, что все прочно, по-настоящему, что для дел Общества именно нужна Наталья Григорьевна своей солидностью, образованностью и умеренными взглядами. Это не выскочка. Она читала ровным, несколько монотонным голосом, но культурно, то есть так, что в зале веяло серьезностью, едва ли переходящей в скуку, и если переходящей, то лишь для очень молодых. Люди же зрелые — их было большинство — сидели в сознании, что об истинно литературных вещах с ними беседует истинно литературный человек.

Машура тоже покорно слушала. Вернее, мамины слова входили в ее душу и выходили так же легко, как выдыхается воздух. Глядя на свои тонкие, очень выхоленные руки, сложенные на коленях, Машура почему-то подумала, что мама хорошо все-таки ее воспитала. В сущности, что дурного в том, что она была у Христофорова, а вот теперь она считает уж себя виновной, выдерживает некоторую епитимью. Мать говорила о поэме «Цыганы», а Машуре стало вдруг так грустно и жаль себя, что на глазах выступили слезы.

Когда Наталья Григорьевна кончила, ей аплодировали не больше и не меньше, чем следовало. Седой профессор, которого Ретизанов называл дубом, подошел и поцеловал ручку. Наталья Григорьевна пригласила его в среду на блины. Покончив с текущими делами,

члены Общества стали разъезжаться так же чинно, как и съезжались. Машура с матерью села в санки с высокой спинкой и покатила по Поварской.

Дома она обняла мать и сказала:

— Милая мама, ты очень хорошо читала.

Наталья Григорьевна была смущенно-довольна.

— Там у меня,— сказала она, сняв очки и протирая их,— было одно место недостаточно отделанное.

Машура засмеялась.

— Ах ты мой Анатоль Франс!

Она обняла ее и засмеялась. Опять на глазах у нее блеснули слезы.

— Антон у нас очень долго не был,— сказала Наталья Григорьевна.— Что такое? Эти вечные qui pro quo между вами! Вы, как культурные люди, должны бы уже это кончить.

— Мамочка, не говори! — сказала Машура, всхлипнув, обняла ее и положила голову на плечо.— Я ничего сама не знаю, может быть, правда, я во всем виновата.

Но тут Наталья Григорьевна совсем не согласилась. В чем это Машура может быть виновата? Нет, так нельзя. Если уж кто виноват, то Антон. Нельзя быть таким самолюбивым и бешено-ревнивым. Человек культурный должен верить близкому существу, давать известный простор. У нас не Восток, чтобы запирать женщин.

И она решила, что завтра же позовет Антона, *обязательно*, на эти блины.

— Если он хочет,— сказала Машура,— может сам прийти.

— Оставь, пожалуйста. Это все — нервы.

И на другой день, как предполагала, Наталья Григорьевна отправила к нему девушку Полю с запиской.

Кроме истории, социологии, профессор любил и блины. Наталья Григорьевна знала его давно, хорошо помнила, что блины должны быть со снетками. С утра в среду человек ходил в Охотный, и к часу на отдельных сковородках шипели профессорские блины, с припеченными снетками.

Профессор приехал немного раньше и, слегка разглаживая серебряную шевелюру, главную свою славу, сказал, что в Англии считается приличным опоздать на десять минут к обеду, но совершенно невозможным — явиться за десять минут до назначенного.

— Благодарю Бога, что я в Москве,— добавил он тем тоном, что все-таки все, что он делает, хорошо.— В Англии меня сочли бы за обжору, которому не терпится с блинами.

Антон, напротив, поступил по-английски, хотя и не знал этого: явился, когда профессор запивал рюмкой хереса в граненой, хрустальной рюмке первую серию блинов. Антон покраснел. Он думал, что опаздывать неудобно, и невнятно извинился. За столом был молчалив. Иногда беспричинно краснел и вздыхал. Машура тоже держалась сдержанно. Выглядела она несколько худее и бледнее обычного.

Затем заговорили о литературе. Профессор называл возможных кандидатов в Академию. Хвалил научность и обоснованность реферата в Литературном Обществе. Наталья Григорьевна говорила, что сейчас ее интересуют те малоизвестные французские лирики XVII века, которых можно считать запоздалыми учениками Ронсара и которые несправедливо заглушены ложноклассицизмом. В частности, она занимается Теофилем де Вио. Профессор съел еще блинов и одобрил.

После завтрака Машура позвала Антона наверх. Был теплый, полувесенний день. Навоз на дворе порыжел. В нем разбирались куры. С крыш капало. Легок, приветливо светлел в Машуриной чистой комнате масленичный день.

Она довольно долго играла Антону сонату Баха. Он сидел в кресле, все молча, не совсем для нее понятный. Кончив, она свернула ноты и сказала:

— Я перед тобой во многом виновата. Если можешь, прости.

Антон подпер голову руками.

— Прощать здесь не за что. Кто же виноват, что я не загадочный герой, а студент-математик, ничем еще не знаменитый... И никто не виноват, если я... если у меня...

Он взволновался, задохнулся и встал.

— Я не могу же тебя заставить,— говорил он через несколько минут, ломая крепкими пальцами какую-то коробочку,— не могу же заставить любить меня так, как хотел бы... И даже понимать меня таким, какой я есть. Ты же все-таки меня всего не знаешь или не хочешь знать.

Он опять горячился.

— Ты считаешь меня ничтожеством, я в твоих глазах влюбленный студент, которого приятно держать около себя...

Машура подошла к нему, положила руки на плечи и поцеловала в лоб.

— Милый,— сказала она,— я не считаю тебя ничтожеством. Ты это знаешь.

— Да, но все это не то, не так...— Антон опять сел, взял ее за руку.— Тут дело не в прощении...

Машура молчала и смотрела на него. Потом вдруг улыбнулась.

— У тебя страшно милый вихор,— сказала она, взялась за кольцо волос на его лбу и навила на палец.— Он у тебя всегда был, сколько я помню. И всегда придавал тебе серьезный, важный вид.

Антон поднял голову.

— Может быть, я не умею причесываться...

— Нет, и не надо. Так гораздо лучше. Наши девчонки, гимназистки, очень уважали тебя именно за голову. Ты так Сократом и назывался.

Антон улыбнулся.

— Сократ был лысым, а ты говоришь, вихор...

— Это ничего не значит. Тебе и не надо быть лысым.

Она подала ему зеркальце, он посмотрелся. Машура зашла сзади кресла, засмеялась, схватила его за уши и стала слегка раскачивать голову.

— Говорят, что женщины — кокетки, а по-моему, у вас, мужчин, кокетства даже больше, только как-то это не считается.

Антон стал защищаться, но несколько сконфузился.

Машура же продолжала, что любовь любовью, но в каждом есть, как она выразилась, шантеклер, петух, распускающий хвост.

— Например, это безобразие,— продолжала она,— ты знаешь, маскарад, на который меня звала Анна Дмитриевна, кончился-таки дуэлью. Бедного Ретизанова подстрелили, и, конечно, из-за женщины.

Машуре стало почти весело. Был ли тут светлый, веселый день, или устала она тосковать и брала в ней свое молодость, но захотелось даже подурить, покривляться.

Она стала пред Антоном на колени и сказала:

— Ваше превосходительство, а ничего, что я навестила раненого Ретизанова? И даже обещалась еще зайти?

Антон засмеялся опять смущенно, но чем-то был доволен.

— Я знаю только одно,— сказал он, краснея,— что если нас ты укоряешь в шантеклерстве, то в вас, отродьях Евы, есть-таки нечто... от древнего Змия.

Через час Антон уходил от нее взволнованный и смущенный, но по-радостному. Он не совсем отдавал себе отчет, и некая прежняя тяжесть сидела в нем, но этот день и в его мрачную жизнь внес как бы просвет.

Ничего не было говорено всерьез, но вновь он уносил в душе обаяние Машуры, которая и мучила, и восхищала его столько времени.

Машура же ни о чем особенно не думала, разыгрывала своего Баха, ходила на заседания «Белого Голубя» и иногда в теплые, светлые дни по-детски радовалась весне, шагая где-нибудь по Никитскому бульвару мимо дома, где умер Гоголь. Все-таки прочности не было в ее душе.

В один из таких дней зашла она на Пречистенку, к Ретизанову.

Его здоровье то улучшалось, то ухудшалось, опасность прошла, но в общем он сильно изнемог. С его худого лица торчали седоватые усы; глаза казались еще больше.

— Вы очень добры,— сказал он, приподнимаясь на постели.— Ха! Мне очень нравится, что вот вы взяли и пришли... во второй раз.

Машура поставила ему на стол букетик живых цветов.

— Мне хочется взглянуть, как вы...

— И еще принесла цветов!

Он улыбнулся, взял и понюхал.

— Этой зимой я посылал много цветов в Петербург, Елизавете Андреевне. Ха! Она меня отдаривала, когда я вот так... захворал. Но последнее время редко стала заходить.

— Да ведь она...— Машура чуть было не договорила — «уезжает», но вовремя остановилась.

Как раз неделю назад, на собрании «Белого Голубя», она прощалась надолго, сказала, что едет за границу. Машура знала даже с кем. Она слегка вздохнула и сказала:

— Вероятно, очень занята.

Ретизанов оживился и стал рассказывать о ее танцах. По его мнению, из нее выйдет великий художник. Ритм и божественная легкость составляют основу ее существа. Другие ходят, говорят, смеются — в ней же присутствует богиня, и лишь острый взгляд посвященного может понять всю ее прелесть. Грубых людей, как Никодимов, такие существа раздражают. Потому он и вел себя с ней так в маскараде.

— В Елизавете Андреевне,— говорил Ретизанов,— необыкновенно чисто проявилась стихия женственности. Голубоватое эфирное существо, полное легкости и света.

— Голубая звезда,— сказала Машура и вдруг покраснела.

— Что?! — вскрикнул Ретизанов.— Как вы сказали?

Машура повторила.

— Голубая звезда! — произнес он в изумлении.— Нет, позвольте... в каком смысле?

— Можно думать,— запинаясь ответила Машура,— что одна звезда... она называется Вега и светит голубоватым светом... ну, одним словом, что образ этой Веги есть образ женщины... в высшем смысле. И что, обратно, в некоторых женщинах есть отголосок ее света...

Ретизанов слушал с возрастающим изумлением.

— Позвольте! — закричал он.— Это не женские мысли! Это говорил мужчина.

Машура покраснела.

— Даже если б и так.

— Вам это говорил мужчина?

— Да,— ответила Машура уже сдержаннее,— один знакомый развивал мне эту теорию.

Ретизанов несколько минут молчал, потом вскрикнул:

— Христофоров! Это он! Ах, черт возьми, он предвосхитил мои мысли.

Когда Машура вышла от него, был прозрачный стеклянно-розовеющий вечер. Бледно-золотистая Венера сопровождала ее путь по бульвару, плывя над домами, цепляясь за голые ветки деревьев. Машура глядела на нее и думала, что это тоже звезда любви, быть может, таинственная устроительница сердечных дел. Быть может, и ее, Машуры, земная судьба связана с велениями неведомых, дивных богов.

Ретизанов же, после ухода Машуры, долго не мог успокоиться. Мысль о голубой звезде волновала и радовала его. Наконец он накинул халат и, слабый, слегка еще задыхаясь, с кружащейся головой, пробрел в кабинет. Там опять подошел к занавеске, раздвинул ее и, закрыв глаза, отдался общению с гениями. Он стоял так довольно долго, блаженно улыбаясь. Затем медленно возвратился к себе.

В то время, как звезда его укладывала чемоданы, чтоб начать светлое и бездумное странствие, гении дали радостнейшие ответы. Ретизанов лежа бормотал что-то, мечтал, и его душа была полна счастия и надежды.

XVIII

Постом Машура говела, слушала изумительные мефимоны, которые читал священник в черной ризе с серебряными цветами, канон Андрея Критского.

Исповедовала нехнтрые свон грехи под душиой епнтрахнлью о. Снмоиа, невысокого, немолодого и строгого священнника с большой головой и седоватыми волосами. Со смутиым, мнстическим волнеинем прнчащалась.

Дома все шло как-то само собой. Как бывало и раньше, к ннм прнходнл Антон. Как н прежде, косился он и фыркал иа солндность Натальн Грнгорьевны, с Машурой бывал то нежен, то дерзок. Иногда, глядя иа иего, она думала: «Еслн я выйду за него замуж, ои станет вытворять иевероятные вещн, н с инм ие очень будет легко. Может быть, нмеиио так н должно случнться».

Наталья Грнгорьевна не была поклоиницей страстиых романов, страстиых браков.

— Жизнь в браке,— говорнла она,— это совместиое творчество того общення, которое называется семьей. Семья же есть ячейка культуры, заметь себе это,— оиа целовала Машуру в лоб,— ячейка культуры, то есть порядка.

Машура улыбалась.

— Ах, мама, когда мне будет шестьдесят, то, наверно, и я буду интересоваться культурой, ячейками и порядком.

Оиа вздохиула и ие стала более распространяться. За днн весны, которая в этом году была прекрасиа, Машура много ходнла по Москве, по бульварам. Думала оиа о себе, своей жнзнн. Теперь ие было уж у нее ощущення внны пред Антоиом, того двойствеиного и странного, в чем жила она почтн целый год. Не было к нему н ннкакнх дурных чувств. Она его знала, знала насквозь, н нногда ои казался ей очень мил, как очень свой, давио родной человек. «Ну н что же, и это все?— думала она с улыбкой.— Брак есть совместное творчество общення, называемого семьей?» Ей стало почти смешно и почти горько. «Ячейка культуры, порядка? Нет, это все что-то не то, не так... Недаром и Антои это чувствует». Оиа вспомнила свое вечернее посещенне Хрнстофорова, тот саднк, луну, вечер, н ее сердце забилось волнеинем и истомой. В горле остаиовнлась горькая спазма. Слезы выступилн на глазах. «Нет,— через силу, как бы запннаясь, сказала она себе,— если нет, еслн этого нет, то н инчего не надо. Иначе ложь». «Ложь, ложь,— твердила оиа позже, уже подходя к своему дому и слегка задыхаясь.— И не иадо скрываться, называть это жалкнми словамн». Раздевшнсь, она быстро прошла в кабиeт Натальи Григорьевны. Та сндела за письменным столом, в очках, и

старческой, бледной рукой с голубыми жилами писала отчет по детским приютам, где состояла в комитете. Весеннее солнце золотистым ковром легло по креслу, углу стола, пестрому леопарду в ногах, блестело в золотом тиснении переплетов в шкафах. Машура обняла мать сзади, поцеловала около уха.

— Мама, я сейчас почувствовала одну вещь и должна тебе сказать.

Наталья Григорьевна отложила перо, взглянула на нее, сняла очки. Она видела, что Машура возбуждена. Ее остроугольное лицо было насыщено какой-то нервной дрожью.

— Ну, ну, говори.

Машура было начала, горячо и спутанно, что она виновата пред Антоном в том, что долго держала его около себя, и почему-то вышло, что они стали считаться женихом и невестой, но на самом деле это ошибка.

Тут она заплакала, обняла Наталью Григорьевну и, всхлипывая, сидя на ручке кресла, сквозь слезы бормотала, что надо все это выяснить, раз навсегда кончить, чтобы не мучить ни его, ни себя ложью...

Наталья Григорьевна изумилась. Не то чтобы она была на стороне Антона, но во всем этом ей не нравился беспорядок, то шумное и нервное, что вносила с собой Машура.

— Успокойся,— говорила она,— не плачь, и тогда можно будет обсудить положение.

Она дала ей валерьянки, и когда солнечная полоса несколько передвинулась, прямо поставила ей вопрос: любит ли она Антона? На что Машура ответила, что и любит, как товарища и друга детства, но не так... и вообще это не то... именно теперь она убедилась...

Тогда Наталья Григорьевна со свойственной ей твердостью и логикой спросила: не любит ли она другого? Машура было смутилась, но мгновенно овладела собой и ответила: *нет*. Наталье Григорьевне показалось, что это не совсем так, но настаивать и выпытывать она не захотела. И в заключение сказала, что в таком важном и серьезном деле нельзя спешить.

— Не нервничай, не волнуйся,— говорила она,— если ты убедишься, что истинного чувства к Антону у тебя нет, то не силой же станут тебя за него выдавать. Все в твоих руках. Ты должна поступить прямо, честно. Но не опрометчиво, не поддаваясь минуте.

Слезы и разговор несколько облегчили Машуру. В сумерках она играла у себя наверху на пианино и думала, что пускай она и будет жить в этой светлой и

чистой своей комнате, ни с кем не связанная, ровной и одинокой жизнью. «Если любовь,— говорила она себе,— то пусть будет она так же прекрасна, как эти звуки, томления гениев, и если надо, пусть не воплотится. Если же дано, я приму ее вся, до последнего изгиба».

В этот вечер Антон не пришел. Она просидела одна, рано легла спать и спала спокойно.

Следующий день был четверг Страстной недели, знаменитый день Двенадцати Евангелий, длинных служб, вечернего шествия с огоньками. Часа в три, в мягком опаловом свете дня, Машура вышла из дому по направлению к Кремлю. Шла она не к Двенадцати Евангелиям, а просто побродить, поглядеть Москву. Кремль был очень хорош. Тускло сияла позолота соборов, часы на Спасских воротах били мерно и музыкально. Золотоверхие башни казались влажными, над Замоскворечьем синела дымка весны; внизу, на Москве-реке половодье; река бурно катила шоколадные воды. От памятника Александру II видела Машура внизу милую и ветхую церковь Константина и Елены, покривившуюся, осененную несколькими деревьями. Заходила в Архангельский собор, где под каменными надгробьями в медных оправах спят великие князья и цари, в мрачном полусвете; веет там седой и страшной стариной. И затем — уже совсем случайно, мимо Успенского Собора, забрела в мироваренную палату, при церкви Двенадцати Апостолов. Был день того двухлетия, когда на всю Россию варят миро. Машура поднялась во второй этаж, взяла налево и оказалась в невысокой, светлой и обширной зале. По стенам стояли зрители, а в правом углу, на некотором подобии плиты, в серебрянных вделанных чанах варился священный состав. Непрерывно шла служба. Диаконы и священники в светлых ризах мешали серебряными ковшами. Худенький квартальный просил публику *не наседать*. Стоял теплый, необыкновенно дурманящий запах — редких масел, цветов, старинных благовоний. Диаконы, медленно чередуясь, подымали и опускали свои ковши. Кадили кадильницы. Свечи золотели. Непрерывный, однообразный голос читал у аналоя.

В Успенском Соборе побыла она недолго. Смешанное чувство Италии и Византии, домосковской Руси охватывало там еще сильней. На паперти, под дивным порталом столкнулась она, выходя, с Анной Дмитриевной.

— Нам везет встречаться у святых мест,— сказала Анна Дмитриевна с улыбкой.— Помните Звенигород?

Она сильно похудела, была одета в темном. Большие ее глаза глядели утомленно.

Они медленно пошли вместе через площадь.

— Господи,— сказала Машура,— я не могу вспомнить о Дмитрии Павловиче. Какая ужасная судьба...

Она закрыла даже на мгновение глаза.

— Сегодня двадцатый день его смерти,— ответила Анна Дмитриевна.

Помолчав, она прибавила:

— В церкви все-таки мне легче.

Машура взяла ее за руку, крепко пожала.

Они посидели немного в галерее памятника Александру.

Начинало смеркаться. Сизая мгла спускалась на Замоскворечье. Белел еще Воспитательный дом, золотели купола в Кадашах.

— Его судьба,— сказала Анна Дмитриевна,— так же страшна, печальна и непонятна, как была и жизнь. Во всяком случае, это был очень несчастный человек.

Машура вернулась домой в особенном, несколько приподнятом настроении. Она застала Антона. С ним держалась просто и добро, но самой ей казалось, что тонкая, как бы прозрачная и прочная стена выросла между ними. «Может быть,— думала она, ложась спать,— это ушло мое отрочество, домашние, простые, детские чувства?»

В субботу в их доме усиленно готовились к празднику. Чистили, мыли, Машура сама красила яйца, готовила пасху. Знаменитый окорок одевали в бумажные кружева. В духовке сидели золотые куличи. Все это напоминало детство и имело свою особенную прелесть.

Как и раньше бывало, к вечеру пришел Антон — обычно они ходили с ним в Кремль к заутрене, смотреть иллюминацию, дышать тем удивительным воздухом, которым в эту ночь бывает полна Москва. Они отправились и теперь. Машура шла с ним под руку, но в Кремль они не попали, а часов с одиннадцати стали бродить по Москве, от церкви к церкви. В тихой, чуть туманной ночи видели они рубиновые в иллюминациях очерки колоколен, сияющие кресты; на папертях и в церковных двориках, иногда под деревьями, расставленные для освящения куличи и пасхи. По улицам непрерывно шли. Слышался негромкий говор. Иногда рысаки неслись, ехали кареты. Все было сдержанно, торжественно, тьма и золото огней господствовали над городом. Приближалась величественная и прекрасная минута.

Ровно в двенадцать в Кремле ударили — густым,

гулким тоном. Неторопливо и радостно завторили все знаменитые сорок сороков. Тотчас двинулись крестные ходы, золотые стяги Спасителя поднялись во тьме ночи; на мгновение все снова стали братьями.

«Христос воскрес!», «Воистину воскрес!»

Машура похристосовалась с Антоном, нежно и дружески. Слезы выступили у ней на глазах. Ее душа опять открылась на мгновение, вспомнились годы верной любви Антона, его сумрачной, нелегкой жизни.

Она перевела дух и отвернулась. Да, но не надо медлить, не надо тянуть и запутывать!

Она несла домой зажженную свечу, слегка прикрывая ее ладонью, казавшейся в свете прозрачно-розовой. Тысячи людей так же шли, и весь город был полон весеннего тумана; сверху светили звезды, а внизу растекались по переулкам золотые огоньки. Машура загадала, что, если до дому свеча не потухнет, все будет правильно, как надо.

Ночь была очень тиха.

Свеча не погасла.

Наталья Григорьевна встречала Пасху в церкви своего приюта. Она вернулась позже, очень парадная, в орденах и бриллиантах. Была ровна, покойна; на ее культурных чертах великий праздник не начертал своего духовного волнения.

На другой же день, когда вся Москва заливалась дружным, светло-радостным звоном, когда катили лихачи с визитерами, по улицам брел и ехал расфранченный народ, Машура сидела у себя в мансарде и писала Антону. Она старалась собрать все силы души и ума, чтобы написать получше, ясней и тверже высказать то, что, как она полагала, сложилось в ней окончательно.

Подписавшись, встала. Из окна, уже раскрытого, пахнуло на нее весной, апрелем, тополевыми почками. С необычайной ясностью она почувствовала, что теперь начинается для нее новое. Что именно — она не знала.

XIX

Конец апреля Христофоров проводил в имении Анны Дмитриевны, в средней полосе России. Выдались две дивных недели, какие бывают иногда пред холодноватым и переменчивым маем.

С июня Христофоров получал работу в крупной библиотеке южного города.

Сейчас был доволен, что временно можно отдохнуть, пожить спокойно и собраться с мыслями. Зима во

многом для него была необычайна. В своем роде это была даже единственная зима. Бродя один по весенним, нежно зеленеющим полям, он вспоминал ее как нечто бурное, цветное, ворвавшееся в его жизнь. Он сам крутился в этом потоке, то как участник, то как зритель, и теперь, коснувшись привычной, тихой земли, чувствовал как бы некоторое головокружение. «Может быть, это и суета, и возможно, я бывал не прав, все же...» Он не досказывал, но душой не отказывался от пестрого, быстро летящего карнавала бытия.

Анну Дмитриевну он жалел искренно. Но и в ней ему нравились некоторые, теперь сильнее выступавшие черты. Явно стала она покойнее, как бы сдержаннее. Несколько облегчилась, прояснела.

— С меня долго надо смывать, ах, как долго смывать прежнее,— сказала она раз.— Голубчик, мне оттого с вами легко, что вы не теперешний, древний человек...

Она засмеялась.

— Уж и сейчас похоже, что мы удалились с вами в пустыню, но это только первые шаги. Ах, иногда я мечтаю о настоящей Фиваиде, о жизни в какой-нибудь бла-аженной египетской пустыне, наедине с Богом. Еще неизвестно, еще неизвестно... Помните наш разговор у Фанни о богатстве? Не подумайте, ваши слова очень запали мне тогда.

— Да,— сказал Христофоров.— Но и сам я не знаю, до какого предела идут эти слова. Уж никак я не за богатство... но и рабский, подневольный труд... это я тоже отвергаю.

Через минуту он прибавил:

— Человек не может представить себе времени, когда *его* не будет. Нельзя вообразить смерть как засыпание или сон, которому нет пробуждения. В то же время трудно понять, чтобы здесь, на земле, мы могли вечно жить. Вот недавно, на днях,— продолжал он, и его голубые глаза расширились,— я испытал странное чувство. На минуту я ощутил себя блаженным и бессмертным духом, существующим вечно, здесь же, на земле. Жизнь как будто бы проносилась предо мной миражем, вечными сменами, и уходящих миражей мне не жаль было, а будущие — я знал, придут. Я забывал о прошлом и не думал о будущем. Быть может, такое состояние, со всегдашним ощущением Света, то есть Бога, и есть райская жизнь, о которой говорит Библия.

Анна Дмитриевна усмехнулась.

— Да, уж тут отпадает богатство, бедность...

— Это человеческие слова,— сказал Христофо-

ров,— мы считаемся с ними в нашей... ограниченной все же, трехмерной жизни.

В один из тех нежно-голубых, очаровательных дней, когда кажется, что ангел Божий осенил мир, Христофоров получил письмо из Крыма, от Натальи Григорьевны. С Пасхи жила она там с Машурой. Она сообщила, что Машуре юг очень полезен, что они одни тут, Антон остался в Москве и вряд ли вообще приедет. «Должна добавить,— писала она,— еще одну печальную новость. На днях умер здесь Александр Сергеевич Ретизанов, простудившись, как это ни странно Вам покажется,— в благословенной Тавриде. Машура была очень подавлена. Она ходила к нему. Из ее слов я поняла, что, кроме болезни, на него подействовало еще известие об одной танцовщице, Лабунской, которую, видимо, он любил. Лабунская только что уехала за границу с каким-то англичанином».

— Покойный Дмитрий Павлыч,— сказал Анне Дмитриевне Христофоров,— назвал раз Ретизанова дон Алонзо-Кихада дель Ретизанов. И выходит, что отчасти он прав. В общем же, судьбы их разны и одинаковы.

— Умер Ретизанов...— Анна Дмитриевна задумалась.— Это тоже был несовременный человек.

Вечером этого дня Христофоров, в своем потертом пиджачке и мягкой, видавшей виды шляпе, вышел из усадьбы. Глаза его были несколько расширены, и голубизна апрельского дня удваивалась в их природной голубизне. Из фруктового сада, где на яблонях наливались почки, он спустился в овражек; там стояли белые березы, уже одетые зеленоватым облаком. Дубы еще голы; кое-где на них темно-коричневая листва; вечерний ветерок звенел в ней слабо, таинственно. Сухие листья шуршали под ногой. Влагой и весенней прелью пахло у ручейка. Напоминая соловьев, стрекотали дрозды-пересмешники.

За овражком начиналось поле. Здесь по зеленям шныряли мышки. Белый лунь, их враг, низко и бесшумно плыл над землей.

Обернувшись назад, сквозь тонкую сетку полуголых деревьев увидел Христофоров дом Анны Дмитриевны и занимавшийся над ним золотисто-оранжевый закат. Этот закат, с нежно пылающими краями облаков, показался ему милой и чудесной страной былого. Он шел дальше. Странное чувство истомы и как бы растворения, того полубезумного состояния, которое иногда посещало его, овладело и теперь. Казалось, что не так легко отделить свое дыхание от плеска ручейка в

овраге, ноги ступали по земле, как по самому себе, голубоватая мгла внизу, над речкой, была частью его же души и он сам — в весенней зелени зеленей.

Он прошел так некоторое время и присел у межевой ямы, где кончалась земля Анны Дмитриевны. Несколько мышек высунулось из нор, проделанных под комками пахоты; повертели мордочками и сверкнули домой. Тихо, медленно летела на болото цапля. Было видно довольно далеко. Поля, лесочки и деревни, две белых колокольни, вновь поля, то бледно зеленеющие, то лиловые. Весенняя пелена слабых, чуть смутных испарений, все смягчающих, смывающих, как в акварели.

Христофоров лег на землю. Долго лежал так, опьяняясь вином, имени которого не знал. Сердце его билось нежностью и любовью, раздирающей грустью и нежностью. Голубая бездна была над ним, с каждой минутой синея и отчетливей показывая звезды. Закат гас. Вот разглядел уж он свою небесную водительницу, стоявшую невысоко, чуть сиявшую золотисто-голубоватым светом. Понемногу все небо наполнилось ее эфирной голубизной, сходящей на землю. Это была голубая Дева. Она наполняла собою мир, проникала дыханием стебелек зеленей, атомы воздуха. Была близка и бесконечна, видима и неуловима. В сердце своем соединяла все облики земных любвей, все прелести и печали, все мгновенное, летучее — и вечное. В ее божественном лице была всегдашняя надежда. И всегдашняя безнадежность.

Когда Христофоров возвращался, ручей в овраге журчал той же смутностью и беспредельностью. Хоркая, тянул вальдшнеп. Рожок месяца, бледно-серебряный и тонкий, пересекался кружевом ветвей.

Москва, 1918 г.

УЛИЦА СВ. НИКОЛАЯ

I

Образ юности отошедший, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремления — это ты, Арбат. По тебе снегом первым летят санки, и сквозь белый флер манны сыплющейся огневисто золотеют все витрины, окна разные Эйнемов, Реттере, Филипповых, и восседает Прага, сладостный магнит. В цветах и в музыке,

бокалах и сиянье жемчугов, под звон ножей, тарелок веселится шумная Москва, ни о чем не гадающая, нынче живущая, завтра сходящая, полумиллионная, полубогемская, сытая и ветром подбитая, и талантливая и распущенная. Гремят и вьюги над Арбатом, яростно стуча по крышам, колотясь в двери облаками снега. Но сквозь мглу и вой метели невозбранно проплывает седенький извозчик в санках вытертых, на лошаденке Дмитровской, Звенигородской, как корабль нехитрый, но и верный. К Рождеству елки на Арбатской площади — зеленым лесом. Приезжают дамы в соболях; везут чиновники, тащит рабочий елочку на праздник детям. И отбушевавши новый год, в звоне ль шампанского, в гаме ли водочки с селедкой, входят в ледяной январь, бегут, краснея носом, с усами заиндевелыми, обдуваясь паром,— кто на службу, кто торговать, по банкам и конторам. Кто и по трактирам. Ночью же остро, хрупко-колюче горит Орион семизвездием тайно прельщающим над кристаллом снегов.

Не навсегда! Не навсегда! Там февраль, там и март с теплым ветром, с буйным дыханием; весна, грязь и лужи, блеск, солнце, первый разрыв лазури над Арбатом, ведущим к югу, к Брянску, Киеву, Одессе. И поэт золотовласый, чуть прихрамывая, припадая на одну ногу, в черной шляпе художнической, бежит по тротуару, приветствуя весну и милых женщин. А поэт бирюзоглазый, улетающий и вечно проносящийся и в жизни, и в пространствах, точно облако белеющее, также пробегает по другому тротуару и приветствует лазурь, и ждет пришествия, и изнывает от томлений по закатам огненно-златистым над Арбатом — там, в конце, где он спускается к Москве-реке, в ней утопая. Смутны, и волнующи, и обещающи закаты эти! Чище, и хрустальнее, и дивно облегченнее те миры, что там рисуются, в фантазмах златоогненных.

А когда апрель настает, то растают почки в многочисленных садах вокруг Арбата и зеленое благословение выльется — душистым, милым оперением. В старых тополях грачи вьют гнезда. Голубым оком глянет весна, заблестит в крыльях пролеток, в лакированных штиблетах и в зеркальных окнах и в глазах веселых и воздушных. Мягко треплет ветерком — локоны девушек, бороды мужчин; смеется и перебегает по Арбату в блеске луж, в криках мальчишек, предлагающих фиалки.

Лето насыщает Арбат зноем и оцепенением. Маркизы магазинов никнут под огнем небесным. Налетает пыль — тучкой азиатской. И к вечеру Арбат замучен.

Млеют служащие в магазинах; барышни обрадовались блузочкам своим легчайшим. Но нет поэтов — ни златоволосого, бегущего Арбатом слева, ни бирюзоглазого — Арбатом справа. Улетели, как и их друзья, как и те жители, что занимают целые квартиры в домах с лифтами,— кто на море, кто в деревню, кто на дачу. Врачи и адвокаты сладкогласные умчались за границу. «Ах, Карлсбад! Нет, Киссинген! Ну разве можно же сравнить!» И многих обитателей Арбата поразносят и международные вагоны по углам богатой, сытой и самодовольно-крепкой бабушки Европы. Сапожники же, медники и парикмахеры, кондуктора трамваев, булочники, мясники и бакалейщики сидят все лето, душное ль, дождливое ль, все на своих насестах, не подозревая о Карлсбадах и об ожиреньях сердца. Священники звонят в церквах Арбата — Никола Плотник, Никола на Песках и Николай Явленный,— спокойные и важные, звоном малиновым, в ризах парчовых, вековечных, венчавшие и хоронившие тузов, и знать, и бедноту. Привыкшие к молебнам, требам, к истовому пению и жизни истовой, замедленной в бездвижности, и с ожиреньем сердца.

Гудят колокола, поют хоры, гремит трамвай, звенит румын в летнем зале Праги пышноволосой. Солнце восходит, солнце заходит, звезды вонзаются и над Арбатом таинственный свой путь ведут. И жизнь прядет, и все как будто чинно, все так крепко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно. Строят дома — сотни квартир с газом и электричеством; новые магазины — роскошь новая; новые мостовые, новый, не русский шик города. Льют свежий асфальт, и белят стены, и возятся, и пьют, и накопляют, ходят в церковь и венчаются, и любятся, и умирают между трех обличий одного святителя — Николы Плотника, Николы на Песках и Николая Чудотворца. Зима, весна и лето, хлад и жар, и мленье и закаты — все себе равно или кажется таким.

II

Первые грозы, полумладенческие бури! Немотствовавший великан пытается сказать, выкрикивает и грозит и смутно встряхивается — впотьмах и наудачу. И пылают барские усадьбы, останавливаются дороги, и рабочие выходят с фабрик — демонстрации идут Арбатом. «Господа» банкеты собирают и изящно бреют

русское самодержавне, между нкрой и балыком, меж Эрмитажем и Прагою. Ах, коиституция, парламеит, Дума, новая Россия! А те, кто помоложе и попроще, кому до Эрмитажей далеко, торопятся, им некогда, все совершить бы завтра, всю бы жизиь вверх диом перевериуть. И митииги гудят, толпы чернеют, и кричат газеты об одиом: вперед, вперед!

А там дружинники уже засновали по Арбату — и в папахах, и в фуражках; дворники, мальчишки помогают выворачивать столбы фоиариые — для баррикад. Веселый рыцарь, Дон-Жуан и декадент, он же — издатель и спирит, и мистик — собствеииоручно водружает красный флаг на баррикаде у Никольского; флаг — юбка жеиниа. Большевики, эсеры, анархисты и художники, и гимназисты, и студенты пробуют себя: вместо «Моравии», где пропивали по рублю на пиво и закуски, целятся из маузеров из-за повалеииых трамваев и калиток, сиятых с петель, опутанных проволокой телефоииою. Седой и старенький извозчик, годы плетшнйся Арбатом, обликом похожий на св. Николая, затруднеи теперь: от баррикады — лишь до баррикады. А там нужио саики перетаскивать. Да и под пулю угодишь как раз. Но все-таки ои ездит, ровиый н покойный, как патрои его, святой нз Мирликии. Поэт златоволосый ие сражается, ио иа словах громит, аиафематствует жаидармов, губернатора, властей — заочно и в лицо. Поэт бирюзоглазый ждет пришествия иной культуры, вспоеииой громами бурь, кипеиием и массой. Но массе — еще раио. Еще сильио былое, крепок штык, тверда шереига. И в декабрьский деиь, морозный, заревом пылает Пресия под шрапнелями семеновцев. Бегут папахи. Спрятались и маузеры, и карабииы. Москва затихла. Молодежь по тюрьмам, кое-кто погиб. Серо, тумаино, пасмурно и на Арбате. Будто б окоичился спектакль, где иашумели, иаскандалили ребята, а в коице прогнали их. И вот — распутывают проволоку заграждеиий, чиият фоиарн, ездят патрули и гвардейцы офицеры, победители на нынче, пьяиствуют по Метрополям, Прагам, Эрмитажам. Лавочки открылись иа Арбате, магазииы, сиова свет и сутолока, веселье, блеск — одиим забава — труд, забота для других. А седеиький извозчик снова невозбранно проплывает по Арбату, сннмает шапку у Ннколы Плотника, и крестится, и крестится на углу Серебряиого, где Ннколай Явлениый. Свящеииики же рады, что все коичилось: опять привычиое, все то же, вековое и непотрясаемое.

Положнм, что есть Дума, что там говорят, и критнкуют, и постановляют. Но ведь это *так*, все

только *так*, для формы. Прежнее — все то же. И городовой, и мирное служенье, и богатство треб, и пышность похорон. И лик св. Николая в трех церквах все тот же — строгий и покойный лик.

И снова — строятся дома, фабрики, возрастают, везут зерно на вывоз и приходят в порты русские из дальних странствий корабли с товарами: как будто крепнет, богатеет Русь. Как будто процветает и Арбат. Не нынче завтра весь он будет вымощен гранитом, как в Европе; и кафе его сияют, и огромный дом воздвигнется на углу Калошина, с бронзовым рыцарем в нише. Рыцарь задумчив, задумчив рыцарь. И стало уже тесно в Праге — думают надстроить новое святилище — выводят стены. И как будто весело, благополучно. Бегают художники, писатели и декаденты, процветают и шумят по клубам, по эстрадам, маскарадам. Сколько лирики! И темной, светлой, тонкой, уснащенной и скользящей, нежной и летящей! Поэт золотовласый улетел в Париж изгнанником — за резкости о троне. Но другие мифотворствуют и богоборствуют и препираются, и лекции читают, а иные, как поэт бирюзоглазый, все чего-то ждут. Идет ли? Не идет ли? Начинают уставать, и хриплые рога услышал уже кто-то. Ах, да так ли все благополучно? Нет ли тлена легкого, но острого, под танцем жизни?

И повсюду, на Тверской и в Камергерском, на Воздвиженке и на Арбате,— смутный, соблазнительный и наглый, разлагающий, дурманящий и за собой влекущий — над великой пустотой поднявшийся:

«Танго».

И пляшут его пары на Тверской, и на Воздвиженке, и на Арбате. Сумрак! Сладко утомление. Танго, танго! И ничего не надо. Ни страстей, ни действий и ни силы любви, ни долга и восторга творчества, бессмертия, свободы — сладкий плен полуразврата — полукрасоты.

III

Страшный час, час грозный. Смертный час — призыв. Куда? Вперед. Вперед, и в ногу, в ногу, и под барабан. Вперед. О, содрогнулась Русь, оделась в серую шинель и, смертно лоб перекрестивши, руки сжавши, тяжко в ряды стала, тяжко марширует сапогом тяжелым: раз-два, раз-два! А черно в сердце и мила Москва и горько — уходить. Идет Арбатом серый, крепкий строй; и на Угодника, что на углу Серебряного, взглянет ненароком проходящий, под винтовкой,

ненароком перекрестится — и далее шагает. Раз-два, раз-два. Вот и Спасопесковский, с красным домом угловым, Никольский, где Никола Плотник, с позолоченной главой, за ним Смоленский, на углу толпа, и машут, слезы блестят; а там — дорожка ниже, ниже, на Москву-реку к вокзалу — голову клони, солдат. Уж дожидаются вагоны, паровозы, быстрые еще и аккуратные; там снова — бабий вой, крик и рыданье; и влекут тебя, во мгле слепой, на жертву. Велика твоя повинность родине.

Родина же притихла. И насупилась. И затрезвела даже. Пьет — из-под полы и удивляет старую Европу воздержанием. Надолго ли? Ну, там посмотрим. А пока — поблекли Праги, Метрополи, Эрмитажи и все блекнут, задыхаясь в худосочии. Голубки все реже мчатся по Тверской, Арбату. И все больше лазаретов — знак кровавого креста над ними, знак печали-милости — и чаще попадаются их вывески в укромных переулках вкруг Арбата. Старые хоромы, гнезда дворянские, видевшие Герценов и Хомяковых, наполняются людьми в халатах, с лицами серо-бледнеющими, и в повязках, и на костылях. Серый суп, смутность, дрема, бледная тень жизни бедной! Хочется ль чего? Нет. Жалко ли чего? Нет, тоже нет — и все как было и как будет — тихий затон в буре страшной.

Буря же бурлит. Яростны люди, свирепы пушки, пули бессчетны и бессчетна смерть, в поле реющая — и в лесах, горах, ущельях и окопах. Волна мрака накопилась, облака и тучи, гремит, гремит бессмысленный Дракон, и пожирает, и других зовет; калек, усталых и полуживых, на родину, посмеиваясь, направляет. И идут полки вниз по Арбату, на Дорогомилово, а возвращаются в вагонах санитарных, по трамвайной линии, из-за реки.

Сердобольные ж хлопочут дамы, посещают, навещают, развлекают, музицируют и умиляются на «мощь героя серого». Серый же герой еще покорен. Все еще вытягивается и козыряет и безмолвно умирает на полях далеких, неизвестно за кого и за что. Но еще крестится, на углу Серебряного, на древний образ Николая Чудотворца, глядит почтительно на две иконы, что под тротуаром, — святитель Николай, спасающий матроса и освобождающий пленного в темнице. Слушает еще и всенощные, и обедни на полях Галиции, и в Польше, и под Ригой.

Но клонится к закату, внутренне склоняется, сгнивая, старое. И бесподдержно, и вдруг, бесповоротно расползается сам трон, и нету больше древних генера-

лов, губернаторов и полицеймейстеров, и гимна, и сурового орла монархии.

Все быль, сон былой — и новый сон уж начинается, пока лишь многословно-легкомысленно-пустопорожний. Молчали долго — и заговорили! Хочется сказать, и здесь и там, у памятника Скобелеву и под Пушкиным, и на Арбатской площади, и где угодно. Все серые шинели, серые герои, и один лепечет за другим, все тем же еще получленораздельным звуком, все о том же, о войне, свободе, революции. О том же говорят, и так же длинно, но изящнее и грамотнее, и бесконечные политики с Арбата, адвокаты, инженеры и военные, ныне страной правящие. О русские интеллигенты, о слова, слова, прекраснодушие, приятность, барственность, народолюбие! Сурова жизнь, и не приятна, и не прекраснодушна. Но профессора, экономисты из соседних переулков, получившие портфели министерские, гласные *свободной* Думы, из домовладельцев и врачей, еще надеются на что-то, думают управиться с героями в шинелях серых, воевать до одоления врага, и все тому подобное. Лишь более прозорливые, из богатых, денежки пересчитав, проверив — утекают, кто в Японию, а кто на запад.

И вóвремя, и вóвремя! Ведь надоело словопрение, шатание, незнание. И надоело жить в окопах, видеть смерть и ждать ее, и надоело зрелище богатых рядом с бедными, и так отлично — прекратить все это, отобрать, что можно, поделить, с кем нужно, и, на белый свет провозгласивши братство всех трудящихся, из ничего стать всем. И вал растет, буря идет. Поделена земля и допылали те усадьбы, что не тронуты двенадцать лет назад. Разведен скот, диваны вытащены, зеркала побиты и повырублены кое-где сады. Библиотеки отпылали, сколько надо — в пламени ль пожаров, в мирных ли цигарках. И ты идешь домой, *серый герой,* трудно ведь на войне сидеть, когда в Рязанской, Тульской и Тамбовской, дóма, *добро делят.* Ну-ка, господин буржуй, иди кому угодно, под шрапнели, в мерзлые окопы, в вонь, ко вшам, на смерть? И облепились уже вагоны воинами без щитов, пустеет дикое и горестное поле бранное. Но вряд ли надоело драться. Драться — да не там, не так.

И ты увидел наконец, Арбат, опять войну — не детскую, как прежде, не задорно шуточную, нет, но настоящую войну, братоубийственную, с треском пулеметов, с завыванием гранат. Туго пришлось тебе, твоим спокойным переулкам, выросшим на барственности, на библиотеках и культурах, на спокойной сытости, изящ-

ной жизни. Неделю ты прислушивался, как громили бомбами — ныне не Пресню уж, а самый Кремль. И за дверьми, за ставнями шептал: «Не может быть, нет, невозможно!»

Но пока шептал, уж новое пришло на твои камни, в серенькие дни ноябрьские, спустилось крепкой, цепкой лапой, облепило стены сотнями плакатов и декретов, выпустило новые слова, слуху несвычные, захватило банки, биржи, магазины, и твои, спокойный, либеральный и благополучный думец, сейфы и бриллианты.

Ты же протирал глаза, о обыватель, гражданин и пассажир международных lux'ов, посетитель вод, Карлсбадов, Киссингенов; ты, страдавший ожиреньем сердца, ощутил, что все заколебалось в смутном дьявольски-бесовском танце. Проносились новые автомобили, грузовые, полные людей вооруженных, тех же *серых все героев;* заработала машина смерти; заработала машина голода. И прежние подвальники, и медники, и вся мастеровщина, туго жизнью пригнетенная, из щелей повыползала, из темных чор своих, и вверх задвигалась. «Попировали, и довольно! Нынче наш черед!»

Выходи, беднота, тьма, голь и нищенство, подымай голос, нынче твой день.

IV

В январе толпы *героев серых*, возвращающихся с брани. Ночью, отлипая смутными гурьбами от площадок, крыш вагонов, буферов тех поездов, что добирались кое-как до Брянского, хмурые и молчаливые, с котомками через плечо, валят они валом неслабнущим, в темноте Арбата, к площади. «Эй, товарищ, как к Рязанскому?» Все Русь и Русь. Рязань, Тамбов, Саратов, все спешат домой, подальше от окопов, смерти хладной, голода. Грязь, вши и мрак. Грязь, хлад в Москве, стон, вой и мерзость и в вагонах тех, куда спешат, стремятся на родину — в ту же мразь беспросветную. Арбатский житель, с ними повстречавшись, пожимается, карманы попридерживая, — впрочем, пусто в них, как и в желудке, — но сермягам и не до его карманов. Может быть покоен. А последнее пальтишко стащат с него в переулке, вежливо прикладывая дуло револьвера к уху. Ну, что ж, давать, так отдавать! Все равно нету ничего. Ни дров, ни хлеба, ни угла — скитайся, голь, святая бедность! И скитаются и мерзнут темной ночью, в сумраке пустынных ветров.

Но и утро занимается над городом. Пробрели все серые герои, призакончились убийства, грабежи и казни — солнце продирается в туманах инея, в огнезлатистых пеленах, столбах жемчужно-радужных. Пар от всего валит, что дышит. Как много серебра, как дешево оно! И на усах, и на обмызганных воротниках пальтишек людей жизни новой. Люди новой, братской жизни, парами и в одиночку, вереницами, как мизерабли долин адских, бегут на службу, в реквизированные особняки, где среди тьмы бумаг, в стукотне машинок, среди брито-сытых лиц начальства в куртках кожаных и френчах, будут создавать величие и благоденствие страны. Вперед, вперед! К светлому будущему! Братство народов, равенство, счастье всесветное. А пока что все ворчат. И все как будто ненавидят ближнего. Тесно уж на тротуарах, идут улицей. Толкаются, бранятся. Барышня везет на саночках поклажу. Малый со старухой, задыхаясь, тащит на веревке толстое бревно, откуда-то слимоненное. А магазины, запертые сплошь, уныло мерзнут промороженными стеклами. И лишь «Закрытые распределители» привлекают очереди мизераблей дрогнущих — за полуфунтом хлеба. Да обнаженные витрины двух иль трех советских лавок выставляют пустоту свою. Но не задумывайся, не заглядывайся на ничто: как раз в морозной мгле ты угодишь под серо хлюпающий, грузный грузовик с торчащими на нем солдатами, верхом на кипах, на тюках материи иль на штанах, сотнями сложенных. А может задавить автомобиль еще иной — легкий, изящный. В нем, конечно, комиссар — от военно-бритых, гениальных полководцев и стратегов, через товарищей из слесарей, до спецов, совнархозов — эти буржуазней и покойней. Но у всех летящих общее в лице: как важно! как велико! И сиянье славы и самодовольства освещает весь Арбат. Проезжают и на лошадях. Солдат на козлах или личность темная, неясная. В санях, за полостью — или второстепенный спец, или товарищ мастеровой, но тоже второстепенный, в ушастой шапке, вывороченной мехом куртке. Это начальство едет заседать, решать, вязать. С утра весь день будут носиться по Арбату резвые автомобили, снеговую пыль взрывая и гудя. Чтоб не было для них ухабов, обыватель, илот робкий разгребает и вывозит снег. Барышни стучат лопатами; гимназисты везут санки. И солидные буржуи, отдуваясь, чистят тротуар. Профессора, семьями тусклыми, везут свои пайки в салазках; женщины бредут с мешками за плечами — путешественницы за картофелем, морковью. В переулках близ Смоленского

торгуют молоком, дровами, яйцами. Мальчишки выкликают: «Папиросы рассыпные, Реже, Ява, Ира!» И краснощекие красноармейцы, молодые люди в галифе, бристо-сытые, с красной пентограммой на фуражках, отбирают себе Иру. Полусумасшедшая старуха, в рваной кофте и матерчатых полусапожках, широко расставив ноги, бредет с палкой и бессмысленно бормочет: «Помогите! Помогите!» — и протягивает руку. Старый человек, спокойный, важный, полузамерзающий, в очках, сидит на выступе окна и продает конверты — близ Никольского. А у Николы Чудотворца, под иконой его, что смотрит на Арбат, в черных наушниках и пальто старовоенном, с золотыми пуговицами, пристроился полковник, с седенькими, тупо заслезившимися глазками, побелевшим носом, и неукоснительно твердит: «Подайте полковому командиру!» Рыцарь задумчивый, задумчивый рыцарь с высот дома в Калошином, вниз глядит, на кипение, бедный и горький бег жизни на улице и цепенеет, в седой изморози, на высоте своей. А внизу фуры едут, грузовики с мебелью. Столы, кровати, умывальники; зеркала нежно и небесно отблескивают, покачиваясь на толчках. Люди в ушастых шапках, в солдатских шинелях, в куртках кожаных въезжают и выезжают, из одних домов увозят, а в другие ввозят, вселяют, выселяют, все перерывая, вороша жизнь старую. Туго старой жизни; притаилась в тихих переулках, думает, гадает, выселяется и тащит на Смоленский кружева, браслеты, чашки, шали, юбки, мундштуки, подсвечники и кольца и спускает мужичкам, красноармейцам, спекулянтам, чтобы купить проклятой пшенки, радости советской. И все ждет и надеется: «Ну, теперь уж близко!», «Слышали,— ведь заговор. Нет-с, когда и среди них пошли раздоры, это агония!». Но от разговоров не слабей морозы, не дешевле дрова краденые — и дороже пшенка.

И теперь узнал поэт золотовласый, что есть печка дымная, что есть работа в одной комнате с женой и дочкой, что есть пуд картошки мерзлой, на себе тащимой с Курского вокзала. Но все так же, не теряя жизненности, силы и веселья, пробегает он по правой стороне Арбата, ловя взоры девушек. По левой же — все так же пролетает и поэт бирюзоглазый, сильно поседевший, в пальто рваном и шапчонке тертой — он спешит на лекцию, на семинарий, в пролеткульт и пролетдрам, политотдел и наробраз и в словах новых будет поучать людей новейшим, старым откровениям писаний.

Так идет, скрипит, стонет и ухает, гудит автомобилями, лущится семечками, отравляется денатуратом, выселяется и арестуется, жиреет и околевает с голоду жизнь на улице-долине, в улице, ведущей от Николы Плотника к Николе на Песках и далее к Николаю Явленному. Средь горечи ее, стонов отчаяния, средь крови, крика, низости, среди порывов, деятельности, силы и ничтожества, среди всех образов и человека, и животного — всегда, в субботний день пред вечером, в воскресный — утром, гудят спокойные и важные колокола Троих Никол, вливаясь в сорок сороков церквей Москвы. На зов их собирается различный люд. И старый, молодой, и бедный, и богатый. Из холодающих углов идут старухи, чья судьба недолга; из уплотненных, некогда покоев важных — фрейлины, аристократки. Лавочники лысые и мелкие служащие, и девушки, какие-то из скромных — может быть, из тех, что надрывались днем, таща бревно, работая на кухне, добывая пшенку. Интеллигент русский, давняя Голгофа родины, человек невидный и несильный, перекрестит лоб. И матери, и сестры, и невесты, что оплакивают ближних, пожранных свирепой жизнью. Наконец, даже и ты, солдат-красноармеец, воин новой жизни. Все сюда собрались, все равны здесь, равенством страдания, задумчивости, равенством любви к великому и запредельному, общего стояния пред Богом.

Служат старые священники. Есть, впрочем, также молодые, но иные уж, чем раньше; все иное. Все попроще, побледней и будто строже. Будто многое отмылось, вековое, цепеневшее. И будто бы Никола сам, помощник страждущим, ближе сошел в жизнь страшную.

Колокола звонят. Свечи теплятся. Ризы сияют на иконах, хор поет. Любовь, спокойный, светлый мир зовет. «Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененные, и Аз упокою Вы». И снова, и снова, как Рахиль древняя, как Мария Матерь Господа, омывает мать слезами постаревшее свое лицо, мать над сыновним трупом, над женихом невеста и сестра над братом. И сердца усталые, души, в огне мятущиеся, души, грехом палимые, изнемогшие под грузом убиенных,— все идут сюда, быть может, и палач и жертва, и придут, доколе живо сердце человеческое.

Хор поет призывно: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Девушки в платочках беленьких, как сестры милосердия, прислуживают при служении.

V

Образ юности отошедшей, жизни шумной и вольной, ласковой сутолоки, любви, надежд, успехов и меланхолий, веселья и стремленья — это ты, Арбат. Ты и шумел и веселился, богател и беззаботничал — ты поплатился. По тебе прошли метели страшные, размыли тебя и замертвили, выели все тротуары твои, омрачили, холоду нагнали по домам, тифом, холодом, голодом, казнями пронеслись по жителям твоим и многих разметали вдаль. Залетел опять, как некогда, поэт золотовласый в чуждые края; умчался и поэт бирюзоглазый к иностранцам. Многие поумирали. А кто выжил, кто остался, те узнали, жизнь, грозный и свирепый лик твой. Из детей стали мужами. Окрепли, закалились, поседели. Некогда уж больше веселиться и мечтать, меланхоличничать. Борись, отстаивай свой дом, семью, детей. Вези паек, тащи салазки, разгребай сугробы и коли дрова, но не сдавайся, русский, гражданин Арбата. Много нагрешил ты, заплатил недешево. Но такова жизнь. И не стоит на месте. Налетела буря, пронеслась, карая, взвешивая, встряхивая — стала тихнуть. Утомились воевать и ненавидеть; начал силу забирать обычный день — атомная пружина человечества. Снова стал ты изменяться, сам Арбат. И с удивлением взирает рыцарь в латах, рыцарь задумчивый с высот Калошина, что человек опять закопошился за витринами магазинов и за дверками лавчонок, мастерских; что возится и чинит плотник, и стекольщик заменяет пулями пробитый бём на новый, и старательно расписывает живописец вывеску над булочной. Вновь толпа нарядней. Вновь стремятся женщины к одеждам, а мужчины к деньгам. Вновь по вечерам кафе сияют, и из книжных магазинов книги смотрят, и извозчики снуют. Блестит Арбат, как полагается, по вечерам. И тот же Орион, семизвездием тайнопрельщающим, ведет свой путь загадочный в пустынях неба, над печальнобурной сутолокой людей.

А ты живешь в жизни новейшей, вновь беспощадной, среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, неудачников, счастливцев. Не позабывай уроков. Будь спокоен, скромен, сдержан. Призывай любовь и кротость, столь безмерно изгнанных, столь поруганных. Слушай звон колоколов Арбата. В горестях, скорбях суровых, пей вино благости, опьянения духовного, и да будет для тебя оно острей и слаще едких слез. Слезы же приими. Плачь с плачущими. Замерзай с замерзшими и голодай с голодными. Но не гаси себя и не

сдавайся плену мелкой жизни, мелкого стяжательства ты, русский, гражданин Арбата.

И Никола Милостивый, тихий и простой святитель, покровитель страждущих, друг бедных и заступник беззаступных, распростерший над твоею улицей три креста своих, три алтаря своих, благословит путь твой и в метель жизненную проведет. Так расцветет мой дом, но не заглохнет.

А старенький, седой извозчик, именем Микола, проезжавший некогда на санках по Арбату на клячонке Дмитровской, тот немудрящий старичок, что ездил при царе и через баррикады, не боясь пуль и лишь замолк на время — он уж едет снова от Дорогомилова к Большому Афанасьевскому.

Москва, 1921 г.

БЕЛЫЙ СВЕТ

Бедная жизнь, малая жизнь, что о тебе сказать, чем порадовать? Не сердись и не обижайся. Будем скромней. Ведь в тебе несусь, ты принимаешь, и снежок зимний на Арбате зимнем посыпает и меня, да и тебя, ветер завивает и уносит, все уносит, рады мы или не рады.

Ты хотела б быть пышней, нарядней и могущественней. Может быть, и я бы превзошел себя.

Но есть Судьба. Тебе и мне. Хочешь не хочешь, ее примешь. Я — уж принял. Я живу в ней, в ней иду. Прохожу сквозь тебя, жизнь, и посматриваю. Печаль, веселье и трагедия, цена на молоко, очередь в булочной, новый декрет, смех, смерть, пирожные и муки голода — все вижу я и, пожалуй, знаю.

Заповеди счастия:

I. Помни о печке. Сложи каменную. Не забудь о дымоходе, полюби дрова, знай смысл полена. Если нет дыму и тепло, то ты в преддверии.

II. Ешь. Продавай штаны, женину юбку, книги, старые подсвечники и этажерку, только не ослабевай, иначе уж не встанешь.

III. Спи, или ты не выдержишь. Но выдержать ты можешь, должен. Ведь другие же выдерживают, да и мудрость, правда, уж не так огромна.

Снег, пушисто на Арбате. Мягкий скрип саней, автомобиль несется. «Чайная-столовая», «Гастрономия

Н», папиросы и пирожные. «Есть свежие булочки». «Извозчик, на Солянку!» — «Полтинник, барин».

Галифе с дамой румяною в многомиллионом палантине катят.

У стены политики газету поедают. «Крах капитализма», «Надо бить в набат», «Держите порох сухим».

И летит ворона, села на крест церкви Николы Явленного, покаркивает себе. Белый же снежок все посыпает, и меня, и тебя, и коммуниста, и спекулянта в соболях, и чудака с моноклем, в рваном котелке, опорках, с мешком рухляди, и с видом элегантно-стынущим — деловито шествует он улицей, невдалеке от тротуара.

Бело, пустынно. Ты идешь. Страдал ли ты, был счастлив, строил планы? Надеялся, мечтал? Но тут ты кланяешься: много на Арбате ведь знакомых.

И дальше, в белых буднях. Дни твои восстают, умирают, виденьями скромными, между хозяйством и литературой, Арбатом, лавкою книжною, книгами и газетами, в вихре политики, рушащегося и строящегося. Снова: будь скромен и не заносись, приказчик за прилавком.

— Есть учебники?

— Древний мир, Иванова?

— А-а, скажите, нет ли о театре?

— Хозяин, азбуку.

Барышни—Блока. Ахматову. Актрисы — Уайльда. Философы — о Гегелях, дамы постарше — в детском.

Важный субъект:

— Нет ли восемнадцатого века?

Хлопает и затворяется входная дверь, потрескивает печка, издатели приходят, философы беседуют — о выдаче пайка. Нуждающиеся в пшенке тащут свои книги, другие оставляют сотни тысяч и выносят связки книг, дверь все хлопает и затворяется, дамы, мальчики, снобы, студенты, поэты, техники, букинисты... где конец? где начало?

А за кассою твердою рукою ведет дела дома торгового ясноокая Паллада. Вспыхнет электричество в четыре, в шесть погаснет. Тьма, снежок. Хладные улицы, зеленые огни.

Сиянье дальних океанов, древние наречия, озера, тонкий свет пейзажа, поля риса и монастыри буддистов, перезвон неведомых колоколов и легкий танец радости и сонный плеск весла бамбукового. Изящно-краткий звук стиха. Лепестки вишен, падающие в фарфоровую чашечку вина златистого.

Малые основы жизни:

I. Пайком не брезгай (не гордись). Разговаривай о нем почтительно, не пропускай буквы своей, записывайся до свету; бери достаточно с собой бечевок и мешки. Не позабудь бутылок. Осмотри санки. Терпи в очереди, не кричи, что дали масло горклое или мясо с костью. Не волнуйся и не нервничай.

II. Почитай примус. Он твой домашний лар. Наблюдай за жизнию его. Чисти иглой. Поршень, если ослабел, размачивай в стакане с кипятком. Делай возлияния ему — чистейшим газолином.

III. Затыкай все щели. Вентиляции ведь хватит. Холод же придет наверно.

Хочешь похворать? Что же, ложись. Сначала это странным может показаться. Жена тоже больна, и некому ходить за хлебом, скромно мерить Арбат зимний, ждать у касс, получать сдачу. Некому отправить девочку в училище, затопить печь, готовить. Ты ложишься, не без удивления. Знобит. Устало тело. Белый, зимний день в окне, и снег попархивает. Но покойно в сердце! Что ж, ты невиновен. Сколько мог, трудился. Ставил самовар. Мыл посуду. Распалял примус — человечье имя у него — Михаил Михайлыч. Но вот наконец настигли и тебя. Неважно. Даже славно, отдохнуть и ни о чем не думать. Жизнь же? Жизнь наладится, наверно. Велика Москва, любвеобильна. Не покинут добрые.

С улыбкой думаешь: «В Москве, да чтобы дали сгинуть? Вряд ли».

И действительно, устроишься. Кто-нибудь пойдет к аптекарю, кто-нибудь самовар наладит. Добрая душа уберет комнату, сготовит на печурке, подаст градусник — и ты уж жив — житель беспечный на волнах хаоса,— вот и день твой малый отшумел.

И хоть в хаосе — все же протекут, как надо, дни болезни, и ты встанешь и с кувшином синим из-под молока, с корзиночкой побредешь Арбатом зимним, утренним за малыми делами жизни. Тысячи, и сотни лет трудилось человечество, изо дня в день. Возьми и ты уголок бремени. Это — чтоб не заносился ты, не важничал.

Если заспался, молоко уже раскуплено. Тогда — к Смоленскому, приюту верному. Свернешь направо, мимо двух лачужек, пустыря, где дом стоял, а ныне дерево одно торчит, увешанное тряпками.

Худая собачонка бродит, разбирая что-то в куче. Наигрывая на гармошке, шагают четверо парней, в тулупчиках, с лицами ясно-веселыми. С душой голубокою поют.

Вспомню, вспомню, вспомню я,
Как отца зарезал,
А любовнницу свою
На дуге повесил.

Старуха на углу, сияя в снегу, со щекой подвязанной, клонится поклоном низким, древне-убого-покорным, руку протягивает — «Подайте милостыньку»...

В конце Толстовского, преддверия рынка, бабы-молочницы с флягами. Тощему интеллигенту, барыне в салопе льют кружками белую жидкость со льдинками — в кувшины, кастрюлечки, махотки.

Смоленский! Средоточие Москвы, знамя политики, сердце всех баб, солдат и спекулянтов, родина слухов, гнездо фронды, суета, базар, печаль, ничтожество и безобразие убогой жизни. Кишит толпа, вечно кишит, с утра до вечера. Ее разгонят, оберут, засадят кой-кого — вновь собираются, торгуют в переулках, откупаются,— но все-таки торгуют, все же норовят друг друга объегорить, где-нибудь сорвать, на чем-нибудь нажиться. Долго разгоняли — но неутомимый, юркий бес все ж одолел — и невозбранная гудит мамона. В палатках продают духи и гвозди, мыло, башмаки и бриллианты, статуэтки и материи, торговцы опытные; а напротив длинными рядами вытянулись мизерабли, на себе принесшие отребья. На снегу — чернильница и дамские чулки; старинная миниатюра; кружева. Вот женская рука вытягивается, в перчатке черной — кольца на ней нацеплены; старенькая дама стынет, леденеет над такими же, как она, старыми книжонками. Две девушки накинули сверх шубок платья; бритый барин в котелке предлагает тряпочные куклы. И временами все сторонятся — тарахтит форд, прокладывая вольную дорогу, путь начальства, власти, самоопьянения.

Опять сомкнутся вновь безмолвные ряды просящих лиц, сизых носов, глаз слезящихся, вновь ходят по рядам дамы нарядные, скупщики, спецы — без конца и без начала человечья орда — сутолка, под серым небом с пролетающими галками, снежком, зигзагом реющим. Галдят, торгуются, пробуют материи, едят на лотках ситный, жуют свинину, разбирают сахар краденый, завертывают масло.

Вблизи молочниц, на снегу улицы — в раме гравюра. Отдых Пречистой на пути с Иосифом в Египет. Богородица уснула. Лишь Младенец тянется к двум ангелам,— один протягивает ему плошку, а другой дает еду. Иосиф в отдалении. И справа, за скалой, где приютились путники, спокойный, мирный слон.

«Buturum et mel comedet ut sciat reprobare malum et eligere bonum» — подпись.

А внизу:

«Ferdinando III Austriaco Magno Etruriae Duci — Nicolaus Poussin».

Так вот где Ты, Спаситель, и Египет, и Пуссэн, Этрурия! Так вот где. Смотрим и молчим, проходим с только что добытым молоком, которое снесем домой и будем аккуратно кипятить, задабривая газолином свежим нашего Михаила Михайловича, чтоб не спесивился и загорался пламенем изжелта-голубеющим.

— Забубнил, Михаил Михайлыч!

Но тогда не упускай минуты, путник, мешай ложкой молоко свое, чтобы не пригорело, не ушло, не хлынуло волной кипящей. Этого не любит наш Михаил Михайлович. Он обидится, и сам же ты потащишь прочищать его к старичку на Арбат.

Дубы оракула в Додоне, снега Парнаса, мед гиметский, Ликабета холм над Афинами, сумрак вечерний и огоньки в городе — дальний, безбрежный вздох ветра с гор. Стрекотанье цикад. Запах тмина. Круг моря, смутно висящего, нас сторожащего, гор оцепленье.

Мраморы Элевзина! Плеск волны, Нереиды и розы, гробницы Аттические. Медленный лет пчелы.

Идем и покупаем новую бутылку красного вина. И — легкий дым забвения и возбужденья в пути полуденном — туманные очарованья.

Михаил Михайлович, ты не плох, ты друг. Печь — ты помощница. Дрова — союзники. Стены — защита. Окна — глаза наши в белую улицу, со снегом и зимой, бегом саней, ходом людей, мало-печально-радостной жизнью нашей.

Здравствуй, чистильщик сапог, болгарин жуковидный на углу Кривоарбатского. Пирожницы и дамы папиросные, счастьеискательницы, мерзнущие на морозе. И кассирши в гастрономиях, и девочка, сбирающая корки за зеркальной дверью булочной. Мизерабли, дрогнущие в очереди к хлебу, и убогие старухи, руки тянущие, и приказчики, и буржуа в своих лавчонках, — здравствуйте.

Ну что же, где же драмы, и томления, и страсти сердца, и любви мечтанья? Как пустынно! Как легко идти!

Белое небо, белый снег порхающий, белая жизнь, белая душа. И летит бойкий автомобиль, трамвай гремит. А навстречу ему баба, впряжена в рекламу. На тележке надписи. Там и актеры, пение и кабаре. Подвалы, *радость*. Может быть, вино?

Сумерки, церковь Николы Плотника. Можно бы и зайти. Открыта дверь. Сумрачно тоже и холодно. Несколько человек. Гроб посредине, маленький. Весь в цветах. Свечи — смутное золото. Смутно и темно — холодно по углам. Двое у изголовья девочки, вечные двое — отец, мать... Поправила складку на покрове, цветы передвинула, а рука держит свечку, не бросит. И все только смотрит на кудерьки черные, на узенький, на лбу, венчик, провалы глаз. Девушка плачет. Красноармеец у двери. Священник в серебряной ризе и дьякон.

Долгим лобзанием поцеловала, припала, крестом смертным осенила. Вновь цветы поправила.

Крышку наставили — и застучали.

Вот она, Властная, в маленькой, бедной жизни нашей. Тысячи тысяч косит, купается, радуется, мы же идем да идем. И смеемся, работаем, пьем. Живем *ежедневно*. Вон спец в меховой куртке, желтых ботфортах, зашел пообедать в столовую. С военным бежит в кино советская барышня, румянощекая, на крепких, как свайки, ножках.

А нищие? Дети вспухающие? А людоеды? Нищему — подаяние. Людоеды — не тем будь помянуты к ночи. И дальше: весна придет. Растет снежок арбатский. Вперед, все дальше, несется.

Судьба? Так что ж. Терпи, трудись спокойно, в области высокой. И надейся. Мечтай: об океанах, о далеком, о неведомом. Не всегда же Арбат. Иди в прохладном свете зрелости, с улыбкою печали-радости. Малая жизнь, ты не Верховная. Не связать тебе путника. Он смотрит, но он жив, *желает*.

И средь трагедий и фарса, цены на молоко, возни с обедом, очереди в булочной, средь смеха, смерти, сладких пирожков и рева голода подъемлет свой бокал с вином, крови подобным.

Белый же свет смутно, бережно нас осыпает крылом хладным.

Москва, 1921 г.

АВДОТЬЯ-СМЕРТЬ

I

Через два дня как выпал снег, когда в комнатах стало светлее и вместо тряской, мерзлой земли розвальни заскользили по белеющей прохладе, когда за-

пахло до слез остро снегом и пронзительно-горестно выступили свинцовые дали,— в деревушке Кочках у комиссара Льва Головина появилась баба. Лев, человек огромный, вялый, с грыжей, с большим носом, с рыжеватой бородой, привык ничему не удивляться. Он неторопливо копошился у розвальней, ладя поновому оглоблю, когда высокая, тощая баба окликнула его.

— Мы самые и есть,— ответил Лев, с усилием, изо всех сил затягивая петлей веревку.— А ты кто же будешь?

— Что ж, милок, или меня не узнал? Еще Матюшкина-то вдова, вашего же, кочкинского? А как я теперь без пропитания да бабка на руках слепая — разрази ее Господь — да Мишка несмышленый, жрать-то нечего, прямо как рыбочка бьешься...

Баба мало была похожа на рыбочку, говорила низким, почти мужским голосом, но всхлипывала искренно.

— Ну, вот, я сюда и подалась, и подбежала...

— Та-ак...— Лев равнодушно почесался.— Матюшкина вдова. Да он что ж, у нас жил? Он у нас, почитай, и не жил. Все в городе околачивался.

— Как так околачивался? Забыл ты все, милок, и меня, тетку Авдотью, не признал...

— Тебе чего же надо?

За плечами у Авдотьи висела котомка. Худа она была до чрезвычайности. Опираясь на длинную палку, пристукнув ею, придвинулась шага на два.

— Как чего? Вы-то небось барскую землю забрали, а ведь я тоже обчественная, как рыбочка бьюсь, бабка слепая, Мишка несмышленый...

Дело было ясное, несмотря на множество ненужных слов. Она хотела, чтобы ей прирезали земли. Лев это сразу понял, но сначала сделал вид, что не понимает, а когда долее не понимать стало нельзя, принялся равнодушно объяснять, что хоть и правда, взяли землю у господ, но ее стало даже меньше. Лев Головин глубоко был уверен в правде своих слов. Но сразить Авдотью тоже нелегко. На слово она отвечала десятью, бледные ее губы дрожали, мужской голос хрипел свое, она пристукивала палкой и плотнее наседала на Льва.

— Тогда уж надо обчеству... как обчество тебе решит, так и быть.

Под «тогда» Лев разумел: если уж ты такая стерва, что от тебя мне не отделаться, так пускай обчество отделывается.

И как ни безразличен, медлен, от ноющей грыжи ни меланхоличен был комиссар Лев Головин, все же ему пришлось под вечер созвать сход и доложить о деле. Никому не было оно в радость. Но Матюшка правда некогда жил в Кочках. У него нашлись даже родственники. Авдотья, как приблудный пес, сидела на крыльце и грызла корку.

— Я это, значит, оглоблю лажу,— рассказывал комиссар медленно и грустно,— а она вот как вот... И откуда ее принесло? Из-под земли выскочила! Или уж ее ветром к нам надуло, со снегом, по первопутку?

— Ее надуешь!— сказал кривенький мужичонко Кузька.— Она сама, смотри, какого ходока задает. Я видел. Я с ней говорил. Прямо... Из ноздрей огонь. Что твой скакун.

— Как ее упокойный муж, действительно сказать, был наш кочкинский, то не миновать нам дать ей землицы, что мы на этом сходе и должны привести в действие,— бойко произнес одутловатый человек с шарфом на шее, бывший приказчик, а ныне состоятельный крестьянин Федор Матвеич — и этим решил дело.

Постановили земли дать, на одну душу. Поселить в бывшей господской молочной.

Узнав об этом, Авдотья перекрестилась, низко поклонилась мужикам и, взяв свою палку, огромными шагами зашагала первопутком к станции — за Мишкой и бабкой.

— Видишь, как чешет,— сказал Кузька.— За ней на мерине не угонишься.

Авдотья быстро скрылась во мгле.

II

«Бывшая господская молочная» — значило небольшая изба, с земляным полом, где некогда гудел сепаратор. Рукоятку его вертела тогда Маша Головина, она же наливала фляги Николая Степановича и отправляла их на станцию. От этого былого, как от романа Маши с Пермяковым, мало что осталось, кроме самой избы. Крестьяне деревушки Кочки давно забрали барских коров и с огорченьем сами вынуждены были их отдать в совет. Сепаратор продали куда-то. Николай Степанович, столь любивший чинность и порядок, так и умер в очках и старой своей форменной тужурке. И из большого дома, со второго этажа которого был виден

пруд, угол липового парка и бугор перед глазами, замыкавший горизонт, Варвара Андреевна не по своей воле переселилась во флигель. Но как раз она и изменилась меньше всех. Хотя владела лишь наделом (считаясь членом кочкинского общества), но так же строго и спокойно принимала кочкинского комиссара Льва Головина на кухне, говорила ему «ты» и в бобровой шапке, шубке, с палочкой, медленно и властно обходила прежние свои владенья, заглядывала в амбар, половину которого — в награду за боевые заслуги — увез летом красноармеец Филька, подкармливала кур и голодных стариков, занимавших часть большого дома, продавала мельнику соседу кое-что из старья и, как и встарь, обладала непререкаемым авторитетом. Лиза за это время потеряла мужа. Возвратилась на родное пепелище, в прежней девической своей комнатке учила кочкинских детей — все как по-старому.

Когда в один прекрасный день Авдотья со слепою бабкой, с Мишкой, двумя петухами, сундуком и разным жалким скарбом ввалилась в усадьбу, Варвара Андреевна не удивилась. Она вообще была выдержанна, за это же время ее старые, некогда очень красивые глаза привыкли все принимать как должное.

— Еще одна пан-сионерка у нас появилась,— сказала она Лизе, отдавая комиссару ключ от избы.— В молочной будет жить.

Варвара Андреевна произносила «пан-сионерка» с французским выговором, так учили ее некогда в Петербурге, в пансионе мадам Труба. Но мало похожа Авдотья на прежних ее сотоварок.

— Подумать только, что вот и эта Авдотья была молода... Может, любила кого, замуж выходила...

— Ну, это ничего не значит. Знаешь, как у них: нужна работница в дом. А невеста смотрит, какая у жениха стройка.

Варвара Андреевна вообще была скептик. На многое, что волновало или восторгало Лизу, смотрела равнодушно. Лиза так привыкла, что всегда мать для других жила — для отца, для нее, Лизы,— так ей было ясно, что некрупная старушка эта есть образец безупречный, что даже этот холодок был свой, давно привычный. Как привычно, хоть и грустно было то, что мать безразлична к вере.

Авдотья же не занималась тонкостями, нежностями. Она кипела. Ей все равно, верит или нет слепая бабка. Но огорчало, выводило из себя, что бабка «много жгрет».

— Ах ты, пралик тебя расшиби, волосатик тебя заешь,— кричала она мужским голосом,— да что ж мне на тебя, на старую кобылу, милостынку собирать? Я бегаю, бегаю, прошу у добрых людей, все ножки отбегала, а она жгрет да жгрет, знай лопает, у-у, вредная, стерва...

Стерва безответно сидела на завалинке, пялила слезящиеся бельма и ждала, когда дочь даст ей по уху. Ждала не напрасно. Мишку Авдотья трепала за уши, а бабку била кулаком, иногда палкой, прямо по лицу. Бабка стонала — по старости громко кричать не могла. На другой день лицо ее покрывалось зелеными пятнами.

На одну из таких расправ наткнулась случайно Лиза. Как и в детстве при виде жестокостей и надругательств, вся побелела и сразу почувствовала тошноту.

— Что вы делаете, Авдотья...

Обернувшись, та увидела «молодую барыню» — и сама испугалась: не грозности этой барыни, а того, что она все-таки «барыня».

И отскочила от бабки.

— Да я, милок, я это маленько... только что поучила... У-у, она вредная... вы ее, барыня, не знаете.

— Да ведь она вам мать...

— Только и делает, жгрет с утра до вечера, а уж я и все ноженьки отмотала... Ты чего, паршук, смотришь,— крикнула на Мишку, с любопытством взиравшего, как «учат» бабушку.— Я тебе задницу-то надеру, колесом у меня пойдешь, сукин кот...

— Сама сука...— Мишка осмелел, что рядом Лиза, и, шморгнув носом, стреканул ко флигелю.

Лиза почувствовала, что дальше ничего сказать не может, расплачется — и, махнув рукой, пошла к себе во флигель.

Варвара Андреевна много спокойнее отнеслась к делу.

— Ты очень жалостливая и всегда такая была. С ними нужно крепче нервы. Они все такие. А ты думаешь, другие лучше? Они не так чувствуют, как ты...

— Ах, мама... бабка старая, слепая. И с каким ожесточением она ее колотит...

— Ну, кто же говорит! Кто это одобряет! Вот придет ко мне, я ей такой репримаyд сделаю...

Авдотья заявилась в тот же день, в сумерки. Клуб пара и холода ворвался в кухню, когда, костлявою рукой резко дернувши входную дверь, она вошла с

мороза. В руках длинная палка. Как всегда, рваный тулуп, глаза белесы, беспокойны.

— Я к вашей милости, матушка барыня. Там вот это, позади хригеля вашего березочка одна такая... на кой она вам? А я прямо мерзну, силушки моей нет, пол холодный, бабка жалится.

Варвара Андреевна стоит посреди кухни, около плиты, и смотрит, как вскипает каша.

— Нет, нет, березку не позволю. Это баловство. Руби хворост в овраге. Там сколько угодно. Да вот еще что: если ты у меня в усадьбе будешь драться, так смотри...

— Что вы, что вы, милок барыня, какое драться, я и отродясь-то не дралась, я смирная бабочка.

— Если будешь со своей старухой скандалить, так и духа твоего здесь не окажется...

Авдотья продолжает уверять, что она самая тихая бабочка. Но для барыни готова даже не учить свою стерву, а в овраг, что ж, в овраг, конечно, можно сходить порубиться...

Тон Варвары Андреевны действует. Быть может, кажется Авдотье, что если барыня так властно говорит, значит, и власть имеет выставить ее из молочной. Соображает ли о том, что самое Варвару-то Андреевну и Лизу много легче вышвырнуть из флигеля, чем ее из молочной? Как бы то ни было, по остатку ли боязни, в надежде ли на мелкие подачки — их делают на кухне постоянно,— Авдотья удаляется покорно. Смирно меряет саженными шагами путь домой. Из окна смотрит Лиза, сумрачно, с задумчивым недоумением.

После ужина мать в столовой под висячей лампою раскладывает свой пасьянс. Лиза говорит:

— Знаешь, когда она так шагает, и с этою палкой... ну, точно смерть. Прямо скелет, кости гремят, и за плечами коса.

Варвара Андреевна из-под пенсне поднимает на нее красивые и строгие глаза:

— Ну, какая там смерть. Просто попрошайка. Это тебе все кажется.

III

Николай Степаныч лежал за церковью на кладбище, под белым березовым крестом. Зимний ветер трепал тонкую кожицу бересты, наносил сугроб, заметал засохшие цветы и мелкой снежной пылью пел вечную

песнь печали и бренности. Лиза иногда заходила к отцу. Пробиралась полузанесенной тропкою, стояла, разгребала цветы, поправляла перекладину, крестилась и так же истово и медленно шла домой. Нечто монашеское в ней проступало.

Близ ограды парка, из-за поворота вдруг вынырнула, как со дна морского, длинная и тощая фигура с палкой и котомкой за плечами.

— А я, милок барыня, в Аленкино добежать, сказывают, мануфактуру привезли, по полтора аршинчика выдают... Я тут одним махом, к обеду домой...

«В Аленкино...— Лиза медленно подходила к дому.— Десять туда, десять обратно, к обеду домой...» И обычная тоскливость, тяжесть встречи легла на сердце.

Авдотья же в это время, на длинных своих ногах, точно бы на ходулях, неслась в горку за речкой, откуда виднелась и церковь, и парк, и двухэтажный «господский» дом. Если бы обернулась, увидела бы и крест Николая Степаныча, но оборачиваться ей некогда, впереди поля, белые и холодные, дальние, с резкой поземкой по насту, летящей и вьющейся ледяными струями — как они извиваются, то вздувают сугроб вокруг елочки-вешки, то сметают с обледенелой лысины все дочиста! То шагает она по дороге почти что скользкой, то вдруг вязнет чуть не по колено — в малейшем ложочке. А времени небогато, засветло обернуться, да по дороге, в Кунееве, хлебушка раздобыться... хоть горбушку — и самой голодно, да и Мишка все ноет, и бабка...

— О, Господи, да убери ты их от меня, окаянных праликов! Заточили треклятущие!

После «репримaнда» Варвары Андреевны Авдотья первое время была потише, но потом приловчилась и била старуху с не меньшим усердием, но тайно и запирала в избе, пока синяки не сходили. Била за все — за разбитую по слепоте чашку, за то, что обмочилась, что дверь не прикрыла. В этом-то исходила некая сила, гнездившаяся в поджаром Авдотьином теле, та сила, что гнала за десятки верст по снегам за аршинчиком ситца, краюшкою хлеба для той же «стервы». Она и сражалась, носилась, выклянчивала — в этом кипении жизнь.

И вот наступило время, когда предназначено было бабке отдохнуть от войны и боя. Авдотья в то время рыскала далеко. Мишка же с любопытством и в одиночестве слушал, как бабка стонала, охала, смешно икала. Пользуясь тем, что нет матери, Мишка босой

вылетал из молочной, с криком победы, марш-марш проносился взад-вперед по дороге. Это казалось ему смелым, прекрасным.

Когда в последний раз он вскочил в избу, бабка уже не икала. Мишка потрогал ее за рукав, она не шевелилась. Он испугался, побежал «к барыне».

На другой день с утра Авдотья заявилась к Варваре Андреевне.

— Барыня, дозвольте ту сосенку-то, во-о, над прудом, мужичкам срезать, там аккурат моей гроб выйдет — ох уж долгая же уродилась, прости Господи...

Авдотья была сумрачна и озабочена и опять недовольна — да и правда, выросла же бабка такая «долгая», чуть ли не полсосны под гроб... Да еще захотят ли «мужички», а за попом... Ах, жизнь каторжная!

— Да-а,— говорил под вечер Лев Головин, со всегдашней медленностью и грустью, плотнику Григорию Мягкому, который пилил с Кузькой доски на гроб.— Вот и накрыла бабенка. Теперича она на нас поедет. То ей подводу дай, то дровец наруби, то вот зачнут помирать, тут и гробов не наготовишься.

— Где наготовишься,— мрачно сказал Мягкий.

— Ты погоди, вот придет весна, ты на нее напашешься. Земли ей дай, лошадь скородить дай... ты ей все дай, а она тебе знай как домовой кружить будет. Ныне тут, завтра в Аленкине, а там, смотри, до Страхова докинется...

Лев Головин вздохнул.

— И как это она тогда, точно из-под земли выскочила... Или ее ветром надуло?

Голодный поп быстро отпел бабку в нетопленой церкви. Бабка лежала в гробу мерзлая, синяки на лбу и щеке пожелтели, и все то худое, костлявое и очень длинное, что когда-то носило имя Елены и пело песни, быть может, любило — на серых суровых полотнищах сошло в глубь земли, рядом с Николаем Степанычем. Лиза бросила ей — первая — горсть земли. И Авдотья завыла: так полагалось в деревне, а может быть, не только что и полагалось...

Мишку весьма занимало, куда прячут бабку, но мешал кашель, начинавшийся с раннего утра. Мишка зяб, дрожал. Вернувшись с похорон, забился на печку, где прежде грелась бабка.

— У-у, дармоед, знай по лежанкам лазить!

Авдотья гремела посудой, скребла, терла, видно, была в сильном возбуждении, сама как будто бы не знала твердо, плакать ей или ругаться. На всякий

случай дала Мишке подзатыльника, чтобы не «лаял». А он лаял здорово, всю ночь. Авдотья даже иногда сквозь сон слышала кашель и с остервенением переворачивалась — поспать не даст, пралик! Вообще тяжело как-то и скверно было. Мерещился все холод, и поля, свист ветра, белые змеи метелей... В избе сильно дуло из окон и снизу, с полу.

На другой день Мишка не поднялся. Авдотья было разозлилась, но, увидев, что он весь горячий, кашляет и глаза мутные, не тронула. Укрыла его бабкиным тулупом, а сама пошла «к барыне» за подмогой.

— Он у тебя босиком по улице носится, вот и дождалась,— сказала строго Варвара Андреевна.— Смотри, чтоб воспаление легких не схватил.

— Да что мне, барыня милок, что мне со стервецом поделать? Я уж ему и то говорю: запорю, сукин кот, сиди дома, уши оборву...

— Нет, нет, ты, пожалуйста, потише. Здесь не кабак.

Лиза заходила к Мишке несколько раз.

— Как у них ужасно,— говорила потом матери.— Воздух... грязь, какой-то мрак, холод... Я прямо боюсь этой Авдотьи.

— Ты всегда была такая нервная. Ну а уж теперь, после смерти мужа... Авдотью бояться! Противная баба, больше ничего.

Лиза решила — правда, стыдно так бояться и не любить. Надо за нее молиться. И с этого дня стала она в одинокой своей молитве, поминая ближних и дальних, прибавлять имя Евдокии. Когда мысленно, стоя на коленях, в темноте, называла ее, казалось, что это не совсем та, Евдокия была как-то лучше, благообразней, чем Авдотья-смерть. И после, раздумывая, Лиза даже стыдилась, что назвала ее смертью. «Господи, вот святые лобызали прокаженных...» И содрогалась. Если представить себе, что надо поцеловать эти белые губы Авдотьи, костяной оскал с запахом гнили, могилы, с фосфорическим блеском глаз полуголодных... Нет, видно, она недостойна!

Мишке давали что нашлось в старой аптеке: хину, аспирин. Но он непрерывно кашлял. Метался, хрипел, и сама Авдотья вдруг стала понурой, тише мерила ходулями своими землю. Все-таки ухитрялась «добегать» к соседям, за две версты к мельнику, в Козловку к Аксюше Лапочке.

Однажды, в холодный предрождественский день, пробежавши верст шесть, в сумерки возвращалась она домой, таща за плечами, в котомке, кое-что снеди.

Привычно полаяли на нее собаки в Кочках, привычно шумели березы по канаве, окружавшей усадьбу. Странным казался лишь слабенький отблеск в окне молочной. «Не спалил бы, пралик...» И она наддала ходу. Костлявой рукою крепко двинула дверь. Мишка лежал на спине неподвижно, красные его ручки сложены крестообразно, в головах теплится свечка. И Лиза. В руках у нее Псалтырь.

Авдотья не сразу сообразила. Холодная струя ворвалась за ней, она не успела захлопнуть двери, остановилась, смотрела бессмысленно на остренький носик Мишки, на бледную Лизу с глазами во влажном блеске, и вдруг вопль, хриплый, глухой, поразил смрадный воздух — как стояла, рухнула Авдотья с палкою своей, с котомкой, к холодным ручонкам сына.

— Сокол ты мой ясный, орел золотой, дитя ненаглядное...

IV

Дитя ушло, не много вкусив в жизни. И не велик был гроб, из той же сосны, творенье тех же старческих рук Григория Мягкого. Он лег рядом с бабкою, в нескольких шагах от Николая Степаныча.

— Ну, теперь ей будет послободней,— сказал Лев Головин, возвратившись с кладбища,— двух ртов нету. Это уж куда слободнее!

Но мужичонка Кузька заметил скептически:

— Смотри, дядя Левон, она теперь бобылкой будет, вовсе нас окрутит. То ты за нее подводу в город, по весне ты на нее паши... Нет, нам не отвертеться.

Авдотья правда стала теперь посвободнее. Не было двух праликов — и никого на свете больше не было. Незачем волноваться, некого бить, не на кого жаловаться, но и не с кем дома сказать слова.

Встретив как-то Лизу, Авдотья сапнула носом:

— Вот, барыня милок, и дождалася... Враз и отчистилась...

Дома Лиза, сидя с матерью за обедом, сказала внезапно:

— Все-таки мне очень жаль Авдотью.

Варвара Андреевна повернула к ней свой тонкий профиль и взглянула темными, красивыми глазами.

— Ведь она сама того хотела. Сколько раз говорила. А старуху, в сущности, заколотила.

— Да, но все-таки...

Лиза осталась при своем.

— Ты всегда, с детства была мягкосердечна...

Разговор был разговором, канул, как и все, в пучину дней. Дни же набегали, пролетали. Мужики в Кочках хозяйничали, бабы возились с горшками и печками, Лиза учила, Варвара Андреевна наблюдала, Авдотья, как и раньше, все носилась. Казалось иной раз при виде поджарой бабы с котомкой и палкой, без устали над снегами шагающей, что и правда сам ветер несет ее...

Наступал Новый год. Ледяное встает солнце, в молочно-розовеющем дыму, с востока ветер, обжигающий как пламенем, снег на буграх блестит чешуйками, режущими глаза, нет сил смотреть, только бы укрыться, отвернуть голову в затишье поднятого воротника. Но какой скрип саней! Какая музыка шипенья, визгов, свиста!

Она иной бывает в дни метели. Тогда гудят какие-то могучие басы, и ухает, и бьет — на флигель, где ютятся Лиза с матерью, вдруг налетит целая рать бешеная, хлопнет, затрясет крышей, ахнет в трубе, смолкнет на мгновение, чтобы дать место следующей, и к утру так навьет сугроб у сеней, что не отворить двери — откапывают.

В такой день возвращалась Авдотья домой из Аленкина. Вышла сразу же после обеда. Было бело, дымно-молочно, не очень уж холодно — она зашагала своими ходулями, но через час приустала. Забрела в Выселки, к тетке Агафье, погреться, вздохнуть. Агафья дала ей даже чайку. Выпив, та вовсе воспрянула. Хоть и темнело, решила идти.

— Я тут, милок, одним духом... Рощицу пробегу, а уж там все под горку, так ветром домчит.

Рощицей, недавно вырубленной, а теперь заросшей тонкими осинками, орешником, дубками идти было сносно. Метель бесновалась по верхам, рвала, расшвыривала по всему полю бурые листики, уцелевшие на дубках, свистела в голых ветках, наметала сугробы у штабелей дров на просеке. Но в поле пощады не было. Авдотья все же резво и упрямо шагала под гору, там в двух верстах внизу Кочки. Лесок быстро исчез, и ветер как-то бил с разных сторон. Снег залеплял глаза, иной раз и дыханье захватывало. Вдруг стало по колено, следующий шаг — по пояс. Попробовала повернуть. Несколько шагов верных — снова сбилась. Туда, сюда, везде «глыбко». Помучилась, побилась, и решила взять направо, целиком, и до ложочка. А ложочек прямо к Кочкам.

Добралась до куста и обрадовалась — ну, сейчас

ложочек, и все ясно. Ухнула за кустом в овраг — так и надо, отлично. Стало как будто тише, но уж очень много снегу...

В этот же вечер, перед сном, стояла на молитве Лиза. Было темно, ревела за окном метель. Лиза клала поклоны, молилась за убитого мужа, за мать, за себя. Поминала и Мишку, и бабку. Дойдя до Евдокии, вдруг увидела: ложбинка, вся занесенная снегом, и белые вихри, и змеи, фигура высокая, изможденная, с палкой в руке, котомкою за плечами, отчаянно борется, месит в овраге снег и в белом, в таком необычном свете Мишка и бабка вдруг появляются, берут под руки, все куда-то идут... Господи, заступи и спаси!

На этот раз напрасно плакался Кузька. Гражданам деревни Кочки не было уж никаких забот и никаких хлопот с Матюшкиной вдовой Авдотьей.

Париж, 1927 г.

Преподобный Сергий Радонежский

Св. Сергий родился более шестисот лет назад, умер более пятисот. Его спокойная, чистая и святая жизнь наполнила собой почти столетие. Входя в него скромным мальчиком Варфоломеем, он ушел одной из величайших слав России.

Как святой, Сергий одинаково велик для всякого. Подвиг его всечеловечен. Но для русского в нем есть как раз и нас волнующее: глубокое созвучие народу, великая типичность — сочетание в одном рассеянных черт русских. Отсюда та особая любовь и поклонение ему в России, безмолвная канонизация в народного святого, что навряд ли выпала другому.

Сергий жил во времена татарщины. Лично его она не тронула: укрыли леса радонежские. Но он к татарщине не пребыл равнодушен. Отшельник, он спокойно, как все делал в жизни, поднял крест свой за Россию и благословил Димитрия Донского на ту битву, Куликовскую, которая для нас навсегда примет символический, таинственный оттенок. В поединке Руси с Ханом имя Сергия навсегда связано с делом созидания России.

Да, Сергий был не только созерцатель, но и делатель. Правое дело, вот как понимали его пять столетий. Все, кто бывали в Лавре, поклоняясь мощам Преподобного, всегда ощущали образ величайшего благообразия, простоты, правды, святости, покоящейся здесь. Жизнь «бесталанна» без героя. Героический дух средневековья, породивший столько святости, дал здесь блистательное свое проявление.

Автору казалось, что сейчас особенно уместен опыт — очень скромный — вновь, в меру сил, восстановить в памяти знающих и рассказать незнающим дела и жизнь великого святителя и провести читателя чрез ту особенную, горнюю страну, где он живет, откуда светит нам немеркнущей звездой.

Присмотримся же к его жизни.

Париж, 1924 г.

ВЕСНА

Детство Сергия, в доме родительском, для нас в тумане. Все же общий некий дух можно уловить из сообщений Епифания, ученика Сергия, первого его биографа[1].

По древнему преданию, имение родителей Сергия, бояр Ростовских Кирилла и Марии, находилось в окрестностях Ростова Великого, по дороге в Ярославль. Родители, «бояре знатные», по-видимому, жили просто, были люди тихие, спокойные, с крепким и серьезным складом жизни. Хотя Кирилл не раз сопровождал в Орду князей Ростовских, как доверенное, близкое лицо, однако сам жил небогато. Ни о какой роскоши, распущенности позднейшего помещика и говорить нельзя. Скорей напротив, можно думать, что домашний быт ближе к крестьянскому: мальчиком Сергия (а тогда — Варфоломея) посылали за лошадьми в поле. Значит, он умел и спутать их, и обротать. И подведя к какому-нибудь пню, ухватив за челку, вспрыгнуть, с торжеством рысцою гнать домой. Быть может, он гонял их и в ночное. И, конечно, не был барчуком.

Родителей можно представить себе людьми почтенными и справедливыми, религиозными в высокой степени. Известно, что особенно они были «страннолюбивы». Помогали бедным и охотно принимали странников. Вероятно, в чинной жизни странники — то начало ищущее, мечтательно противящееся обыденности, которое и в судьбе Варфоломея роль сыграло.

Есть колебания в годе рождения святого: 1314—1322[2]. Жизнеописатель глухо, противоречиво говорит об этом.

Как бы то ни было, известно, что 3 мая у Марии родился сын. Священник дал ему имя Варфоломея, по дню празднования этого святого.

Особенный оттенок, отличающий его, лежит на ребенке с самого раннего детства.

---

[1] Примечания помещены в конце произведения.

Семи лет Варфоломея отдали учиться грамоте, в церковную школу, вместе с братом Стефаном. Стефан учился хорошо. Варфоломею же наука не давалась. Как и позже Сергий, маленький Варфоломей очень упорен и старается, но нет успеха. Он огорчен. Учитель иногда его наказывает. Товарищи смеются и родители усовещивают. Варфоломей плачет одиноко, но вперед не двигается.

И вот, деревенская картинка, так близкая и так понятная через шестьсот лет! Забрели куда-то жеребята[3] и пропали. Отец послал Варфоломея их разыскивать. Наверно, мальчик уж не раз бродил так, по полям, в лесу, быть может, у прибрежья озера ростовского и кликал их, похлопывал бичом, волочил недоуздки. При всей любви Варфоломея к одиночеству, природе и при всей его мечтательности он, конечно, добросовестнейше исполнял всякое дело — этою чертой отмечена вся его жизнь.

Теперь он — очень удрученный неудачами — нашел не то, чего искал. Под дубом встретил «старца черноризца, саном пресвитера». Очевидно, старец его понял.

— Что тебе надо, мальчик?

Варфоломей сквозь слезы рассказал об огорчениях своих и просил молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту.

И под тем же дубом стал старец на молитву. Рядом с ним Варфоломей — через плечо недоуздки. Окончив, незнакомец вынул из-за пазухи ковчежец, взял частицу просфоры, благословил ею Варфоломея и велел съесть.

— Это дается тебе в знак благодати и для разумения Священного Писания. Отныне овладеешь грамотою лучше братьев и товарищей.

О чем они беседовали дальше, мы не знаем. Но Варфоломей пригласил старца домой. Родители приняли его хорошо, как и обычно странников. Старец позвал мальчика в молельню и велел читать псалмы. Ребенок отговаривался неумением. Но посетитель сам дал книгу, повторивши приказание.

Тогда Варфоломей начал читать, и все были поражены, как он читает хорошо.

А гостя накормили, за обедом рассказали и о знамениях над сыном. Старец снова подтвердил, что теперь Варфоломей хорошо станет понимать св. Писание и одолеет чтение. Затем прибавил: «Отрок будет некогда обителью Пресв. Троицы; он многих приведет за собой к уразумению Божественных заповедей».

С этого времени Варфоломей двинулся, читал уже

любую книгу без запинки, и Епифаний утверждает — даже обогнал товарищей.

В истории с его учением, неудачами и неожиданным, таинственным успехом видны в мальчике некоторые черты Сергия: знак скромности, смирения есть в том, что будущий святой не мог естественно обучиться грамоте. Заурядный брат его Стефан лучше читал, чем он, *его* больше наказывали, чем обыкновеннейших учеников. Хотя биограф говорит, что Варфоломей обогнал сверстников, но вся жизнь Сергия указывает, что не в способностях к наукам его сила: в этом ведь он ничего не создал. Пожалуй, даже Епифаний, человек образованный и много путешествовавший по св. местам, написавший жития свв. Сергия и Стефана Пермского, был выше его как писатель, как ученый. Но непосредственная связь, живая, с Богом, обозначилась уж очень рано у малоспособного Варфоломея. Есть люди, внешне так блестяще одаренные,— нередко истина последняя для них закрыта. Сергий, кажется, принадлежал к тем, кому обычное дается тяжко, и посредственность обгонит их — зато необычайное раскрыто целиком. Их гений в иной области.

И гений мальчика Варфоломея вел его иным путем, где менее нужна наука: уже к порогу юности отшельник, постник, инок ярко проступили. Больше всего любит он службы, церковь, чтение священных книг. И удивительно серьезен. Это уже не ребенок.

Главное же: у него является *свое*. Не потому набожен, что средн набожных живет. Он впереди других. Его ведет — призвание. Никто не принуждает к аскетизму — он становится аскетом и постится среды, пятницы, ест хлеб, пьет воду, и всегда он тихий, молчаливый, в обхождении ласковый, но с некоторой *печатью*. Одет скромно. Если же бедняка встретит, отдает последнее.

Замечательны и отношения с родными. Конечно, мать (а может, и отец) давно почувствовала в нем особенное. Но вот казалось, что он слишком изнуряется. Она его упрашивает не насиловать себя. Он возражает. Может быть, из-за его дарений тоже выходили разногласия, упреки (лишь предположение), но какое чувство меры! Сын остается именно *послушным сыном*, житие подчеркивает это, да и факты подтверждают. Находил Варфоломей гармоничность, при которой был самим собой, не извращая облика, но и не разрывая с тоже, очевидно, ясными родителями. В нем не было экстаза, как во Франциске Ассизском. Если бы он был блаженным, то на русской почве это значило б:

юродивый. Но именно юродство ему чуждо. Живя, он с жизнью, семьей, духом родного дома и *считался,* как и с ним семья считалась. Потому к нему неприменима судьба бегства и разрыва.

А внутренно, за эти годы отрочества, ранней юности, в нем накоплялось, разумеется, стремление уйти из мира низшего и среднего в мир высший, мир незамутненных созерцаний и общенья непосредственного с Богом.

Этому осуществиться надлежало уж в других местах, не там, где проходило детство.

ВЫСТУПЛЕНИЕ

Трудно вообще сказать, когда легка была жизнь человеческая. Можно ошибиться, называя светлые периоды, но в темных, кажется, погрешности не сделаешь. И без риска станешь утверждать, что век четырнадцатый, времена татарщины, ложились камнем на сердце народа.

Правда, страшные нашествия тринадцатого века прекратились. Ханы победили, властвовали. Относительная тишина. И все же: дань, баскаки, безответность и бесправность даже пред татарскими купцами, даже перед проходимцами монгольскими, не говоря уж о начальстве. И чуть что — карательная экспедиция: «егда рать Ахмулова бысть», «великая рать Туралыкова»,— а это значит: зверства, насилия, грабеж и кровь.

Но и в самой России шел процесс мучительный и трудный: «собирание земли». Не очень чистыми руками «собирали» русскую землицу Юрий и Иван (Калита) Даниловичи. Глубокая печаль истории, самооправдание насильников — «все на крови!». Понимал или нет Юрий, когда при нем в Орде месяц водили под ярмом его соперника, Михаила Тверского, что делает дело истории, или Калита, предательски губя Александра Михайловича? «Высокая политика», или просто «растили» свою вотчину московскую — во всяком случае уж не стеснялись в средствах. История *за* них. Через сто лет Москва незыблемо поднялась *над* удельною сумятицей, татар сломила и Россию создала.

А во времена Сергия картина получалась, например, такая: Иван Данилыч выдает двух дочерей — одну за Василия Ярославского, другую — за Константина Ростовского,— и вот и Ярославль, и Ростов подпадают Москве. «Горько тогда стало городу Ростову, и особен-

но князьям его. У них отнята была всякая власть и имение, вся же честь их и слава потянули к Москве».

В Ростов, воеводою, прибыл некий Василий Кочева, «и с ним другой, по имени Мина». Москвичи ни перед чем не останавливались. «Они стали действовать полновластно, притесняя жителей, так что многие ростовцы принуждены были отдавать москвичам свои имущества поневоле, за что получали только оскорбления и побои и доходили до крайней нищеты. Трудно и пересказать все, что потерпели они: дерзость московских воевод дошла до того, что они повесили вниз головою ростовского градоначальника, престарелого боярина Аверкия... и оставили на поругание. Так поступали они не только в Ростове, но по всем волостям и селам его. Народ роптал, волновался и жаловался. Говорили... что Москва тиранствует».

Итак, разоряли и чужие, и свои. Родители Варфоломея, видимо, попали под двойное действие, и если Кирилл тратился на поездки в Орду с князем (а к поездкам относились так, что, уезжая, оставляли дома завещания), если страдал от «Туралыковой великой рати», то, конечно, Мины и Кочевы тоже были хороши. На старости Кирилл был вовсе разорсн и лишь о том мечтал, куда бы выйти из Ростовской области.

Он вышел поселенцем в село Радонеж, в 12 вер. от Троице-Сергиевой Лавры[4]. Село Радонежское досталось сыну Калиты, Андрею, а за малолетством его Калита поставил там наместником Терентия Ртища. Желая заселить дикий и лесистый край, Терентий дал переселенцам из других княжеств льготы, что и привлекло многих. (Епифаний упоминает густые имена ростовцев: Протасий Тысяцкий, Иоанн Тормасов, Дюденя и Онисим, и др.)

Кирилл получил в Радонеже поместье, но сам служить уже не мог, по старости. Его замещал сын Стефан, женившийся еще в Ростове. Младший сын Кирилла Петр тоже женился. Варфоломей продолжал прежнюю жизнь, лишь настоятельней просился в монастырь. Если всегда его душа была отмечена особенным влечением к молитве, Богу и уединению, то можно думать, что и горестный вид жизни, ее насилия, неправды и свирепость лишь сильнее укрепляли его в мысли об уходе к иночеству. Возможно, что задумчивый Варфоломей, стремясь уйти, и чувствовал, что начинает дело крупное. Но представлял ли ясно, что задуманный им подвиг не одной его души касается? Что, уходя к медведям Радонежским, он приобретает некую опору для воздействия на жалкий и корыстный

мир? Что, от него отказываясь, начинает длительную, многолетнюю работу просветления, облагораживанья мира этого? Пожалуй, вряд ли. Слишком был он скромен, слишком погружен в общенье с Богом.

В самой истории ухода снова ярко проявился ровный и спокойный дух Варфоломея.

Отец просил его не торопиться.

— Мы стали стары, немощны; послужить нам некому; у братьев твоих немало заботы о своих семьях. Мы радуемся, что ты стараешься угодить Господу. Но твоя благая часть не отнимется, только послужи нам немного, пока Бог возьмет нас отсюда; вот, проводи нас в могилу, и тогда никто не возбранит тебе.

Варфоломей *послушался*. Св. Франциск ушел, конечно бы, отряхнул прах от всего житейского, в светлом экстазе ринулся бы в слезы и молитвы подвига. Варфоломей сдержался. Выжидал.

Как поступил бы он, если бы *надолго* затянулось это положение? Наверное, не остался бы. Но, несомненно, как-нибудь с достоинством устроил бы родителей и удалился бы без бунта. Его тип иной. А отвечая типу, складывалась и судьба, естественно и просто, без напора, без болезненности: родители сами ушли в монастырь (Хотьковский, в трех верстах от Радонежа; он состоял из мужской части и женской)[5]. У Стефана умерла жена, он тоже принял монашество, в том же Хотькове. А затем умерли родители. Варфоломей мог свободно осуществить замысел.

Он так и сделал. Верно, все-таки привязан был к семье: и в этот час, последний пребывания в миру, вспомнил о Петре, брате, имущество оставшееся завещал ему. Сам же отправился в Хотьков, к Стефану. Как будто не хотелось действовать и тут без одобренья старшего. Стефана убедил, и вместе тронулись они из Хотькова в недалекие леса.

Лесов тогда было достаточно. Стоило пожелать, и где угодно можно было ставить хижину, копать пещеру и устраиваться. Не вся земля принадлежала частным лицам. Если собиралось несколько пустынников и нужно было ставить церковь, прочно оседать, то спрашивали разрешенья князя и благословенье у местного святителя. Освящали церковь — и обитель возникала.

Варфоломей и Стефан выбрали место в десяти верстах от Хотькова. Небольшая площадь, высившаяся как маковка, позже и названная Маковицей. (Преподобный говорит о себе: «аз есмь Сергие Маковскый».) Со всех сторон Маковица окружена лесом, вековыми сос-

нами и елями. Место, поразившее величием и красотой. Летопись же утверждает, что вообще это особенный пригорок: «глаголеть же древний, видяху на том месте прежде свет, а инии огнь, а инии благоухание слышаху».

Тут братья поселились. Сложили из ветвей шалаш («прежде себе сотвориста одриную хизину и покрыста ю»), потом срубили келийку и «церквицу». Как они это делали? Знали ли плотничество? Вероятно, здесь, на Маковице, пригласив плотника со стороны, и учились рубить избы «в лапу». В точности мы этого не знаем. Но в подвижничестве Сергия дальнейшем это плотничество русское и эта «лапа» очень многознаменательна. В сосновых лесах он возрос, выучился ремеслу, через столетия сохранил облик плотника-святого, неустанного строителя сеней, церквей, келий, и в благоуханье его святости так явствен аромат сосновой стружки. Поистине преподобный Сергий мог считаться покровителем этого великорусского ремесла.

Как осторожен и неторопливо Варфоломей в выполнении давнего намеренья, так же он скромен и в вопросе с церковью. Как назовут ее? Он обращается к Стефану. Стефан вспомнил слова таинственного старца, встреченного им под дубом: церковь должна быть во имя Св. Троицы. Варфоломей принял это. Так дело его жизни, столь уравновешенно-покойное, приняло покровительство Триединства, глубочайше внутренно уравновешенной идеи христианства. Далее мы увидим, что у Сергия был культ Богоматери. Но все-таки в пустынях Радонежа не Пречистая и не Христос, а Троица вела святого.

Митрополит Феогност, к которому отправились они пешком, в Москву, благословил их и послал священников с антимисом и мощами мучеников — церковь освятили.

Братья продолжали жить на своей Маковице. Но жизнь их не совсем ладилась. Младший оказался крепче и духовней старшего. Стефану пришлось трудно. Может быть, он и вообще пошел в монахи под влиянием смерти жены. Возможно (и почти наверно) — у него характер тяжкий. Как бы то ни было, Стефан не выдержал суровой и действительно «пустынной» жизни. Ведь уединение полнейшее! Едва достать необходимейшее. Пили воду, ели хлеб, который приносил им, временами, вероятно, Петр. Даже пройти к ним нелегко — дорог да и тропинок не было.

И Стефан ушел. В Москву, в Богоявленский монастырь, где жили легче. Варфоломей же в полном одиночестве продолжал полуночный свой подвиг.

Недалеко от пустыни жил игумен-старец Митрофан[6], которого Варфоломей, по-видимому, знал и ранее. В летописи есть упоминание, что Варфоломей «на обедню призываша некоего чюжого попа суща саном или игумена старца, и веляше творити литургию». Возможно, именно игумен Митрофан и приходил к нему для этого. Однажды он попросил игумена пожить с ним в келии некоторое время. Тот остался. И тогда отшельник открыл желание свое — стать иноком. Просил о пострижении.

Игумен Митрофан 7-го окт. постриг юношу[7]. В этот день Церковь празднует свв. Сергия и Вакха, и Варфоломей в монашестве стал Сергием — воспринял имя, под которым перешел в Историю.

Совершив обряд пострижения, Митрофан приобщил Сергия св. Таин. Затем остался на неделю в келии. Каждый день совершал литургию, Сергий же семь дней не выходя провел в «церквице» своей, молился, ничего не «вкушал», кроме просфоры, которую давал Митрофан. Всегда такой трудолюбивый, теперь Сергий, чтобы не развлечься, прекратил всякое «поделие». С уст его не сходили псалмы и песни духовные. А когда пришло время Митрофану уходить, просил его благословения на жизнь пустынную.

— Ты уже уходишь и оставляешь меня одиноким. Давно я желал уединиться и всегда просил о том Господа, вспоминая слова Пророка: се удалихся бегая, и водворихся в пустыне. Благослови же меня, смиренного, и помолись о моем уединении.

Игумен поддержал его и успокоил, сколько мог. И молодой монах один остался среди сумрачных своих лесов.

Можно думать, что это — труднейшее для него время. Тысячелетний опыт монашества установил, что тяжелее всего, внутренно, первые месяцы пустынника. Не легко усваивается аскетизм. Существует целая наука духовного самовоспитания, стратегия борьбы за *организованность* человеческой души, за выведение ее из пестроты и суетности в строгий канон. Аскетический подвиг — выглаживание, выпрямление души к единой вертикали. В таком облике она легчайше и любовнейше соединяется с Первоначалом, ток божественного беспрепятственней бежит по ней. Говорят о теплопроводности физических тел. Почему не назвать духопроводностью то качество души, которое дает ощущать Бога, связывает с Ним. Кроме избранничества, благодати,

здесь культура, дисциплина. Видимо, даже натуры, как у Сергия, ранее подготовленные, не так скоро входят в русло и испытывают потрясения глубокие. Их называют искушениями.

Если человек так остро напрягается вверх, так подчиняет пестроту свою линии Бога, он подвержен и отливам, и упадку, утомлению. Бог есть сила, дьявол — слабость. Бог — выпуклое, дьявол — вогнутое. У аскетов, не нашедших еще меры, за высокими подъемами идут падения, тоска, отчаяние. Ослабшее воображение впадает в вогнутость. Простое, жизненно-приятное кажется обольстительным. Духовный идеал — недостижимым. Борьба безнадежной. Мир, богатство, слава, женщина... и для усталого миражи возникают.

Отшельники прошли через это все. Св. Василий Великий, вождь монашества, оставил наставление пустынникам в борьбе со слабостями. Это — непрерывное тренированье духа,— чтение слова Божия и житий святых, ежевечернее размышление о своих мыслях и желаниях за день (examen de conscience католиков), мысли о смерти, пост, молитва, воспитание в себе чувства, что Бог непрерывно за тобою смотрит, и т. д.

Св. Сергий знал и пользовался наставлениями кесарийского епископа, но все же подвергался страшным и мучительным видениям. Жизнеописатель говорит об этом. Возникали пред ним образы зверей и мерзких гадов. Бросались на него со свистом, скрежетом зубов. Однажды ночью, по рассказу Преподобного, когда в «церковце» своей он «пел утреню», чрез стену вдруг вошел сам сатана, с ним целый «полк бесовский». Бесы были все в остроконечных шапках, на манер литовцев[8]. Они гнали его прочь, грозили, наступали. Он молился. («Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его».) Бесы исчезли.

В другой раз келия наполнилась змеями — даже пол они закрыли. Снаружи раздался шум, и «бесовские полчища» как будто пронеслись по лесу. Он услышал крики: «Уходи же, прочь! Зачем пришел ты в эту глушь лесную, что хочешь найти тут? Нет, не надейся долее здесь жить: тебе и часа тут не провести; видишь, место пустое и непроходимое; как не боишься умереть здесь с голоду или погибнуть от рук душегубцев-разбойников?»

Видимо, более всего подвергался Сергий искушению страхом, на древнем, мило-наивном языке: «страхованием». Будто слабость, куда он впадал, брошенный братом, была: сомнение и неуверенность, чувство тоски и одиночества. Выдержит ли в грозном лесу, в убогой келии? Страшны, наверно, были осени и зимние метели

на его Маковице! Ведь Стефан не выдержал же. Но не таков Сергий. Он упорен, терпелив, и он «боголюбив». Прохладный и прозрачный дух. И с ним Божественная помощь, как отзыв на тяготенье. Он одолевает.

Другие искушения пустынников как будто миновали его вовсе. Св. Антоний в Фиваиде мучился томленьем сладострастия, соблазном «яств и питий». Александрия, роскошь, зной Египта и кровь юга мало общего имеют с Фиваидой северной. Сергий был всегда умерен, прост и сдержан, не видал роскоши, распущенности, «прелести мира». Святитель-плотник радонежский огражден от многого — суровою своей страной и чинным детством. Надо думать, что вообще пустынный искус был для него легче, чем давался он другим. Быть может, защищало и природное спокойствие, ненадломленность, неэкстатичность. В нем решительно ничего нет болезненного. Полный дух Св. Троицы вел его суховатым, одиноко-чистым путем среди благоухания сосен и елей Радонежа.

Так прожил он, в полном одиночестве, некоторое время. Епифаний не ручается за точность. Просто и прелестно говорит он: «пребывшу ему в пустыни единому единствовавшу или две лете, или боле или меньши, Бог весть». Внешних событий никаких. Духовный рост и созревание, новый закал пред новою, не менее святой, но усложненной жизнью главы монастыря и дальше — старца, к голосу которого будет прислушиваться Русь. Быть может, посещенья редкие и литургии в «церквице». Молитвы, труд над грядкою капусты и жизнь леса вокруг: он не проповедовал, как Франциск, птицам и не обращал волка из Губбио, но, по Никоновской летописи, был у него друг лесной. Сергий увидел раз у келии огромного медведя, слабого от голода. И пожалел. Принес из келии краюшку хлеба, подал — с детских ведь лет был, как родители, «страноприимен». Мохнатый странник мирно съел. Потом стал навещать его. Сергий подавал всегда. И медведь сделался ручным.

Но сколь ни одинок был Преподобный в это время, слухи о его пустынничестве шли. И вот стали являться люди, прося взять к себе, спасаться вместе. Сергий отговаривал. Указывал на трудность жизни, на лишения, с ней связанные. Жив еще был для него пример Стефана. Все-таки — уступил. И принял нескольких: немолодого, с верховьев реки Дубны Василия Сухого. Земледельца Якова, братия называла его Якута; он служил вроде рассыльного. Впрочем, посылали его редко, в крайности: старались обходиться во всем сами.

Упоминаются еще: Онисим, дьякон, и Елисей, отец и сын, земляки Сергия, из Ростовской земли. Сильвестр Обнорский, Мефодий Пешношский, Андроник.

Построили двенадцать келий. Обнесли их тыном для защиты от зверей. Онисима, чья келья находилась у ворот, Сергий поставил *вратарем*. Келии стояли под огромными соснами, елями. Торчали пни только что срубленных деревьев. Между ними разводила братия свой скромный огород.

Жили тихо и сурово. Сергий подавал во всем пример. Сам рубил келии, таскал бревна, носил воду в двух водоносах в гору, молол ручными жерновами, пек хлебы, варил пищу, кроил и шил одежду, обувь, был, по Епифанию, для всех «как купленый раб». И наверно, плотничал теперь уже отлично. Летом и зимой ходил в той же одежде, ни мороз его не брал, ни зной. Телесно, несмотря на скудную пищу (хлеб и вода), был очень крепок, «имел силу противу двух человек».

Был первым и на службах. Службы начинались в полночь (полунощница), затем шли утреня, третий, шестой и девятый час. Вечером — вечерня. В промежутках частые «молебные пения» и молитва в келиях, работы в огородах, шитье одежды, переписыванье книг и даже иконописание. Литургию служить приглашали священника из соседнего села, приходил и Митрофан, постригший в свое время Сергия. Позже он тоже вошел в состав братии — был первым игуменом. Но прожил недолго, вскоре умер.

Так из уединенного пустынника, молитвенника, созерцателя вырастал в Сергии и деятель. Игуменом он еще не был и священства не имел. Но это уже настоятель малой общины, апостольской по числу келий, апостольской по духу первохристианской простоты и бедности и по роли исторической, какую надлежало ей сыграть в распространении монашества.

ИГУМЕН

Так шли годы. Община жила неоспоримо под началом Сергия. Он вел линию ясную, хоть и не так суровую и менее формалистическую, чем, напр., Феодосий Киево-Печерский, ставивший подчинение себе основой. Феодосий требовал точнейшего исполнения приказаний. Но Феодосий, не снимавший власяницы, выставлявший себя на съеденье комарам и мошкам, был и в аскетическом подвиге страстнее — это опять иной облик. Жизненное же и устроительное дело

Сергия делалось почти *само собой*, без видимого напора. Иногда же, как в истории с игуменством, как будто даже против его воли.

Монастырь рос, сложнел и должен был оформиться. Братия желала, чтобы Сергий стал игуменом. А он отказывался.

— Желание игуменства,— говорил,— есть начало и корень властолюбия.

Но братия настаивала. Несколько раз «приступали» к нему старцы, уговаривали, убеждали. Сергий сам ведь основал пустынь, сам построил церковь; кому же и быть игуменом, совершать литургию.

(До сих пор приходилось приглашать священника со стороны. А в древних монастырях обычно игумен был и священником.)

Настояния переходили чуть не в угрозы: братия заявляла, что, если не будет игумена, все разойдутся. Тогда Сергий, проводя обычное свое чувство меры, уступил, но тоже относительно.

— Желаю,— сказал,— лучше учиться, нежели учить; лучше повиноваться, нежели начальствовать; но боюсь суда Божия; не знаю, что угодно Богу; святая воля Господа да будет!

И он решил не прекословить — перенести дело на усмотрение церковной власти.

Митрополита Алексия в то время не было в Москве. Сергий с двумя старейшими из братии пешком отправился к его заместителю, епископу Афанасию, в Переяславль-Залесский[9].

Явился он к святителю рано утром, перед литургией, пал на колена и просил благословения. В век, когда святые ходили пешком и когда к Лавре вряд ли и проезжая была дорога, когда к епископу, наверно, обращались без доклада, мало удивляет, что епископ спросил скромного монаха, запыленного, в грязи, кто он.

Все же имя Сергия было ему известно. Он без колебаний *повелел* принять игуменство. Сергий уж не мог отказываться. Все произошло просто, в духе того времени. Афанасий со своими священнослужителями тотчас пошел в церковь, облачился, велел Сергию вслух произнести Символ веры и, осенив крестом, поставил в иподиакона. За Литургией Сергий был возведен в иеродиакона. Священство получил на другой день. И еще на следующий — сам служил Литургию, первый раз в жизни. Когда она окончилась, епископ Афанасий произнес над ним молитвы, полагающие во игумена. Затем, после беседы в келии, отпустил.

И Сергий возвратился, с ясным поручением от Церкви — воспитывать, вести пустынную свою семью. Он этим занялся. Но собственную жизнь, в игуменстве, не изменил нисколько: так же продолжал быть «купленым рабом» для братии. Сам свечи скатывал, варил кутью, готовил просфоры, размалывал для них пшеницу.

В пятидесятых годах к нему пришел архимандрит Симон из Смоленской области, прослышав о его святой жизни. Симон — первый принес в монастырь и средства. Они позволили построить новую, более обширную, церковь Св. Троицы.

С этих пор стало расти число послушников. Келии принялись ставить в некотором порядке. Деятельность Сергия ширилась. Был введен богослужебный устав Феодора Студита, тот же, что и некогда в Киево-Печерской Лавре.

Сергий постригал не сразу. Наблюдал, изучал пристально душевное развитие прибывшего. «Прикажет,— говорит Епифаний,— одеть пришельца в длинную свитку из грубого, черного сукна и велит проходить какое-нибудь послушание, вместе с прочими братиями, пока тот не навыкнет всему уставу монастырскому; потом облечет его в одежду монашескую; и только после испытания пострижет уже в мантию и даст клобук. А когда видел, что который-либо инок опытен уже в духовном подвиге, того удостоивал и св. схимы».

Несмотря на постройку новой церкви, на увеличение числа монахов, монастырь все строг и беден. Тип его еще — «особножитный». Каждый существует собственными силами, нет общей трапезы, кладовых, амбаров. Несомненно, кое-что из собственности появилось — напр., у арх. Симона, у Пересвета и др. До времени Сергий не запрещал этого. Но за духовной жизнью братии наблюдал пристально и вел ее. Во-первых, был духовником — ему исповедовались. Он определял меру послушания сообразно силам и способностям каждого. Это — внутреннее его общение. Но следил и за внешней дисциплиной. Было положено, что у себя в келии инок проводит время или за молитвой, или за размышлением о своих грехах, проверкой поведения, или за чтением св. книг, переписыванием их, иконописью — но никак не в разговорах.

По вечерам, иногда даже ночью, окончив свои молитвы, Преподобный обходил келии и заглядывал в «волоковые»[10] оконца. Если заставал монахов вместе, то стучал им палкою в окошко, а наутро звал к себе, «увещевал». Действовал спокойно и не задевая, более

всего стараясь убедить. Но иногда налагал и епитимии. Вообще же, видимо, обладал даром поддерживать благообразный и высокий дух просто обаянием облика. Вероятно, как игумен, он внушал не страх, а то чувство поклонения, внутреннего уважения, при котором тяжело сознавать себя неправым рядом с праведником.

Трудолюбие мальчика и юноши Варфоломея оставалось неизменным и в игумене. По известному завету ап. Павла, он требовал от иноков труда и запрещал им выходить за подаянием. В этом резкое отличие от св. Франциска. Блаженный из Ассизи не чувствовал под собой земли. Всю недлинную свою жизнь он летел, в светлом экстазе, *над землей*, но летел «в люди», с проповедью апостольской и Христовой, ближе всех подходя к образу самого Христа. Поэтому и не мог, в сущности, ничего на земле учредить (учредили за него другие). И труд, то трудолюбие, которое есть корень прикрепления, для него несущественны.

Напротив, Сергий не был проповедником, ни он и ни ученики его не странствовали по великорусской Умбрии с пламенною речью и с кружкою для подаяний. Пятьдесят лет он спокойно провел в глубине лесов, уча *самим собою*, «тихим деланием», но не прямым миссионерством. И в этом «делании» наряду с дисциплиною душевной огромную роль играл тот черный труд, без которого погиб бы он и сам, и монастырь его. Св. Сергий, православный глубочайшим образом, насаждал в некотором смысле западную культуру (труд, порядок, дисциплину) в радонежских лесах, а св. Франциск, родившись в стране преизбыточной культуры, как бы на нее восстал.

Итак, Сергиева обитель продолжала быть беднейшей. Часто не хватало и необходимого: вина для совершения Литургии, воска для свечей, масла лампадного, для переписывания книг, не только что пергамента, но и простой харатьи[11]. Литургию иногда откладывали. Вместо свечей — лучины. Образ северный, быт древний, но почти до нас дошедший: русская изба с лучиной с детства нам знакома и в тяжелые недавние годы вновь ожила. Но в Сергиевой пустыни при треске, копоти лучин читали, пели книги высшей святости, в окружении той *святой бедности*, что не отринул бы и сам Франциск. Книги переписывали *на берестах* — этого, конечно, уж не знал никто в Италии блаженно-светлой. В Лавре сохранились до сих пор бедные деревянные чаша и дискос, служившие при Литургии, и фелонь Преподобного — из грубой крашенины с синими крестами. Питались очень дурно. Нередко не было ни

горсти муки, ни хлеба, ни соли, не говоря уже о приправах — масле и т. п.

Следующие два рассказа изображают материальное положение монастыря и роль игумена — верно, немыслимую для Запада.

В одну из затруднительных полос Пр. Сергий, проголодав три дня, взял топор и пошел в келию к некоему Даниилу.

— Старче, я слышал, что ты хочешь пристроить себе сени к келии. Поручи мне эту работу, чтобы руки мои не были без дела.

— Правда,— отвечал Даниил,— мне бы очень хотелось построить их; у меня все уже и для работы заготовлено, и вот поджидаю плотника из деревни. А тебе как поручить это дело? Пожалуй, запросишь с меня дорого.

— Эта работа не дорого тебе обойдется,— сказал ему Сергий,— мне вот хочется гнилого хлеба, а он у тебя есть; больше этого с тебя не потребую. Разве ты не знаешь, что я умею работать не хуже плотника? Зачем же тебе звать другого плотника?

Тогда Даниил вынес ему решето с кусками гнилого хлеба («*изнесе ему решето хлебов гнилых посмагов*»)[12], которого сам не мог есть, и сказал: вот, если хочешь, возьми все, что тут есть, а больше не взыщи.

— Хорошо, этого довольно для меня; побереги же до девятого часа: я не беру платы прежде работы.

И, крепко подтянув себя поясом, принялся за работу. До позднего вечера пилил, тесал, долбил столбы и окончил постройку. Старец Даниил снова вынес ему гнилые куски хлеба как условленную плату за труд целого дня. Только тогда Сергий поел.

Итак, игумен, духовник и водитель душ в личном своем деле оказывается последним, чуть что действительно не «купленым рабом». Старец Даниил начинает с того, что опасается, как бы Пр. Сергий не «взял слишком дорого». Почему он решил, что Сергий возьмет дорого? Почему допустил, чтобы *игумен* трудился на него целый день? Почему просто не поделился своим хлебом? (Даже не «поделился»: сказано, что сам он этого хлеба не мог есть.) Не указывает ли это, что сквозь воспитание и воздействие Преподобного в отдельных иноках прорывалось самое обычное, житейское, до черствости и расчета? Старец, приходивший к Сергию на исповедь, за душой и благочестием которого тот следит, считает правильным заплатить ему за труд целого дня негодным хлебом — плотник из села к нему и не притронулся бы. А Сергий, очевидно, выделяет

деятельность духовную, водительную, от житейских отношений. Скромность — качество его всегдашнее. Здесь блистательное проявление его.

Другой рассказ связан тоже с бедностью монастыря, силою веры, терпением, сдержанностью самого Сергия рядом с большей слабостью некоторых из братии.

В один из приступов нужды в обители нашлись недовольные. Поголодали два дня — зароптали.

— Вот,— сказал Преподобному инок от лица всех,— мы смотрели на тебя и слушались, а теперь приходится умирать с голоду, потому что ты запрещаешь нам выходить в мир просить милостыни. Потерпим еще сутки, а завтра все уйдем отсюда и больше не возвратимся: мы не в силах выносить такую скудость, столь гнилые хлебы.

Сергий обратился к братии с увещанием. Но не успел он его кончить, как послышался стук в монастырские ворота; привратник увидел в окошечко, что привезли много хлеба. Он сам был очень голоден, но все же побежал к Сергию.

— Отче, привезли много хлебов, благослови принять. Вот, по твоим святым молитвам, они у ворот.

Сергий благословил, и в монастырские ворота въехало несколько повозок, нагруженных испеченным хлебом, рыбою и разной снедью. Сергий порадовался, сказал:

— Ну вот, вы алчущие, накормите кормильцев наших, позовите их разделить с нами общую трапезу.

Приказал ударить в било, всем идти в церковь, отслужить благодарственный молебен. И лишь после молебна благословил сесть за трапезу. Хлебы оказались теплы, мягки, точно только что из печки.

— Где же тот брат, что роптал на заплесневевшие хлебы? — спросил Преподобный за трапезою.— Пусть войдет и попробует, какую пищу послал нам Господь.

Спросил и о том, где же привезшие. Ему ответили: по словам возчиков, это — дар неизвестного жертвователя. А возчики должны ехать дальше, не имеют времени остаться. И они уже уехали.

Случай с хлебами, прибывшими так вовремя, остался в памяти у братии и перешел в житие как проявление Промысла, поддержавшего Преподобного в тяжелую минуту. Нас же он подводит уж вплотную к чудесам его.

СВ. СЕРГИЙ
ЧУДОТВОРЕЦ И НАСТАВНИК

Можно рассуждать так: Бог тем более поддерживает, окрыляет и заступается за человека, чем больше устремлен к нему человек, любит, чтит и пламенеет, чем выше его духопроводность. Ощущать действие этого Промысла может и просто верующий, не святой. Чудо же, нарушение «естественного порядка» (внешней, тонкой пленки, где все совершается по правилам и под которой, глубже, кипит царство сил духовных) — чудо «просто смертному» не дано (как не дано ему и истинных видений). Чудо есть праздник, зажигающий будни, ответ на любовь. Чудо — победа сверхалгебры, сверхгеометрии над алгеброй и геометрией школы. Вхождение чудесного в будни наши не говорит о том, что законы буден ложны. Они лишь — не единственны. То, что называем мы «чудесным» — совершенно «естественно» для мира высшего, чудесно же лишь для нас, живущих в буднях и считающих, что, кроме буден, ничего и нет. Для моллюска чудом было бы услышать музыку Бетховена, для человека в некотором смысле чудо — капелька воды под микроскопом (простым глазом не видно!), видение будущего и физически невидимого, и, главное чудо, наименее приемлемое — мгновенная *отмена* нашего *маленького* закона: воскресение по смерти. Это, конечно, величайшая буря любви, врывающаяся *оттуда*, на призыв любовный, что идет *отсюда*.

Даже Преп. Сергий, в ранней полосе подвижничества, не имел видений, не творил чудес. Лишь долгий, трудный путь самовоспитания, аскезы, самопросветления приводит его к чудесам и к тем светлым видениям, которыми озарена зрелость. (Замечательно, что пугающих видений, ужаса, потрясавшего юные годы отшельничества,— нет в старости Сергия, когда дух его приобрел абсолютную гармоничность и просветленность.) В этом отношении, как и в других, жизнь Сергия дает образ постепенного, ясного, внутренно-здорового движения. Это непрерывное, недраматическое восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг почувствовавшего себя Павлом,— не его путь.

Спокойно, внутренно дозрев, он совершает чудо с источником. Оно связано с обычными, житейскими делами. Пока Преподобный жил один на своей Маковице, вопрос о воде не смущал его. Был ли около монастыря маленький родник, недостаточный для мно-

гих? Или родник *вообще* был не так близко и, не смущая Сергия, вызывал недовольство братии — неизвестно. Во всяком случае, появились разговоры, что носить воду трудно.

Тогда Сергий, взяв одного из иноков, спустился вниз от обители и, найдя небольшую лужу дождевой воды, стал пред ней на молитву. Он молился, чтобы Господь дал им воду, как некогда послал ее по молитве Моисея. Осенил место крестным знамением, и оттуда забил ключ, образовав ручей, который братия назвала было *Сергиевой рекой.* Но он запретил называть его так[13].

Второе чудо Сергия относилось к ребенку. В это время многие уже знали о нем как о святом и приходили с поклонением и за советами, а главное, со своими бедами. Епифаний рассказывает, как один человек принес ему тяжелобольного своего ребенка. Пока он просил Сергия помолиться за него и пока Преподобный готовился к молитве, ребенок умер. Отец впал в отчаяние. Стал даже укорять Сергия: лучше бы уж ребенок умер дома, а не в келии святого: по крайней мере, вера не убавилась бы.

И отец вышел, чтобы приготовить гробик. А когда вернулся, Сергий встретил его словами:

— Напрасно ты так и смутился. Отрок вовсе и не умирал.

Ребенок был теперь действительно жив. Отец пал к ногам Сергия. Но тот стал успокаивать его и даже убеждать, что дитя просто было в сильном припадке, а теперь обогрелось и отошло. Отец горячо благодарил Преподобного за его молитвы. Но тот запретил ему разглашать о чуде. Узналось же это впоследствии, утверждает бл. Епифаний, от келейника Пр. Сергия. Его рассказ и приводит Епифаний.

Он передает еще о тяжелобольном, который три недели не мог спать и есть и которого исцелил св. Сергий, окропив святой водой. О знатном вельможе, бесноватом, привезенном с берегов Волги, куда уже проникла слава Сергия как чудотворца. Вельможу повезли насильно. Он слышать не хотел о Сергии, бился, рвался, пришлось сковать его цепями.

Уже перед самою обителью он в ярости разорвал цепи. Крик слышали в монастыре. Сергий велел ударить в било и братии собираться в церковь. Начался молебен — о выздоровлении. Понемногу он стал успокаиваться. Наконец Преподобный вышел к нему с крестом. Лишь только осенил его, тот с воплем бросился в лужу: «Горю, горю страшным пламенем!»

И выздоровел. Позже, когда рассудок вернулся к нему, его спросили, почему он бросился в воду. Он ответил, что увидел «великий пламень», исходивший от Креста и объявший его. Он и хотел укрыться в воде.

Такие исцеления, и облегчения, и чудеса широко разносили славу Сергия. К нему, как мудрецу и святому, шли люди разных положений — от князей и до крестьян. Пусть рос и богател монастырь, Сергий оставался тем же простым с виду «старичком», кротким и покойным утешителем, наставником, иногда судьей.

Житие приводит два случая, когда чрез Сергия как бы действовали и силы карающие.

Вблизи монастыря богатый отобрал у бедного свинью. Потерпевший пожаловался Сергию. Тот вызвал обидчика и долго убеждал — возвратить взятое. Богатый обещал. Но дома пожалел и решил не отдавать. Была зима. Свинью он только что зарезал, она лежала у него в клети. Заглянув, он видит, что вся туша уж изъедена червями.

Другой рассказ — о внезапной слепоте греческого епископа, сомневавшегося в святости Сергия,— слепоте, поразившей его, как только он подошел к Преподобному в ограде монастыря. Сергий должен был за руку ввести его к себе в келию. Там он признался в своем неверии и просил заступничества. Сергий, помолившись, исцелил его.

Вероятно, таких «посетителей» и «просителей заступничества» было много. Несомненно, очень многие приходили просто за советами, каялись в делах, томивших душу: обо всем не может же сказать Епифаний. Он передает о наиболее запомнившемся.

Вообще в живой душе крепко сидит стремленье к очищению и «направлению». На наших глазах совершались бесконечные паломничества в Оптину — от Гоголя, Толстого, Соловьева, со сложнейшими запросами души, до баб — выдавать ли замуж дочку да как лучше прожить с мужем. А в революцию и к простым священникам приходили каяться красноармейцы — и в кощунствах, и в убийствах.

С половины жизни Сергий выдвинулся на пост всенародного учителя, заступника и ободрителя. В его времена «старчества» еще ие было. «Старцы» в православии явились поздно, в XVIII веке, с Паисием Величковским. Но самый тип «учительного старца» древен, он идет из греческих монастырей, и у нас в XV веке известен, например, учительный старец Филофей Псковский.

В позднейших монастырях старцы выделились в

особый разряд — созерцательных мудрецов, хранящих традицию истинного православия, мало прикасающихся к монастырской жизни.

Сергий был и игуменом, и, как увидим,— даже и общественным и политическим деятелем. Но может считаться и основоположником старчества.

ОБЩЕЖИТИЕ И ТЕРНИИ

Не совсем ясно, были ли, при жизни Сергия, у обители его жалованные села. Скорее — нет. Считается, что запрета *принимать* даренья он не делал. Запрещал *просить*. На крайней же, францисканской точке (ее не выдержали сами францисканцы), видимо, и не стоял. Непримиримые решения вообще не в его духе. Быть может, он смотрел, что «Бог дает», значит, надо брать, как принял он и повозки с хлебом, рыбою от неизвестного жертвователя. Во всяком случае, известно, что незадолго до смерти Преподобного один галичский боярин подарил монастырю половину варницы и половину соляного колодезя у Соли Галицкой (нынешний Солигалич).

Монастырь не нуждался уже теперь, как прежде. А Сергий был все так же прост — беден, нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой смерти. Ни власть, ни разные «отличия» его вообще не занимали. Но этого он не подчеркивал. Как удивительно естественно и незаметно все в нем! Отделяют пятьсот лет. О, если бы его увидеть, слышать. Думается, он ничем бы сразу и не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника великорусского. Такой он даже на иконе — через всю ея условность — образ невидного и обаятельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки, березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и несравнимое ни с чем благоухание России. Все — возведенное к предельной легкости, чистоте.

Долго прожившие с ним старцы говорили Епифанию, что никогда Преподобный не носил новой одежды, но «сермяжную ткань из простой овечьей шерсти, да притом ветхую, которую, как негодную, другие отказывались носить». Чаще всего шил сам одежду. «Однажды не случилось хорошего сукна в его обители; была одна лишь половинка, гнилая, какая-то пестрая («пелесоватая») и плохо сотканная. Никто из братии не хотел ею пользоваться: один передавал другому, и так

обошла она до семи человек. Но Пр. Сергий взял ее, скроил из нее рясу и надел, не хотел уже расставаться». Через год она развалилась вовсе.

Ясно, что по виду нетрудно было принять его за последнего из монастырских послушников.

Привожу почти дословно рассказ Епифания. Он просто и ярко рисует святого в обители.

Многие приходили издали, чтобы только взглянуть на Преподобного. Пожелал видеть его и один простой земледелец. При входе в монастырскую ограду он стал спрашивать братию: где бы повидать их славного игумена? А Преподобный в это время трудился в огороде, копая заступом землю под овощи.

— Подожди немного, пока он выйдет оттуда,— отвечали иноки.

Крестьянин заглянул в огород через отверстие забора и увидел старца в заплатанной одежде, трудившегося над грядкой. Он не поверил, что этот скромный старичок и есть тот Сергий, к которому он шел. И опять стал приставать к братии, требуя, чтобы ему показали игумена.

— Я издалека пришел сюда, чтобы видеть его, у меня есть до него важное дело.

— Мы уже указали тебе игумена,— ответили иноки.— Если не веришь, спроси его самого.

Крестьянин решил подождать у калитки. Когда Пр. Сергий вышел, иноки сказали крестьянину:

— Вот он и есть, кого тебе нужно.

Посетитель отвернулся в огорчении.

— Я пришел издалека посмотреть на пророка, а вы показываете какого-то нищего! Но я не дожил еще до такого безумия, чтобы счесть этого убогого старичка за знаменитого Сергия.

Иноки обиделись. Только присутствие Преподобного помешало им выгнать его. Но Сергий сам пошел ему навстречу, поклонился до земли, поцеловал. Потом повел за трапезу. Крестьянин высказал свою печаль: не пришлось ему видеть игумена.

— Не скорби, брате,— утешил его Преподобный,— Бог так милостив к месту сему, что никто отсюда не уходит печальным. И тебе Он скоро покажет, кого ищешь.

В это время в обитель прибыл князь со свитою бояр. Преподобный встал навстречу ему. Прибывшие оттолкнули крестьянина и от князя, и от игумена. Князь до земли поклонился святому. Тот поцеловал его и благословил, потом оба они сели, а все остальные «почтительно стояли вокруг».

Крестьянин ходил среди них и все старался рассмотреть, где же Сергий. Наконец снова спросил:

— Кто же этот чернец, что сидит направо от князя?

Инок с упреком сказал ему:

— Разве ты пришлец здесь, что не знаешь Преподобного отца Сергия?

Только тогда понял он свою ошибку. И по отъезде князя бросился к ногам Сергия, прося прощения.

Разумеется, «нищий» и «убогий старичок» не был к нему суров. У Епифания приведены его слова:

— Не скорби, чадо; ты один справедливо рассудил обо мне, ведь они все ошибаются.

Есть мнение, что Епифаний даже сам наблюдал эту сцену, потому так тщательно и написал ее.

Как удивительно прост и серьезен в ней святой! Конечно, «житие» всегда иконность придает изображаемому. Но насколько можно чувствовать Сергия, чрез тьму годов и краткие сообщения, в нем вообще не было улыбки. Св. Франциск душевно улыбается — и солнцу, и цветам, и птицам, волку из Губбио. Есть улыбка — теплая и жизненная — у св. Серафима Саровского. Св. Сергий ясен, милостив, «страннолюбив», тоже благословил природу, в образе медведя близко подошедшую к нему. Он заступился перед братией и за простого человека. В нем нет грусти. Но как будто бы всегда он в сдержанной, кристально-разреженной и *прохладной* атмосфере. В нем есть некоторый север духа.

Мы видели, что *князь* приехал к Сергию. Это уж время, когда «старичка» слышно на всю Россию, когда сближается он с митр. Алексием, улаживает распри, совершает грандиозную миссию по распространению монастырей.

Между тем в собственном его монастыре не все спокойно — именно, идет борьба за и против общежития.

Исторически к нам пришло монашество *особножитное* из Греции. Антоний и Феодосий Печерские ввели *общежитие*, но позже вновь оно было вытеснено особностью, и Пр. Сергию принадлежит заслуга окончательного восстановления общежития.

Это далось ему не сразу.

Вначале монастырь на Маковице тоже был особножитный. Уже упоминалось, что до поры до времени Пр. Сергий дозволял монахам даже некоторую собственность в келиях. Но с ростом монастыря и братии это становилось неудобным. Возникала разность в положении монахов, зависть, нежелательный дух вооб-

ще. Преподобный хотел более строгого порядка, приближавшего к первохристианской общине. Все равны и все бедны одинаково. Ни у кого ничего нет. Монастырь живет общиною.

В это время Сергий, игумен, друг митрополита Алексия, уже чувствовал, что дело Лавры — дело всероссийское и мессианское. Обитель-родоначальница сама должна принять неуязвимый облик.

Житие упоминает о видении Преподобного — первом по времени — связанном именно с жизнью обители.

Однажды, поздно вечером, стоя у себя в келии, как обычно, на молитве, он услышал голос: «Сергий!» Преподобный помолился и отворил оконце келии. Дивный свет льется с неба, и в нем Сергий видит множество прекрасных, неизвестных ему раньше птиц. Тот же голос говорит:

— Сергий, ты молишься о своих духовных детях: Господь принял твою молитву. Посмотри кругом — видишь, какое множество иноков собрано тобою под твое руководство во имя Живоначальныя Троицы.

А птицы летают в свете и необычайно сладостно поют.

— Так умножится стадо учеников твоих, и после тебя они не оскудеют.

Преподобный в великой радости позвал арх. Симона, жившего в соседней келии, чтобы и ему показать. Но Симон застал лишь конец видения — часть небесного света. Об остальном Преподобный ему рассказал.

Это видение, быть может, еще больше укрепило Сергия в необходимости прочных, правильных основ — и для его монастыря, и для рождающихся новых.

Полагают, что митр. Алексий помогал, поддерживал его намерения — был *за* реформу. А в самом монастыре — многие против. Можно думать, что митр. Алексий проявил тут некоторую дипломатию: по его просьбе патриарх Кир Филофей прислал Пр. Сергию послание и подарки — крест, параманд и схиму. В грамоте ясно советовалось ввести общежитие («Но едина главизна (правило) еще не достаточествует ти: яко не общее житие стяжасте». И далее: «Потому же и аз совет благ вам даю: послушайте убо смирения нашего, яко да составите общее житие»). Такая грамота укрепляла положение Сергия как реформатора. И он ввел общежитие[14].

Не все были довольны им в монастыре. Некоторых это и связывало, и стесняло. Кое-кто даже ушел.

Деятельность Сергия нововведение расширяло и усложняло. Нужно было строить новые здания — трапезную, хлебопекарню, кладовые, амбары, вести

хозяйство и т. п. Прежде руководство его было только духовным — иноки шли к нему как духовнику, на исповедь, за поддержкой и наставлением. Теперь он как бы отвечал за самый быт монастыря.

Все способные к труду должны были трудиться. Частная собственность строго воспрещена.

Чтобы управлять усложнившейся общиной, Сергий избрал себе помощников и распределил между ними обязанности. Первым лицом после игумена считался *келарь.* Эта должность впервые учреждена в русских монастырях Пр. Феодосием Печерским. Келарь заведовал казной, благочинием и хозяйством — не только внутри монастыря. Когда появились вотчины, он ведал и их жизнью. Правил и судебные дела. Уже при Сергии, по-видимому, было собственное хлебопашество — вокруг монастыря являются пахотные поля, частью обрабатываются они монахами, частью наемными крестьянами, частью — желающими поработать на монастырь. Так что у келаря забот немало. Одним из первых келарей Лавры был преп. Никон, позже игумен.

В *духовники* назначали опытнейшего в духовной жизни. Он — исповедник братии. Савва Сторожевский, основатель монастыря под Звенигородом, был из первых духовников. Позже эту должность получил Епифаний, биограф Сергия.

За порядком в церкви наблюдал *экклезиарх.* (Исполнение церк. устава. Вначале Студийский [15], более простой, а теперь Иерусалимский, более торжественный: литургию совершали каждый день, т. к. священников было уже достаточно.) Меньшие должности: параэкклезиарх — содержал в чистоте церковь, канонарх — вел «клиросное послушание» и хранил Богослужебные книги.

Порядок жизни в келиях остался прежний: молитва и работа. Как обычно, Сергий первый подавал пример. Мы видели уже, как крестьянин застал его в огороде. Кроме того — шил обувь и одежду братии. Готовил «кануны», особый вид кутьи. Нигде не говорится, что он переписывал книги, занимался иконописью. Это подтверждает, что книжным человеком Преподобный не был никогда. Сергий — плотник, огородник, пекарь, водонос, портной и не художник, не «списатель». А в монастыре именно явились и иконописцы, и «списатели». Племянник Сергия Феодор, в юности постриженный, овладел иконописью в Лавре. И есть мнение, что искусство иконописи перенесено оттуда в Андрониев монастырь, в Москве, где жил и знаменитый Андрей Рублев.

«Списание книжное» в Лавре процветало. В ризнице осталось много книг и оплетенных в кожу рукописей того времени. Напр., Евангелие Пр. Никона, Служебник, писанный его же рукой в 1381 г., на пергаменте, «Поучения Аввы Дорофея», 1416 г., «рукою многогрешного инока Антония», «Лествица», 1411 г., «списанная рукою грубого и худого, странного, последнего во иноцех, смиренного многыми грехи Варлаама».

И многие другие, некоторые с удивительными заставками в красках и с золотом — напр., Псалтырь, писанная при игумене Никоне.

Так жили и трудились в монастыре Сергия, теперь уже прославленном, с проложенными к нему дорогами, где можно было и остановиться, и пробыть некоторое время — простым ли людям, или князю. «Странноприимство» ведь традиция давнишняя самого Преподобного, вынесенная еще из мира, от родителей. А теперь она давала повод правильно тратить избытки накоплявшиеся. Считают вероятным, что первая лаврская богадельня возникла при Сергии. Во всяком случае — он зачинатель монастырской благотворительности. А она возможна только при общежитии.

Однако — мы уже говорили — в этой чинной и спокойной общине не все шло гладко. Не все в братии были святые, как игумен Сергий. В сущности, с первых шагов «пустынной» жизни Преподобный жил именно с людьми, хотя и в облике монашеском. Ушел же некогда от него брат Стефан. Другие угрожали, что уйдут, когда он не хотел принять игуменства, когда бывало голодно в обители. Третьи ушли при введении общежития. Были недовольные и из оставшихся. Какая-то глухая борьба шла. Она и объясняет то тяжелое событие, которое произошло в монастыре.

Мы ничего не знаем ясно о «трениях» из-за общежития. Ни Епифаний, ни летопись ничего не говорят об этом — может быть, Епифаний и нарочно пропускает: легче говорить о светлом, чем о «слишком человеческом». И рассказ о происшедшем не вполне подготовлен, слишком внезапно выплывает с фона неразработанного.

Связан он опять со Стефаном.

Раз на вечерне — Пр. Сергий сам служил ее, был в алтаре — Стефан, любитель пения, стоял на клиросе. Преподобный услыхал голос брата, обращенный к канонарху.

— Кто тебе дал эту книгу?

— Игумен.

На это Стефан резко, в раздражении:

— Кто здесь игумен? Не я ли первый основал это место?

И в таком роде далее. («И ина некая изрек, их же не лепо бе».) Что именно «не лепо бе», нам неизвестно.

Дослужив службу, Преподобный не вернулся в келию. Он вышел из монастыря и пешком двинулся по пути в Кинелу, никому ни слова не сказав. Оставлял обитель, им основанную, чуть не собственноручно выстроенную, где провел столько святых лет — из-за резких слов собственного брата? Это, разумеется, не так. Мы знаем ясность и спокойствие Сергия. Поступок «нервный», вызванный внезапным, острым впечатлением, совсем не идет Сергию — не только как святому, смиренно бравшему от Даниила гнилой хлеб, но и характеру его человеческому, далекому от неожиданных, порывистых движений. Конечно, случай в церкви — лишь последняя черта. Конечно, Сергий давно чувствовал, что им недовольны некоторые, не один Стефан, за общежитие, за подвиг *трудной жизни,* куда звал он. И что *надо что-то сделать.*

С точки зрения обыденной он совершил шаг загадочный. Игумен, настоятель и «водитель душ», как будто отступил. Оставил пост. Оставил и водительство. Трудно представить на его месте, напр., Феодосия Печерского. Конечно, он *смирил* бы недовольных. Нельзя думать, чтобы и у католиков произошло подобное. Виновных наказали бы, а игумен, ставленный самим архиепископом, никак не бросил бы монастыря.

Но русский смиренный и «убогий» старичок, которого и крестьянин-то приезжий не хотел признать игуменом,— в хмурый вечер вышел с палкою из Лавры, мерил старческими, но выносливыми, плотницкими ногами к Махрищскому монастырю дебри Радонежа. Никому он не сдавался, ни пред кем не отступал. Как можем мы знать его чувства, мнения? Мы можем лишь почтительно предполагать: так сказал внутренний голос. Ничего внешнего, формального. Ясная, святая вера, что «так будет лучше». Может быть, вопреки малому разуму, но — лучше. Чище. Если зажглись страсти, кто-то мне завидует, считает, что ему надо занять место мое, то пусть уж я уйду, не соблазняю и не разжигаю. Если меня любят, то любовь свое возьмет — пусть медленно. Если Бог так мне повелевает, значит, Он уж знает — нечего раздумывать.

И вот глухая ночь застала на пути — молитва в лесу, краткий сон. Разве боялся Св. Сергий леса этого — пустынник, друг медведей? А наутро, как и некогда перед епископом в Переяславле-Залесском, забрызган-

ный и запыленный, он у врат Махрищской обители. Ее игумен-основатель, постриженник Киево-Печерской Лавры и друг Преподобного, Стефан, узнав, что Сергий посетил его, велел ударить в «било» и со всей братией вышел. Они кланяются до земли друг другу, ни один не хочет подыматься первый. Но Сергию пришлось уступить. И он встает, благословляет,— дорогой, почетный гость в монастыре.

Он остается у Стефана некоторое время. А затем, с монахом Симоном, опять пешком, опять лесами, трогается в новые края, для основания новой пустыни. Он и нашел их, на реке Киржач. Там Пр. Сергий поселился.

Но недолго пробыл в одиночестве. Разумеется, произошло смятение на Маковице. Большинство было огорчено — глубоко. Отправились за Преподобным. В Махрищском монастыре один из иноков узнал, что Сергий ушел дальше. Он вернулся в Лавру, рассказал об этом. И мало-помалу на Киржач стали пробираться преданные Сергию. Так было с ним всегда: любовь, почтение и поклонение к нему влекли. Он никого не приневоливал. Но если и хотел, не мог уйти от подлинной своей славы — чистой и духовной. Нигде в лесах один остаться он не мог, хотя всегда искал уединения, всегда отказывался властвовать и более всего молился и учил, работал.

Он взялся за топор и на Киржаче. Помогал монахам строить келии, копал колодезь, просил митр. Алексия поставить церковь — и поставил. Помогали в этом и со стороны, конечно, присылали подаяния. Ввел общежительный устав и здесь.

Но этим дело все-таки не кончилось. В Лавре не мирились с тем, что его нет. Старцы отправились к митрополиту, прося о воздействии. Может быть, и его уход изобразили не совсем точно, смягчили. Все же очевидно, что без Сергия им было неприятно. Митрополиту это тоже мало нравилось. И он отправил двух архимандритов, Павла и Геронтия, с увещанием к Сергию. Вероятно, это был полусовет, полуприказ. Возник из-за просьбы братии. Как ничего внешнего — в уходе Сергия, так же свободно, в сущности, и возвращение. Сергий пробыл на Киржаче 3—4 года. Митрополит мог бы давно силой возвратить его оттуда. Этого не случилось. Оба ждали, чтоб назрело время, разрешили жизненную трудность в духе вольности и любви. Правда, Алексий предлагал Сергию удалить недовольных общежитием. Но к этому не прибегали. Это *не* стиль Сергия. Ведь если бы он захотел, гораздо раньше мог бы сделать это,— Алексий глубоко чтил его.

Киржачский монастырь был освящен и назван Благовещенским. Митрополит прислал церковную утварь, рукоположил в «строители» ученика Сергия — Романа.

А Сергий возвратился в Лавру. Епифаний вновь подробно, как бы очевидцем, описал нам это возвращение. «Умилительно было видеть, как, одни со слезами радости, другие со слезами раскаяния, ученики бросились к ногам святого старца: одни целовали его руки, другие — ноги, третьи самую одежду его; иные, как малые дети, забегали вперед, чтобы полюбоваться на своего желанного авву, и крестились от радости; со всех сторон слышались возглашения: Слава Тебе, Боже, обо всех промышляющий! Слава Тебе, Господи, что сподобил Ты нас, осиротевших было, вновь увидеть нашего отца...» И дальше в столь же патетическом тоне.

Если тут есть след и собственного красноречия (к чему вообще склонен Епифаний), то, несомненно, возвращение святого, чистого и знаменитого игумена в обитель, им основанную, им прославленную, игумена, ни за что обиженного, не могло и не взволновать. В общем — сцену эту мы прекрасно видим.

Стефан тут не присутствовал. Был ли он в Москве, в своем монастыре Богоявленском? Неизвестно. Знаем лишь, что после смерти Сергия он снова в Лавре. От него знал Епифаний и о детстве Преподобного.

Сергий победил — просто и тихо, без насилия, как и все делал в жизни. Не напрасно слушался голоса, четыре года назад сказавшего: «Уйди». Победа пришла не так скоро. Но была полна. Действовал он тут не как начальник, как святой. И достиг высшего. Еще вознес, еще освятил облик свой, еще вознес и само православие, предпочтя внешней дисциплине — свободу и любовь.

ПР. СЕРГИЙ И ЦЕРКОВЬ

История ухода Преподобного подводит к отношениям его с церковью, его месту в православии.

Можно так вкратце определить положение церкви времен Сергия: мир в идеях, действенность в политике.

Идейных разномыслий мало. Стригольники не сильны. Раскол, жидовствующие, Иосиф Волоколамский, Никон и старообрядцы — все придет позднее. Не от кого защищаться, не на кого нападать. Но есть русские князья и есть татары, есть вообще Россия, едва держащаяся, чуть не поглощаемая. И национальная

задача — отстоять ее. Борьба за государство. Церковь вмешана в нее глубоко.

Два митрополита, оба замечательные, наполняют век: Петр и Алексий. Игумен ратский Петр, волынец родом, первый митрополит русский, основавшийся на севере — сначала во Владимире, потом в Москве. Петр первый благословил Москву. За нее, в сущности, положил всю жизнь. Это он ездит в Орду, добывает от Узбека охранительную грамоту для духовенства, непрерывно помогает Князю, закладывает с ним в 1325 г. первую каменную церковь, гордость нашего Кремля — Успенский Собор. Архангельский, с гробницами царей, монастырь Спаса на Бору (единственные каменные стены, уцелевшие с тех пор) — все нас подводит к легендарному палладиуму Москвы — св. митр. Петру, тоже «собирателю», борцу, политику, миссионеру и целителю, судье и дипломату. Петр не видал еще свободы. На своих крепких и первосвятительских плечах он вынес самые тяжелые, предрассветные времена родины. Но не погнулся, не поддался.

Митрополит Алексий — из сановного, старинного боярства города Чернигова. Отцы его и деды разделяли с князем труд по управлению и обороне государства. На кафедре митрополита всероссийского Алексий шел воинственным путем, это «ecclesia militans», преемственный советник трех князей Московских, руководитель Думы, дипломат в Орде и ублажитель ханов, суровый и высокопросвещенный пастырь, карающий, грозящий отлучением, если надо. На иконах их изображают рядом: Петр, Алексий, в белых клобуках, потемневшие от времени лица, узкие и длинные, седые бороды... Два неустанных созидателя и труженика, два «заступника» и «покровителя» Москвы.

Пр. Сергий при Петре был еще мальчиком, с Алексием он прожил много лет в согласии и дружбе. Но св. Сергий был пустынник и «молитвенник», любитель леса, тишины — его жизненный путь иной. Ему ли, с детства отошедшему от злобы мира сего, жить при дворе, в Москве, властвовать, иногда вести интриги, назначать, смещать, грозить! Нет, он послушный сын церкви, но не генерал ее. Очарованье православия — не полководец. Святой, но не хранитель догматов. Митрополит Алексий часто приезжает в его Лавру — может быть, и отдохнуть с тихим человеком — от борьбы, волнений и политики. А Сергий не имеет ни малейшей склонности к Москве. Он никуда не *ездит*, только *ходит*, но туда лишь, куда вызывают или если обстоятельства велят.

Замечателен один его вызов — митрополитом Алексием.

Алексий чувствовал себя тогда уже стареющим и слабым — размышлял, кому передать кафедру по смерти. Некогда Феогност заранее наметил и его — себе на смену. Но теперь положение сложнее: Великий Князь Димитрий очень хотел возвести в митрополиты новоспасского архимандрита Михаила (его прозвали почему-то *Митяем*). Алексий этого не одобрял. Говорил: «Митяй еще недавний монах, надобно ему запастись духовным опытом и потрудиться в монашестве».

Без одобрения патриарха он Митяя благословить не хотел. При этом один митрополит — Киприан — для Западной Руси уж был, его поставили по желанию литовских князей. После Алексия он должен был стать Всероссийским, жить в Москве. Но его не хотел Великий Князь. Митяй считался гордым и самонадеянным, Алексий, вероятно, чувствовал, что недостоин он занять кафедру св. Петра. Киприан не подходил Вел. Князю — тот хотел верного и знакомого человека. Да Киприан считался и врагом Алексия.

Зная чистоту, святость, славу Сергия, Алексий *его* выбрал.

Когда явился Сергий, то Алексий велел принести золотой «парамандный»[16] крест митрополичий, с драгоценными камнями. Отдал его Преподобному.

Но святой просто ответил:

— От юности я не был златоносцем, а в старости тем более желаю пребывать в нищете.

— Знаю,— ответил митрополит,— всегда ты жил так. Но теперь покажи послушание, прими от меня этот крест.

И сам надел его на Сергия, «как бы в знак обручения святительского сана». Объяснил, что Киприану он не может доверять, а его, Сергия, прочит на свое место. И это одобряют все, от простых людей до князя. Сначала он получит сан епископа, а затем митрополита.

Из предыдущей жизни Сергия мы знаем, что *хотел* он только уйти из родительского дома в лес и быть постриженным в монахи. Игумена Митрофана, старичка, постригавшего юношу на безвестный подвиг, он позвал некогда сам. Епископ Афанасий возводил его в игумены после великого сопротивленья. Но прославленный митрополит Алексий, его личный друг, Кремль, золотой крест в драгоценностях и сан митрополита — здесь поседелый, скромный, но и опытный уже Сергий проявил такую твердость, что сломить ее не удалось

Алексию. Он отказался наотрез. В конце беседы сказал другу и начальнику:

— Если не хочешь отгонять моей нищеты от твоей святыни, то не говори больше об этом. Не дозволяй и другим побуждать меня, невозможно найти во мне то, чего желаешь ты.

Сергий уходил уже однажды на Киржач. И теперь мог взять посох, на шестом десятке лет так же спокойно и не говоря ни слова тронуться в далекие леса. Алексий понял это. Не настаивал и отпустил. Так было лучше. Сергий лучше всякого другого знал себя, мог делать только то, к чему был призван. И, как всегда, внутреннему голосу больше всего придавал цены.

Он никогда не восставал на Церковь и глубоко почитал иерархию. Но убедил Алексия, что и для Церкви лучше, если он будет делать свое дело.

Так что свою церковную «карьеру» он пресек. Спокойно удалился от того, чего другие добивались так усердно.

И только выиграл на этом. Когда Алексий умер (1378 г.), началась десятилетняя борьба за митрополичью кафедру. Действующие лица ее: Митяй, еп. Дионисий, Киприан, арх. Пимен. Это печальные страницы церкви. Русские показывают себя здесь не лучше греков, греки в патриарших канцеляриях открыто продают митрополию. Ярче, интереснее других все же Митяй, бурный и «дерзкий» духовник Вел. Кн. Димитрия, а затем условно князем же (до утверждения патриархом) «назначенный» митрополитом. Его фигура не совсем ясна и необычна. Никонова летопись клеймит его (на митрополичьем дворе «незнаемо здея страшно некако и необычно»), другие думают, что, наоборот, арх. Михаил был человек больших талантов и пытался обновить церковь[17].

Как бы то ни было, все претенденты, грызшие друг друга, всячески старались привлечь к себе Сергия — его авторитет моральный. Сергий был против Митяя — в этом следовал Алексию и всему складу образа собственного: был ли Митяй просто великим честолюбцем или же и даровитым реформатором, во всяком случае духу Сергиевой простоты и скромности никак не отвечал. Сергий обновлял свой монастырь любовью, миром. А Митяй наказывал не только архимандритов, но и епископов. На Дионисия Суздальского кричал: «Я спорю твои скрижали». Такому нраву у монаха вряд ли Преподобный мог сочувствовать.

В борьбе Митяя с Дионисием Сергий встал на

сторону последнего: когда его арестовали, Преподобный поручился за него. Епископа освободили. Это — дело тишины и доброты святителя. Дионисий доброты не оправдал. Он тотчас же обманул («преухитрил») Вел. Князя — вновь, несмотря на обещанье не ходить,— Волгой бежал в Константинополь добиваться митрополии. Это страшно раздражило Митяя на Сергия. Он грозил разрушить его монастырь.

«Преподобный же игумен Сергий рече: молю Господа Бога моего сокрушенным сердцем, да не попустит Митяю хвалящусь разорити место сие святое и изгнати нас без вины».

Митяю ничего не удалось сделать. Неожиданно в Константинополе он умер, греки же за деньги возвели в митрополиты его спутника арх. Пимена, у которого и началась борьба с Киприаном. Роль митр. Западных Церквей Киприана во всех этих интригах тоже не из светлых. И он тоже обращался к Сергию в тяжелые минуты (когда в восьмидесятых годах его с позором, обобрав, какой-то боярин Никифор выгнал из Москвы, на жалких клячах, «в оборотех лычных», без обуви и без сорочек). Сохранилось несколько его посланий к Сергию. Он жалуется, просит помощи и утешения. Вот именно *утешить* Сергий мог. И сделал это. Тут он в своей области, и видно еще раз, как мудро и со знанием себя, своего дела и судьбы он поступил, сняв парамандный крест митрополита.

СЕРГИЙ И ГОСУДАРСТВО

Преподобный Сергий вышел в жизнь, когда татарщина уже надламывалась. Времена Батыя, разорения Владимира, Киева, битва при Сити — все далеко. Идут два процесса: разлагается Орда, крепнет молодое русское государство. Орда дробится, Русь объединяется. В Орде несколько соперников, борющихся за власть. Они друг друга режут, отлагаются, уходят, ослабляя силу целого. В России, наоборот,— восхождение. Некогда скромная *Москва* (выражение жития: *«честная кротостью»* и *«смиренная кротостью»*), катясь в истории как снежный, движущийся ком, росла, наматывая на себя соседей. Это восхожденье трудное, часто преступное. Мы знаем, как в свирепой борьбе Москвы с Тверью Юрий (брат Ив. Калиты) ведет против тверичей татар. И Калита татарами же усмирял восставшего Александра Михайловича. Попутно и свое добро растил: Углич, Галич, Белозерск

перешли к нему. Знаем, как Юрий удушил рязанского князя Константина, взятого отцом и жившего в плену. Как происками москвичей гибли в Орде князья Тверские. Вся их история полна трагедий. Шекспировским ужасом веет от старого Михаила Тверского, которому в Орде надели ярмо на шею и водили месяц, выставляя на «правеж». Потом — убили. Развязка здесь тоже шекспировская: его сын, Димитрий Грозные Очи, в той же ставке ханской убивает Юрия, убийцу своего отца,— сам погибает, а другой тверской князь, знавший, что идет в Орду на гибель, и пошедший все же? Волга не хотела пропускать его. Пока плыл он русскими землями, ветер был противный — повернулся, лишь когда Россия кончилась. В Орде князь мужественно ждал погибели. Последние три дня молился и пред самой казнью ездил все на лошади, спрашивал: «Когда ж меня убьют?»

При *поэтическом* подходе тверитяне затмевают хитрых и коварных москвичей. В них все же есть дух рыцарский, быть может, и ушкуйнический. Московские Даниловичи — лишь политики и торгаши. Но тверитяне взяли ложную линию движения — она их привела к погибели. Делу же общерусскому они вредили. А москвичи — сознательно или нет, шли *большаком* русской государственности — и себя связали с нею навсегда.

Союзницей москвичей была и Церковь. Митрополитов Петра и Алексия мы уже поминали. Для них борьба за Москву была борьбой за Русь. Петр, по преданию, предсказал Москве величие. Но жил во время безраздельной и могущественной еще Орды. Алексий уже видел проблески. А Сергию довелось благословить на первое поражение татар.

Преподобный не был никогда политиком, как не был он и «князем церкви». За простоту и чистоту ему дана судьба, далекая от политических хитросплетений. Если взглянуть на его жизнь со стороны касанья государству, чаще всего встретишь Сергия — учителя и ободрителя, миротворца. Икону, что выносят в трудные минуты и идут к ней сами.

Разумеется, не в молодые годы выступал он так. Первое упоминание — 1358 г., при Иване, сыне Калиты. Преподобный путешествует в Ростов, родной свой город, убеждает Константина Ростовского признать над собой власть Великого Князя. Но через два года Константин выхлопотал себе в Орде грамоту на самостоятельный удел — и в 1363 г. Сергий вновь идет на «богомолие к Ростовским чудотворцам» — видимо,

вновь убеждает Константина не выступать против Великого Князя. И это снова удалось ему.

В 1365 г. князь Борис Константинович Суздальский захватил у своего брата Димитрия Нижний Новгород. Димитрий признавал главенство Московского князя (Дм. Донского) и пожаловался ему на брата. Москве никак не могло нравиться, чтобы Борис устраивался в Нижнем самовольно. И распоряжением Алексия Преп. Сергий снова послан миротворцем. Но с Борисом трудно было сладить даже Сергию.

Пришлось действовать строже: он закрыл церкви в Нижнем. Димитрий двинул войско. Борис уступил. Это единственный случай, когда Сергий вынужден был наказать. По тем кровавым временам какое, в сущности, и наказанье?

В этих выступлениях Сергием руководил Алексий. Мы приближаемся к тем действиям общественным святого, которые предприняты по смерти митрополита.

Несколько слов истории. Главным предметом внутрирусской драмы в этот век была борьба Москвы и Твери. Началась она при братьях Юрии и Иване (Калите) Даниловичах, а кончилась при Димитрии, победою Москвы. Княжение Калиты, несмотря на Тверь,— первое сравнительно покойное. Удавалось отклонять татар от экзекуций. Приходилось зато раболепствовать перед ними. Политика Алексия и Димитрия впервые попыталась взять иное направление, самозаконное. Для этого надо было сломить Тверь.

Первым открытым выступлением Димитрия в самодержавном духе было возведение «каменного города Москвы», т. е. Кремля (1367 г.). Ясно, делалось это не зря. «Всех князей русских стал приводить под свою волю, а которые не повиновались его воле,— говорит летопись,— на тех начал посягать».

В это время главным «внутренним» его противником был внук Михаила Тверского, тоже князь Михаил, женатый на сестре Ольгерда Литовского, последний яркий представитель буйного трагического рода. Дважды водил он под Москву литовцев. Димитрий отсиживался в каменном Кремле. Больше того — Михаилу удалось выхлопотать себе великокняжеский ярлык, но Димитрий уж не так с Ордой считался. Приводил к присяге и владимирцев, и других, не обращал внимания ни на какие ярлыки. Переломилась психика. Проходил страх, ясным становилось, что Москва есть Русь. Петр и Алексий угадали. Михаил же делал противонациональное. Общественное мнение не за него.

И когда в 1375 г. Димитрий двинулся на «узурпато-

ра», его поддерживало все «великорусское сердце»: князья и рати суздальские, нижегородские, ростовские, смоленские и ярославские и др. Он взял Микулин, осадил Тверь, вынудил Михаила к унизительному миру и отказу от всех притязаний.

В Орде между тем выдвинулся Мамай, стал ханом. К поражению Твери спокойно отнестись Мамай не мог — слишком заносчив становился Димитрий. Мамай посылал карательные отряды на нижегородцев, новосильцев за их помощь Димитрию. В 1377 г. царевич Арапша разбил суздальско-нижегородскую рать на реке Пьяне, разграбил Нижний. В следующем — выслал мурзу Бегича против Димитрия. Но Димитрий энергичным маршем за Оку предупредил его. 11 авг., на Воже, татары в первый раз были разбиты.

Мамай решил вообще покончить с непокорным Димитрием, напомнить «времена батыевщины». Собрал всю волжскую Орду, нанял хивинцев, ясов и буртасов, сговорился с генуэзцами, литовским князем Ягелло — летом заложил свой стан в устье реки Воронежа. Поджидал Ягелло.

Время для Димитрия опасное. Митрополит Алексий уже умер. Димитрий действовал на собственный страх. В Москве вовсе не было митрополита — Михаил (Митяй) уехал к Патриарху.

Здесь и выступает снова Сергий. Т. е., сам он никуда не выступает, а к нему в обитель едет Димитрий за благословением на страшный бой.

До сих пор Сергий был тихим отшельником, плотником, скромным игуменом и воспитателем, святым. Теперь стоял пред трудным делом: благословения на кровь. Благословил бы на войну, даже национальную, Христос? И кто отправился бы за таким благословением к Франциску? Сергий не особенно ценил печальные дела земли. Самый отказ от митрополии, тягости с непослушными в монастыре — все ясно говорит, как он любил, ценил «чистое деланье», «плотничество духа», аромат стружек духовных в лесах Радонежа. Но не его стихия — крайность. Если на трагической земле идет трагическое дело, он благословит ту сторону, которую считает правой. Он не *за* войну, но раз она случилась, *за* народ и *за* Россию, православных. Как наставник и утешитель, «Параклет» России, он не может оставаться безучастным.

18 августа Димитрий с князем Серпуховским Владимиром, князьями других областей и воеводами приехал в Лавру. Вероятно, это было и торжественно, и глубоко серьезно: Русь *вправду* собралась. Москва, Владимир,

Суздаль, Серпухов, Ростов, Нижний Новгород, Белозерск, Муром, Псков с Андреем Ольгердовичем — впервые двинуты такие силы. Тронулись не зря. Все это понимали.

Начался молебен. Во время службы прибывали вестники — война и в Лавру шла,— докладывали о движении врага, предупреждали торопиться. Сергий упросил Димитрия остаться к трапезе.

Здесь он сказал ему:

— Еще не пришло время тебе самому носить венец победы с вечным сном; но многим, без числа, сотрудникам твоим плетутся венки мученические.

После трапезы Преподобный благословил князя и всю свиту, окропил св. водой. Замечательно, что летопись и тут, в минуту будто бы безнадежную, приводит слова Сергия о мире. Преподобный будто пожалел и Русь, и все это прибывшее, должно быть, молодое и блестящее «воинство». Он сказал:

— Тебе, Господин, следует заботиться и крепко стоять за своих подданных, и душу свою за них положить, и кровь свою пролить, по образу Самого Христа. Но прежде пойди к ним с правдою и покорностью, как следует по твоему положению покоряться ордынскому царю. И Писание учит, что если такие враги хотят от нас чести и славы — дадим им; если хотят золота и серебра — дадим и это; но за имя Христово, за веру православную подобает душу положить и кровь пролить. И ты, Господин, отдай им и честь, и золото, и серебро, И Бог не попустит им одолеть нас: Он вознесет тебя, видя твое смирение, и низложит их непреклонную гордыню.

Князь отвечал, что уже пробовал, и безуспешно. А теперь поздно.

— Если так,— сказал Сергий,— его ждет гибель. А тебя — помощь, милость, слава Господа.

Димитрий опустился на колени. Сергий снова осенил его крестом.

— Иди, не бойся. Бог тебе поможет.

И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».

Великий князь «прослезился». Так это или нет, теперь сказать уже трудно, а поверить следует: Димитрий шел действительно на «смертный бой». Есть величавое, с трагическим оттенком — в том, что помощниками князю Сергий дал двух монахов-схимников: Пересвета и Ослябю. Воинами были они в миру и на татар пошли без шлемов, панцирей — в образе схимы, с белыми крестами на монашеской одежде. Очевидно,

это придавало войску Димитрия священно-крестоносный облик. Вряд ли двинулись бы рыцари-монахи в мелкую войну из-за уделов.

20-го Димитрий был уже в Коломне. 26—27-го русские перешли Оку, рязанскою землею наступали к Дону. 6-го сентября его достигли. И заколебались. Ждать ли татар, переправляться ли?

Каков бы ни был Димитрий в иных положениях, здесь, перед Куликовым полем, он как будто ощущал полет свой, все вперед, неудержимо. В эти дни — он гений молодой России. Старшие, опытные воеводы предлагали: здесь повременить. Мамай силен, с ним и Литва, и князь Олег Рязанский. Димитрий, вопреки советам, перешел через Дон. Назад путь был отрезан, значит, все вперед, победа или смерть.

Сергий в эти дни тоже был в подъеме высочайшем. И вовремя послал вдогонку князю грамоту: «Иди, Господин, иди вперед, Бог и св. Троица помогут!»

8-е сентября 1380 года! Хмурый рассвет, Дон и Непрядва, Куликово поле и дух Слова о полку Игореве. Русь вышла снова в степь, мериться со зверем степи. Как все глубоко напряженно и серьезно! Перед сражением молятся. Читают «ратям» грамоту Преподобного. Над ставкой черный стяг великокняжеский с золотым образом Спасителя. Осенние туманы, медленный рассвет, хладно-серебряный. Роса, утренний холод. За Непрядвой не то стоны, не то грохот дальний. Люди умываются, подтягивают у коней подпруги, надевают чистые рубахи и в последний раз оружие свое отрагивают. Строятся. Идут на смерть. Грусть и судьба — и неизбежность. Ясно, что возврата нет.

Единоборство Куликова поля вышло из размеров исторических. Создало легенду. В ней есть и несуразное. Подробности пусть отпадут, но, разумеется, миф лучше чувствует душу события, чем чиновник исторической науки. Можно отвергать известие, что Димитрий отдал мантию великокняжескую Бренку, а сам дрался простым воином, что, раненный, был найден на опушке леса после тридцативерстного преследования. Вряд ли мы знаем, сколько войска было у Мамая, сколько у Димитрия. Но уж конечно, битва-то была особенная и с печатью рока — столкновение миров.

К полудню показались и татары. Димитрий выехал драться лично, «в первом суйме», передовой стычке. Таков обычай. Ранен не был, но доспех помяли. Тут же, по преданию, на зов татарского богатыря выскакал Пересвет, давно готовый к смерти, и, схватившись с Челибеем, поразив его, сам пал.

Началась общая битва, на гигантском по тем временам фронте в десять верст. Сергий правильно сказал: «Многим плетутся венки мученические». Их было сплетено немало.

Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в церкви. Он говорил о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные молитвы. А в конце сказал: «Мы победили».

С детства навсегда запомнился рассказ о Куликовской битве. Как прорвали «сыроядцы» русский фланг и наши стали отступать, а рядом в роще из засады наблюдали — князь Владимир Серпуховский с воеводою Боброком и запасным корпусом. Как рвался и томился князь, Боброк же сдерживал: «Погоди, пусть ветер повернет на них». Как все сильней бежали русские и били их татары, но Боброк выдержал, пока враги не обнажили тыл — тогда ударили в него. Тут начался разгром Мамая. У татар не было резервов. Дикари безудержно кинулись на Европу, и Европа вместе с воодушевлением показала и древнейше ей известный, с Аннибала, маневр охвата фланга.

Преследованье — вероятно конницей, шло целый день, до реки Красивой Мечи. Предсказанье Сергия исполнилось: Димитрий возвратился в Москву победителем и вновь посетил Преподобного. Служили вновь молебны, но и панихиды. Потери были колоссальны. Церковь не забыла убиенных. С тех пор по всей России служатся особенные панихиды, в «дмитриевские субботы», около 26-го октября, дня св. Димитрия — отголосок той великой грусти, что сопутствовала битве.

Самая победа — грандиозна, и значение ее прежде всего моральное: доказано, что *мы,* мир европейский, христианский, не рабы, а сила и самостоятельность. Народу, победившему на Куликовом поле, уже нельзя было остаться данником татарщины.

Но не быстра история. Жизнь поколения — ничто. Ни Преп. Сергий, ни Димитрий не дождались полного торжества России, оно замедлилось на годы. Они же вновь стали свидетелями ужасов: нагрянул Тохтамыш. Димитрий не успел отбить его, бежал на север. Кремль был предательски захвачен, все укрывшиеся перебиты, пригороды выжжены, монастыри Симонов, Чудов, Андрониев разграблены. Погибли Боровск, Руза и Можайск, Звенигород. Когда Димитрий, собиравший «рати» в Костроме, вернулся, от Москвы остались лишь развалины. Кремль полон трупов — за очистку заплатил он 300 руб., по рублю за 80 трупов.

Сам Преподобный с братией должен был удалиться — «и от Тохтамышева нахождения — бежа во Тферь».

Трагическая неудача стоила России новой дани, Димитрию — вновь путешествий, унижений и низкопоклонства.

Татары Тохтамыша не добрались до монастыря Сергия. Он возвратился.

Глубокой осенью 1385 г. пешком идет святой в Рязань, миротворцем к Олегу Рязанскому — давнишнему, упрямому врагу Москвы, союзнику Твери, Мамая и Ольгерда. Олег был крепкий, вероломный, закаленный в трудных временах князь типа тверитян. Вся жизнь его прошла в интригах и походах. Ему случалось бить и москвичей, терпеть и «нахождения» татар. Чтобы спасать своих рязанцев, живших на пути татарском в глубь России — унижаться, предавать. Быть может, его старость, после бурной и тяжелой жизни, была нелегка. Как бы то ни было, победил Сергий — старичок из Радонежа, семидесятилетними ногами по грязям и бездорожью русской осени отмеривший верст двести!

Вот рассказ летописи:

«Преподобный игумен Сергий, старец чудный, тихими и кроткими словесы... беседовал с ним о пользе душевной и о мире, и о любви. Князь же великий Олег преложи свирепство свое на кротость и утишись, и укротись, и умились вельми душою, устыде бо столь свята мужа, и взял с Великим Князем Дмитрием Иванычем вечный мир и любовь в род и род». Так было и на самом деле. Чтобы закрепить союз, Олег женил на дочери Димитрия своего сына.

А в жизни Преподобного это последний выход в область «государства».

Как ободритель и как миротворец, Сергий выступал всегда от Москвы, значит — и России. Подымал свой крест и свой негромкий, но правдивый голос только за дела правдивые. Меньше всего был он орудием — власти ли церковной или государственной. Бедность, старость, простота и равнодушие к успехам, вечное стоянье «пред лицом Бога», труд, молитва, созерцание делали его так же свободным, как и Феодосия Печерского, не побоявшегося назвать князя Святослава, за убийство брата, Каином. Св. Сергию не приходилось обличать. Но Радонежского отшельника, отринувшего митрополию, ясно намекавшего Алексию, что уйдет в

леса; игумена, приютившего опального Дионисия; открытого противника Митяя; святого, прежде чем благословить Димитрия, советовавшего *избежать войны*,— можно ли было Сергия *заставить* сделать что-нибудь такое, что противилось бы «гласу Божию», который шел к нему так невозбранно?

Уж конечно нет.

Князь Святослав раз погрозил Феодосию, что сошлет его. Тот ответил:

— Я этому рад. Для меня это лучшее в жизни. Нагими пришли мы в мир, нагими и выйдем из него.

Жизнь Преп. Сергия слагалась и покойней, и ясней. Никто ему не угрожал. Но, если бы пришлось, он на своем спокойном и немногословном языке нашел бы нужные слова — ответил бы не хуже Феодосия.

Но наступал уже закат. В его судьбе этого не понадобилось.

ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ

Люди борьбы, политики, войны, как Димитрий, Калита, Олег, нередко к концу жизни ощущают тягость и усталость. Утомляют жалкие дела земли. Страсти расшатывают. Грехи томят. В то время многие князья на старости и вблизи смерти принимали схиму — крепкий зов к святому, после бурно и греховно проведенной жизни.

Димитрий сгорел рано. Его княженье было трудным и во многом неудачным. Он умирал в момент удачи Тохтамыша — преждевременно надломленный всей ношей исторической. После Куликова поля он сближается теснее с Преподобным: в 1385 г. Сергий крестит его сына, в 1389-м, умирая, Димитрий пишет завещание «перед своими отцы, перед игуменом перед Сергием, перед игуменом перед Савостьяном». В этом завещании особенно подчеркивается единовластие — идея, за которую Димитрий воевал всю жизнь. Он уже считает себя русским государем. Старший сын наследует отцу. Ни о каких уделах и борьбе за княжеский стол больше нет и речи. Порядок этот и установился на столетия, создав великую монархию.

Димитрий отошел в тяжелую минуту. В памяти Истории, однако, позабылись промахи его и неудачи, он остался лишь героем Куликова поля, молодым и смелым, первым повалившим зверя степи.

Судьба Сергия, конечно, уж иная. В годы Куликовской битвы и дальнейшие он признанный облик благо-

честия и простоты, отшельник и учитель, заслуживший высший свет. Время искушений и борьбы — далеко. Он — живая схима. Позади *крест деятельный,* он уже на высоте *креста созерцательного,* высшей ступени святости, одухотворения, различаемой в аскетике. В отличие от людей миро-кипучей деятельности здесь нет усталости, разуверений, горечи. Святой почти уж *за* пределами. Настолько просветлен, пронизан духом, еще живой преображен, что уже выше человека.

Видения и чудеса Сергия относятся к этой, второй половине жизни. А на закате удостоился он и особенно высоких откровений.

Из них есть связанные с Литургией. Так, Пр. Сергий должен был благословить ученика своего Исаакия на «подвиг молчания». Подвиг этот очень труден. Преподобный сказал Исаакию:

— Стань завтра после Литургии у северных врат, я благословлю тебя.

В условленное время Исаакий встретил его там. Сергий перекрестил его с особой, напряженнейшей молитвой. И тогда увидел Исаакий, что из руки Преподобного «исходит пламень и объемлет его». Он стал молчальником. Когда хотелось говорить, молитва Сергия и пламень руки ограждали его. Но и об этом случае, и о другом ему дано было сказать.

Однажды Литургию служили Сергий, брат его Стефан и племянник Феодор. Вдруг Исаакий видит в алтаре четвертого, в блистающих одеждах. На малом выходе, с Евангелием, четвертый шел за Сергием и так сиял, что Исаакий должен был прикрыть глаза рукой. Он спрашивает у Макария, соседа — кто бы это мог быть? Макарий тоже видел священнослужителя, ответил: вероятно, кто-нибудь из приехавших с князем Владимиром Андреевичем. Князь находился тут же. Но ответил — никого не привозил. Макарий с Исаакием после службы обратились к Сергию, сказали, что, наверно, ангел ему сослужил. Сергий сначала уклонялся. Но затем, когда они настаивали, то признал:

— Если уж Господь открыл вам эту тайну, то могу ли я скрыть ее? Тот, кого вы видели, действительно ангел. И не теперь только, а и всегда, когда я совершаю Литургию, мне, недостойному, бывает такое посещение. Но вы храните это в тайне, пока я жив.

Свет и огонь! Легкий небесный пламень как бы родствен, дружен теперь с Преподобным. «Друг мой свет», «друг мой пламень», — мог сказать пронизанный духовностью, наполовину вышедший из мира Сергий. И не удивит рассказ экклезиарха Симона, видевшего, как

огонь небесный сошел на Св. Дары при освящении их Сергием, «озаряя алтарь, обвиваясь около св. трапезы и окружая священнодействующего Сергия».

В эти годы светлого своего вечера Пр. Сергий имел еще одно «виденье, непостижное уму».

За всю почти восьмидесятилетнюю жизнь его нигде, ни на одном горизонте не видна женщина. Юношей отошел он от главнейшей «прелести» мира. В ранних искушениях на Маковице женщина не упомянута. Все «житие» нигде женщиной не пересечено — даже настоятельницей монастыря соседнего, поклонницею и «женою мироносицей», как св. Клара в жизненном пути Франциска. В прохладных и суровых лесах Радонежа позабыто само имя женщины. Приходят за благословением и укреплением князья, игумены, епископы, митрополиты и крестьяне. Сергий примиряет споры, творит чудеса. Но ни одной княгини, ни одной монахини, крестьянки. Как будто Сергий-плотник — лишь мужской святой, прохладный для экстаза женщины и женщин будто вовсе не видавший. Конечно, это только впечатление. Но — остается.

Однако же в его духовной жизни культ Жены существовал. Культ Богоматери, Мадонны — в этом смысле Пр. Сергий был типическим средневековым человеком в русском облике. Глубокой ночью ежедневно в келии он пел акафист и молился Богородице. В закате земной жизни, на призыв стремлений многолетних Непорочная, по житию, сошла к нему.

Посещение произошло рождественским постом, в ночь с пятницы на субботу — при колебании в годах: между 1379—1384.

Преподобный, как обычно, пел в келии акафист и молил Св. Деву за обитель. Кончив, сел приотдохнуть. Вдруг он сказал келейнику Михею:

— Ободрись. Сейчас будет чудесное.

И услышал голос:

— Пречистая грядет.

Преподобный встал и вышел в сени. В ослепительном свете перед ним явилась Богоматерь с Ап. Петром и Евангелистом Иоанном. В ужасе он пал на землю. Но Св. Дева ободрила его, сказала, что всегда будет заступницей обители, пусть не тревожится он. Его молитвы до Нее дошли.

И удалилась.

Сергий встал, возвратился в келию. Михей тоже лежал, закрыв глаза одеждой. Он не видел Богородицы, лишь свет и ужас. Преподобный отправил его за Макарием и Исаакием. Когда они явились, рассказал

им о видении. И все стали на «молебное пение» Пресвятой Деве, а Сергий и остаток ночи уж не спал — размышлял и вновь переживал пережитое.

На высоте, достигнутой им, Преподобный долго жить не мог. За полгода до смерти он уж знал о ней. Собрал учеников и управление обителью передал Никону. А сам «начал безмолвствовать».

В сентябре[18] тяжко заболел. Еще раз он собрал всю братию. Произнес ей наставление — об иноческой жизни, мире и любви, о «страннолюбии» — с детства особенно ценимой добродетели — и, причастившись св. Тайн, 25-го отошел.

Он и в последнюю минуту прежний Сергий: завещал похоронить себя не в церкви, а на общем кладбище, среди простых. Но эта воля его не была исполнена. Митрополит Киприан разрешил, по просьбе братии, положить останки Преподобного именно в церкви.

ДЕЛО И ОБЛИК

Сергий пришел на свою Маковицу скромным и безвестным юношей Варфоломеем, а ушел прославленнейшим старцем. До Преподобного на Маковице был лес, вблизи — источник, да медведи жили в дебрях по соседству. А когда он умер, место резко выделялось из лесов и из России. На Маковице стоял монастырь — Троице-Сергиева Лавра, одна из четырех Лавр[19] нашей родины. Вокруг расчистились леса, поля явились, ржи, овсы, деревни. Еще при Сергии глухой пригорок в лесах Радонежа стал светло-притягательным для тысяч. Через тридцать лет по смерти были открыты мощи Сергия — и на поклоненье им ходили богомольцы несколько столетий — от царей до баб в лаптях, проложивших тропки торные по большаку к Сергиеву Посаду. И получилось так: кто меньше всех «вкусил меда» от жизни — более всех дал его другим — но в иной области.

Присмотримся немного, что же он оставил.

Прежде всего — монастырь. Первый крупнейший и прекрасный монастырь северной России.

На юге, в Киеве, эту задачу выполнили Антоний и Феодосий. Киево-Печерская Лавра, несомненно, прародительница всех русских монастырей. Но Киев и киевская культура слишком *эксцентричны* для России, слишком *местное*. Особенно в татарщине это заметно: Киев от нее, в сущности, так и не оправился, представлять великую державу никогда не смог, не нес и

тяжести собирания земли — все это отдал он Москве. Она его затмила и как государство, и святыней. Уже в XIII веке митрополитам всероссийским нельзя было оставаться в Киеве. Он слишком надломился. Десятинная церковь в развалинах, Киево-Печерская Лавра пустынна, от Св. Софии — одни стены. И митрополиты Кирилл и Максим, считаясь киевскими, в Киеве не жили. С Петром кафедра митрополичья окончательно перемещается на север — во Владимир и затем — в Москву.

Так что весь ход сложения русской земли вел к тому, чтобы на севере возник и новый центр духовного просветительства — в то время это были лишь монастыри. Митрополичья кафедра в Москве — узел управления. Сергиева Лавра под Москвой — узел духовного излучения, питательный источник для всего рождающегося государства. В этом — судьба самого Сергия и его Лавры. Он по природе вовсе не был ведь политиком — ни по церковной, ни по государственной части. Но фатально — вся жизнь и его и Лавры переплетена с судьбой России того времени. Во всех страданиях и радостях ее — и он участник. Не имея власти даже и церковной, неизменно словом, обликом, молитвой он поддерживает Русь, государство. Это получается свободно: Сергий — человек эпохи, выразитель времени — существо предопределенное.

Сергий основал не только свой монастырь и не из него одного действовал. Если келии Лавры он рубил собственноручно, если сам построил Благовещенский монастырь на Киржаче, то бесчисленны обители, возникшие по его благословению, основанные его учениками — и проникнутые духом его.

Авраамий Галицкий, один из ранних его постриженцев, удаляется в глухой Галичский край и живет пустыннически на горе у Чудского озера, близ найденной им чудотворной иконы *Умиление сердец,* поставленной в часовне. Слава иконы идет по окрестности, и князь призывает Авраамия в Галич. Пустынник в лодке везет образ Богоматери через озеро! По преданию, и сейчас видна особая струя на воде — след от проплывшей лодки. Авраамий основал в Галиче монастырь Успения Богородицы; потом отошел верст на тридцать и основал обитель Положение пояса Богородицы. Как только вокруг собирались ученики, он двигался дальше. Так учредил на реке Воче мон. Собора Богоматери и Покрова Богородицы — верный рыцарь св. Девы.

Прекрасно названа одна обитель: *Пешношская,* за рекой Яхромой. «Пустыннолюбивый» Мефодий для постройки церкви в ней таскал на себе бревна через

речку вброд, *пеший носил*, помнил, как учитель Сергий строил Лавру. «Тихий и кроткий» Андроник заложил монастырь на Яузе — в те времена *под Москвой*, а Москва нынешняя далеко обогнала смиренного Андроника! Но и сейчас с холма Яузы смотрит на далекий Кремль белый монастырь, вскормивший знаменитого Рублева, чей образ Троицы в Лаврском Соборе выше высшего. Симонов монастырь за Москвой-рекой — дело рук преп. Феодора, племянника и любимого ученика Преподобного. И куда бы из Москвы в окрестности ни двинуться — всюду следы Сергия: чудеснейший Звенигород с вековым бором, на круче у Москвы-реки — преп. Савва Сторожевский создал монастырь Рождества Богородицы. В Серпухове, пред просторами и голубыми далями Оки, Высоцкий монастырь белеет на песках, на фоне сосен — Афанасий учредил его, тот ученик Преподобного, кто был усерднейшим «списателем». Голутвинский монастырь в Коломне — преп. Григорий. Все Подмосковье, и на север, и на юг, пронизали монастыри Сергия. Южный предел — Боровенский монастырь в Калужской губернии. Северный — Ферапонтов и Кирилло-Белозерский. Трудно перечислить все, и как прекрасны эти древние, густые имена основателей: Павел Обнорский, Пахомий Нерехотский, Афанасий Железный Посох, Сергий Нуромский — все пионеры дела Сергиева, в дальние и темные углы несшие свет. Это они трудятся и рубят «церквицы» и келии, устраивают общежития по образцу Сергиеву, просвещают полудикарей, закладывают на культуре духа и основу государственности. Ибо ведь они — колонизаторы. Вокруг них возникает жизнь, при них светлей, прочней духовно чувствуют себя и поселенцы. Монастыри «сергиевские» — их считают до сорока, а от себя они произвели еще около пятидесяти — в огромном большинстве основаны в местах пустых и диких, в дебрях. Не они пристроены к преуспевавшей жизни — жизнь от них родится в лесных краях, глухоозерных. Для новой жизни эти монастыри — защита и опора, истина и высший суд. Само хозяйство иногда ими определяется. Впоследствии у Сергиевой Лавры были десятки тысяч десятин земли, вотчины, села, варницы и мельницы, только своей монеты не было. В кассах Лавры государи в трудные минуты берут в долг, келари — министры сельского хозяйства и финансов целых областей. На севере же в некоторых местах монастыри — уж просто маленькие государства.

Развитие монастырей по этой линии шло уже после смерти Преподобного. При жизни он был лишь в

общении духовном со своими вскормленниками, такими же нищими, как он. Так, посещал Мефодия Пешношского, которому советовал построить церковь в более сухом месте, Сергия Нуромского, провожавшего его на две трети пути к Лавре. Но большинство, конечно, посещало самого Сергия. К зрелым и старческим годам он вырос вообще в учителя страны. Мы видим у него не только собственных учеников-игуменов, являющихся из новоустроенных монастырей, но и князей, и воевод, бояр, купцов, священников, крестьян, кого угодно. Он, разумеется, тот тип «учительного старца», который возник в Византии и оттуда перешел к нам. Как «институт», старчество во времена Сергия не существовало. Его идея очень приходилась по душе народу и высоко соответствовала православию. Фактически оно укрепилось много позже — с XVIII века и Паисия Величковского идет его традиция непрерываемая. Для жителя средней России навсегда врезались образы старцев Оптиной Пустыни, вблизи Козельска — Амвросиев, Нектариев, тех скромных и глубоких мудрецов, гениальный образ которых навсегда написан Достоевским (старец Зосима). Сергий — их далекий, не формальный, но духовный прародитель. В темные времена, когда Россия так подавлена татарщиной, как будто и просвета нет, когда люди особенно нуждаются и в ободрении и в освежении, как горожанину замученному нужен озон леса, паломничество к Сергию приобретает всероссийски укрепляющий смысл. Сергий сам — живительный озон, по которому тосковали и которым утолялись. Он давал ощущение истины, истина же всегда мужественна, всегда настраивает положительно, на дело, жизнь, служение и борьбу. Исторически Сергий воспитывал людей, свободных духом, не рабов, склонявшихся пред ханом. Ханы величайше ошибались, покровительствуя духовенству русскому, щадя монастыри. Сильнейшее — ибо духовное — оружие против них готовили «смиренные» святые типа Сергия, ибо готовили и верующего, и мужественного человека. Он победил впоследствии на Куликовом поле. Душевное воздействие святого сыграло роль в истории России, как сыграло свою роль само распространение монастырей.

Итак, юноша Варфоломей, удалившись в леса на «Маковицу», оказался создателем монастыря, затем монастырей, затем вообще монашества в огромнейшей стране. Меньше всего думал об общественности, уходя в пустыню и рубя собственноручно «церквицу», а оказался и учителем, и миротворцем, ободрителем князей и судьей совести: ведь к совести рязанского Олега

обращался, как и к совести скупого, завладевшего сиротской «свинкой», не хотевшего ее вернуть. Участник и политики и малых дел житейских, исцелитель, чудотворец, «старичок» обители, принятый крестьянином за последнего работника, неутомимый труженик и визионер, за много верст приветствующий Стефана Пермского, друг легкого небесного огня и радонежского медведя, Преподобный Сергий вышел, во влиянии своем на мир, из рамок исторического. Сделав свое дело в жизни, он остался обликом. Ушли князья, татары и монахи, осквернены мощи, а облик жив и так же светит, учит и ведет.

Мы Сергия видели задумчивым мальчиком, тихопослушным; юным отшельником, и игуменом, и знаменитым Сергием-старцем. Видели, как спокойно, неторопливо и без порывов восходил мальчик к святому. Видели в обыденности, за работой и на молитве, и на распутиях исторических, на рубежах двух эпох. Из тьмы времен, из отжившего языка летописей иногда доносились слова его — может быть, и неточные. Мы хотели бы услышать и голос его. Это заказано, как не дано нам проникнуть в свет, легкость, огонь его духа.

Но из всего — и отрывочного, и случайного, неточного — чистотой, простотой, ароматнейшей стружкой веет от Преподобного. Сергий — благоуханнейшее дитя Севера. Прохлада, выдержка и кроткое спокойствие, гармония негромких слов и святых дел создали единственный образ русского святого. Сергий глубочайше русский, глубочайше православный. В нем есть смолистость севера России, чистый, крепкий и здоровый ее тип. Если считать — а это очень принято,— что «русское» гримаса, истерия и юродство, «достоевщина», то Сергий — явное опровержение. В народе, якобы лишь призванном к «ниспровержениям» и разинской разнузданности, к моральному кликушеству и эпилепсии, Сергий как раз пример, любимейший самим народом,— ясности, света прозрачного и ровного. Он, разумеется, заступник наш. Через пятьсот лет, всматриваясь в его образ, чувствуешь: да, велика Россия. Да, святая сила ей дана. Да, рядом с силой, истиной мы можем жить.

В тяжелые времена крови, насилия, свирепости, предательств, подлости неземной облик Сергия утоляет и поддерживает. Не оставив по себе писаний, Сергий будто бы ничему не учит. Но он учит именно всем обликом своим: одним он утешение и освежение, другим — немой укор. Безмолвно Сергий учит самому простому: правде, прямоте, мужественности, труду, благоговению и вере.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Епифаний — монах Троице-Сергиевой Лавры. В молодости путешествовал на Восток, был в Иерусалиме. Просвещенный человек, довольно искусный писатель, склонный к ораторству и многословию, как по его временам и полагалось. Был дружен со св. Стефаном Пермским, житие которого тоже написал.

При жизни Преп. Сергия — он диакон («Преп. Епифаний Премудрый, ученик св. Сергия Чудотворца»). Автор древнейшего, написанного по личным впечатлениям, рассказам Преподобного и близких к нему, жития Сергия, главнейшего источника наших сведений о святом. Написано оно не позже 25—30 лет по смерти Сергия. Труд этот дошел до нас в обработке серба Пахомия. Пахомий кое-что сократил в житии, кое-что добавил. По желанию троицких властей, по-видимому, было выброшено место, сохранившееся в Никоновской летописи из подлинного жития: после введения общежития некоторые монахи ушли вовсе из монастыря. Это место могло быть неприятно для монастырских властей XV в.— Епифаний умер в 1420 г., приблизительно 75-ти лет. Не менее 16—17 лет провел при святом.

[2] Хронология жизни Преп. Сергия.— О рождении Сергия Епифаний говорит неопределенно: «в княжение великое Тверское, при Великом Князе Дмитрии Михайловиче, при Архиепископе Петре Митрополите всея Руси, егда рать Ахмулова бысть». В. князем Дмитрий Мих. сделался в 1322 г., Ахмыл ордынский грабил низовые города в том же году, митр. Петр 1308—1326 гг. Исходя из этого, митроп. Макарий, Ключевский, Иловайский и иером. Никон, автор обширного труда о Сергии, принимают год его рождения — 1319. С другой стороны — митр. Филарет, П. С. Казанский и новейший исследователь проф. Голубинский считают — 1313—14. Они основываются на указании того же Епифания, что Преподобный умер 78-ти лет, год же смерти его, 1392, не возбуждает сомнений. По Казанскому, гораздо прочнее опираться на этот факт: Сергий, наверно, не раз говорил старцам о том, сколько ему лет. Епифаний жил при Сергии последние годы и мог лично это слышать. Таким образом, Епифаний противоречит себе: исходя из него, с одинаковым правом можно принять и 1313—14 и 1319—22. Защитники 1319-го сомневаются в подлинности упоминания о 78-ти годах жизни Сергия, Ключевский и архим. Леонид считают это место позднейшей вставкой (анализ стиля). Но Голубинский думает, что сама вставка все же взята Пахомием из текста Епифания и лишь неловко сделана, при сокращении.

Положиться на Епифания в хронологии вообще довольно трудно, т. к. он делает, например, явную ошибку, относя рождение Сергия ко времени патр. Каллиста (а тот был от 1330 по 1363). Так что вопрос, в сущности, не решен, но в лице проф. Голубинского новейшее исследование склоняется довольно упорно к 1314 году, смело исправляя дальнейшие указания и Епифания, и Никоновой летописи.

3 О жеребятах: «на взыскание клюсят» — очень старинное слово, собств. «лошадей». Епифаний любил такие архаизмы, иногда щеголял даже знанием греческого языка. О медведе, например, выражается: «зверь, рекомый *аркуда*, еже сказается медведь».

4 Переселение родителей Преподобного в Радонеж, по Епифанию,— 1330—31 гг. Еще в Ростове, уговаривая мальчика не поститься чрезмерно, мать Сергия говорила: «Тебе нет еще двенадцати лет от роду, а ты уже рассуждаешь о грехах». В Радонеж перебрались позже, следовательно, в 1330—31 Сергию не могло быть меньше 14—15 лет. Если же принять год его рождения 1319—22, то выйдет, что из Ростова он уехал 8—10-ти лет — косвенное подтверждение взгляда о 1314 годе.

5 Прямого свидетельства, что Кирилл и Мария ушли в Хотьковский монастырь, нет. Но они там погребены, из чего и заключают, что в Хотькове они жили. Древность знала монастыри для монахов и монахинь, общие. Соборное определение 1504 г. запретило это. Родителям Преп. Сергия при их предсмертном пострижении в монашество, вероятно, были изменены имена. Кирилл и Мария — мирские имена или монашеские? Известный историк церкви, автор специального труда о Сергии проф. Голубинский считает, что вернее — монашеские.

6 «Допускалось, чтобы священниками приходских церквей служили иеромонахи; если эти иеромонахи были и духовниками окрестного населения (право духовничества давалось не всем священникам, а только достойнейшим), то они назывались игуменами, игуменами-старцами; эти игумены-старцы могли постригать в монахи желающих монашествовать (не в монастырях, где были свои игумены, а при мирских церквах, в мирских домах, вообще в миру, что тогда допускалось» *(Голубинский).*

Таким образом, «игумен-старец Митрофан» не был игуменом монастыря, а, по-видимому, именно сельским иеромонахом-духовником, имевшим право пострижения.

7 Пострижение Сергия и освящение «церквицы»: «священа бысть церкви при Великом Князе Симеоне Ивановиче, мню убо, еже рещи в начало княжения его». Если принять это свидетельство, то выйдет, что пострижение Преподобного относится к сороковым годам (по нером. Никону освящение церкви 1340, пострижение — 1342 г.). Но сторонники более ранней даты *рождения* Сергия придвигают на несколько лет ближе и дату *пострижения*. Известно, что Сергий принял постриг на 23-м году жизни. Исходя из года рождения в 1314 — получим 1337. В подтверждение приводят еще следующее: Стефан присутствовал при освящении «церквицы», а затем ушел от

Сергия в Богоявленский монастырь в Москве. Там застал св. Алексия, с которым некоторое время и прожил. Алексия в 1340 году вызвали уже к митр. Феогносту, и он оставил монастырь. Значит, жить вместе и узнать друг друга они могли только ранее 1340 года, а значит, и ушел Стефан, и освятили церковь, и постригли Сергия — раньше. Утверждение же Епифания «при В. К. Симеоне» сделано с оговоркой «мню убо» и как *не* категорическое — отвергается. (Иеромонах Никон, впрочем, считает оговорку относящейся ко второй половине фразы — «в начало княжения его».)

[8] «Бесы были все в остроконечных шапках на манер литовцев».— Трудно представить себе, чтобы сейчас «литовец» мог пугать кого-нибудь под Москвою. Но в XIV веке было по-другому. Не раз литовцы наступали на Москву, разоряли и жестоко грабили целую область. Ольгерд водил их к самой Москве (в 1368 г. и в 1370). Дмитрий Донской, победитель Мамая, должен был отсиживаться за московскими стенами перед литовским князем!

Простонародье ненавидело и боялось литовцев не меньше татар. Преп. Сергий много, вероятно, о них слышал, если даже в кротком уединении бесы примерещились ему в облике литовцев.

[9] Снова вопрос хронологии, и снова странный. По Епифанию, еп. Афанасий поставил Сергия в игумены во время отсутствия св. Алексия — тот якобы уезжал в Константинополь. Иеромонах Никон принимает это целиком и повторяет рассказ Епифания. Так как Алексий был в Константинополе в 1353—54 гг., то на это время и приходится поставление Сергия в игумены. Вряд ли, однако, это можно принять. Даже если предположить, что Сергий родился в 22-м году, он был бы пострижен в монахи (на 23-м) — в 1345. От пострижения до игуменства прошло около 3-х и не более 4-х лет Следовательно, в 1348—49. А при предположении о 1314 — поставление в игумены придется на 1340—41. Как раз в это время митрополит Феогност ездил в Новгород и Орду; за его отсутствием епископ Афанасий и поставил Сергия в игумены *(Голубинский).*

[10] «Волоковые» оконца — окно, оконце или проем четверти в полторы, с *волоком*, задвижным изнутри ставнем.

[11] «Харатья», хартия (лат. charta), стар.— папирус, пергамент — все, на чем встарь писали, и самая рукопись.

[12] «Изнесе ему решето хлебов гнилых посмагов» — последнего слова Епифаний мог бы и не прибавлять. «Посмаги» — значит именно «хлебы», на старинном языке. Видимо, опять для «изукрашения» стиля.

[13] Передавая рассказы Епифания о чудесах святого, автор делает это с верою в то, что св. Сергию дана была способность прорывать будничный покров жизни. Но из этого не следует, чтобы каждый *данный* рассказ биографа о совершении чуда был безусловно точен и не содержал легендарных черт. Если мы видели, что утверждения Епифания иногда неправильны для самых обычных фактов, то известный «коэффициент поправок» надо допустить и в изложении им «чудесных» событий. Есть противоречие и в его

рассказе о чуде с источником. Можно представить себе дело так: когда Сергий со Стефаном поселились иа Маковице, какой-нибудь ручеек или ключ вблизи существовал,— трудно думать, чтобы они основались вдали от воды. Но, вероятно, для целого *монастыря* он оказался недостаточным, и оттого, что часто приходилось брать воду, его забили, замутнили. Возможно, что монахи отыскали родник в другом месте, но туда далеко было ходить — отсюда и неудовольствие на Сергия. Тогда он и прибег к молитве.

Сохранился ли до наших дней Сергиев источник? Неясно. По мнению проф. Голубинского, так наз. Пятницкий колодезь нельзя считать Сергиевым. Если даже предположить, что он искусственно обращен позже из источника в колодезь, то непонятно, почему он так далеко от монастыря. Осенью и весной низина к нему обращалась, наверно, в непроходимое болото. Если чудесный источник не закрылся и не исчез бесследно, то единственно вероятное — видеть его в колодце, который находится за южной стеной монастыря в Пафнутьевском саду, от стены в 5—6 саженей.

Иером. Никон принимает ручей Кончуру за реку «Сергиеву», основываясь на одном древием списке жития, приводимом А. В. Горским, где сказано: «Другая же река, яже ныне под монастырем течет, на том же месте от искони река не бяше».

[14] Введение общежития. Согласно Епифанию (повторено у иером. Никона), это относится ко 2-му патриаршеству Кира Филофея — 1364—1376. Монастырь был основан в 1339—40 гг., значит, монахи жили без общежития не менее 25-ти лет. Это кажется исследователям маловероятным. Затем: св. Алексий построил Андрониев монастырь в 1358—59 гг., а там, прямо по построении, говорит Епифаний, было введено общежитие. Следовательно, в Троице-Сергиевой Лавре, откуда и вышел «смиренный» Андроник, оно существовало уже раньше.

Вероятнее всего, что и Преп. Сергий, и митр. Алексий прибегли к авторитету патр. Филофея. Надо думать, что Алексий просил его написать послание к Сергию, когда был в Константинополе (1353—54). Сам патриарх знать Сергия не мог. Послание было привезено греками, сопровождавшими Алексия в Россию по поставлению его в митрополиты (осень 1345). Они же и передали его Сергию, но не в 1375 г., а в 1354.

Есть еще факт, подтверждающий такое предположение: существует грамота патр. Каллиста I к неназываемому русскому игумену (это мог быть *только* Сергий), содержащая увещание к братии о повиновении игумену — по существу, явный ответ высшей церковной власти на неудовольствие и раздор монахов из-за общежития. Она относится к 1360-м годам. Опять, значит, общежитие уже *существовало*.

[15] Монашеские уставы: первый, древнейший, Пахомия Великого — четвертый век. До Пахомия монастырей вообще не существовало. Он первый создал монастыри в Европе и оставил им правило жизни. Затем идет Василий Великий, еп. Кесарийский, автор дидактического труда о монашестве, так сказать, «теоретик» монашества и

аскетизма. Более позднне уставы: Иерусалимской обители Саввы Освященного — шестой век, Константинопольский Федора Студнта, или Студийский,— девятый век. Студнйский монастырь славился святостью подвижников н ревностью нх к православию во время иконоборства. Студнйский устав был заимствован и русскими монастырями — его ввел первый Преп. Феодосий Печерский у себя в Лавре, затем Преп. Сергий в своем монастыре. Известен еще Афонский устав, или Святые Горы,— десятый век.

[16] «Парамандиый крест». «В древности у архиереев, кроме параманда монашеского, который иосили по рубашке, был еще параманд служебный, который при богослужении и иадевался ими иа стнхарь или подрнзник. Этот параманд н разумеется в нашем случае» *(Голубинский).*

[17] Архим. Михаил.— В конце концов, мы так мало о нем зиаем, что трудио решить, был ли он просто честолюбцем, талантливым и бурным по натуре, или и новатором, реформатором церквн. Последнего мнения держится проф. Голубинский в своей истории церкви, но не приводнт никаких фактов. Что и как реформировал «Митяй»? Голубинский *предполагает,* что потому он и ссорился с духовенством н круто обращался с ним, что пытался вводить новшества. Но разве это доказательство? Для иас, во всяком случае, ясио, что идеалу святости и монашества, *по Сергию,* ои ие соответствовал. И более чем трудно чувствовать симпатню к человеку, грозившему разорить Троице-Сергневу Лавру!

[18] Преп. Сергнй скончался 25 сент. 6900 г. от С. М.— Прнблизнтельно в это же время было у нас изменено летосчисленне — год стали начинать не с марта, а с сентября. Если смерть Преподобного записана по-старому, то получится от Р. Х.— 1392-й, если по-новому, сентябрьскому,— то 1391 г. По указаиию летописей, запись сделана по-старому, следовательно, Преподобный умер в 1392 г.

[19] Лавра — слово греческое, значнт — улица, тесиая улица, переулок или вообще уедннненое место. Греки так и применяли его к монастырям. Лаврами назывались у них моиастыри, где каждый монах жил отдельио в келин, отделенный от других иекоторым пространством, жил как бы затворннком, анахоретом, в полном разобщеннн с другими братиями монастыря, сходясь с ними только в субботы н воскресенья на богослужении.

В России название Лавра употребляется в смысле большого монастыря, богатого н знаменитого. Тогда Лавр было довольно много, и так же Троице-Сергиев монастырь назван еще Епифанием Лаврой. Но позже Лаврами дают право называться только прославленным монастырям, в иаше время лишь четырем: Киево-Печерская Лавра, Троице-Сергиева Лавра, Александро-Невская н Почаевская. Время этого официального названия — вероятно, с XVII века, с царской н патрнаршей грамоты Киево-Печерскому монастырю в 1688 г.— Тронце-Сергиева Лавра — указом Елизаветы Петровны 8-го нюня 1744 г. *(Голубинский).*

СОДЕРЖАНИЕ

Зайцев Б. К.

З-17 Белый свет: Проза / Вступ. ст., сост. О. Михайлова; Ил. Н. Костиной.— М.: Худож. лит., 1990.— 239 с.

ISBN 5-280-01868-6

В книгу прозы Бориса Константиновича Зайцева (1881—1972), одного из виднейших русских писателей нашего века, последнего представителя старого литературного зарубежья, входят рассказы, повесть «Голубая звезда», «Преподобный Сергий Радонежский» — жизнеописание одного из самых почитаемых на Руси святых.

Творчество Б. Зайцева несет в себе от века идущие духовные ценности, веру в доброе предназначение человека и продолжает традиции золотого века нашей классики.

З $\frac{4702010000-423}{028(01)-90}$ без объявл. ББК 84Р6

Борис Константинович

Зайцев

БЕЛЫЙ СВЕТ

Проза

Редакторы *О. Дворцова, Н. Кузьмина*
Художественный редактор *И. Сауков*
Технический редактор *А. Кашафутдинова*
Корректор *О. Стародубцева*

ИБ № 6521

Печать с готовых пленок. Подписано в печать 22.03.90.
Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. № 2. Гарнитура «Таймс». Печать высокая.
Усл. печ. л. 12,6. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 14,01 Тираж 250 000 экз.
Изд. № III—3995. Заказ № 55. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати.
113054, Москва, Валовая, 28.

1 р. 50 к.



БОРИС ЗАЙЦЕВ · Белый свет · Проза